

Б. Ф. СУЛТАНБЕКОВ
С. Ю. МАЛЫШЕВА

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ



(НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ОЧЕРКИ)

КАЗАНЬ
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1996

ББК 63.3(2Тат)
С 89

Издательство и авторы выражают признательность Председателю Фонда поддержки культуры при Президенте РТ *НИЗАМОВУ Х. М.* за содействие в издании книги.

С $\frac{5030209000-020}{M132(03)-96}$ 96—96

ББК 63.3(2Тат)

ISBN 5—298—00653—1

© Султанбеков Б. Ф., Малышева С. Ю., 1996

© Татарское книжное издательство, 1996

От авторов

Представленная на суд читателя книга весьма разноплановая. Ее действующие лица жили в разные эпохи. От «века Екатерины» с его противоречиями и перепадами, от французского просветительства к «дыбе и колесу» и до середины века нашего, «страницы» которого еще более обильно политы кровью. Казалось бы, что объединяет казанского «мушкетера» Василия Полянского, сошедшего как бы прямо со страниц Дюма, и гениального конструктора космических систем Сергея Королева. Или же востоковеда Фатыха Карими и секретаря Сталина Микдада Брундукова с другим любимцем вождя, блестящим контрразведчиком Виктором Абакумовым... Перечень различий, несходства и даже антагонизма действующих лиц этой книги можно продолжить... Но все они похожи в одном — жизненный путь большинства из этих безусловно талантливых и неординарных людей закончился трагично. Они служили разным идеалам и ставили разные цели. Кто-то достиг многого, кто-то был «подбит» в начале пути. Но все эти жизненные судьбы поучительны. И еще все они имеют в своей биографии «казанские страницы».

Мы не собираемся никого поучать или призывать «делать жизнь» с кого-то. Судьба каждого неповторима. Задумаемся вот над чем. Сейчас много говорят о человеке и его правах, которые, по современным понятиям, выше всего остального. Пытаемся уже в который раз построить общество благоденствия. Хотим как лучше, а получается... скажем мягко, не все. Исписаны об этом миллионы страниц, тысячи докторов разнообразных наук и академиков, обгоняя друг друга, дают рецепты. А может быть, истина в словах одного из наших мудрых современников. На вопрос: «каким должно быть общество», он ответил: «таким, чтобы быть добрым и честным было более выгодно и безопасно, чем злым и бесчестным...»

Итак, перед вами разные судьбы. Поразмышляйте над ними. Возможно, это не будет вам во вред.

Авторство очерков о Ф. Туктарове, Д. Одиноце, А. Овчинникове, Г. Троишине и И. Стратонове принадлежит С. Ю. Малышевой. Остальные очерки, вступительное слово написаны Б. Ф. Султанбековым.

КАЗАНСКИЙ ДРУГ ВОЛЬТЕРА

Небольшой томик в кожаном переплете, шероховатые, отливающие голубизной страницы сохранили упругость, несмотря на почтенный возраст,—им без малого 200 лет. На титульном листе обозначено: «Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год. Москва, 1803». Книга любопытная — собеседники затрагивали широкий круг вопросов, как сейчас бы сказали — от глобальных до мелкобытовых. Переписка, продолжавшаяся 15 лет, дает яркую картину политической и общественной жизни Европы и России второй половины XVIII века.

Прекрасно понимая огромное влияние Вольтера на формирование общественного мнения, императрица в своих письмах не жалела добрых слов в адрес властителя дум Европы, а соответственно препарированные факты из жизни страны должны были создать у него идиллическую картину российской жизни, благодарных подданных, не устающих благословлять провидение за счастье жить под покровительством доброй государыни.

Впрочем, судя по переписке, знаменитый философ и лукавый политик в смысле «политеса» не отставал от коронованной собеседницы, на это у него были свои причины. В том числе и материальные. В общем, правила игры соблюдались с обеих сторон, комплиментарность — главная черта этой примечательной книги.

Среди десятков имен, встречающихся в письмах, внимание привлекает такая фраза «старого фернейского пустынь-

ника», как себя любил называть Вольтер: «В пустыне моей теперь находится Ваш подданный, Г. Полянский, уроженец Казанского Вашего царства. Я еще не видывал подобной его вежливости, благоразумия...». А дальше новый комплимент: «Сказывают, что и Атилла был родом из Казани. О! Если это правда, то весьма легко могло статься, что и сей бич Божий был прелюбезный человек».

Кто же этот казанец, чье обаяние и знания сумели произвести такое лестное впечатление на самый блестящий ум в Европе? Впечатление столь сильное, что даже Атилла, символ опустошения и бесчинства, оказался в некотором роде реабилитированным только потому, что приходится, по мнению Вольтера, земляком Полянскому? Даже с поправкой на игривый тон письма и его лукавость ясно, что Василий Ипатьевич Полянский, имя которого неразрывно связано с Казанью и ее университетом, был человек недюжинный, иначе откуда бы столь высокая оценка его личности Вольтером? О том, что интерес Вольтера к личности Полянского, а через него и к Казани был не мимолетным, свидетельствуют упоминания о нем в ряде писем, причем в степенях превосходных: «Полянский приводит меня в восхищение», «он не только очень умный, но и добрый человек». Очевидно, и рассказы Полянского о своем родном крае вызывали большой интерес Вольтера. Учитывая это, Екатерина одно из своих писем почти целиком посвящает описанию Казани и Булгара, которые она посетила во время своего путешествия по Волге.

Полагаю, что существует определенный «феномен Екатерины» в сознании татарского народа. Хотя татары и участвовали в пугачевской смуте, однако в народной памяти имя Екатерины закрепилось в основном в довольно доброжелательном варианте — «эби-патша» — «царица-бабушка». Очевидно, это связано с некоторыми ее шагами по прекращению гонений на мусульманство, происходивших в предыдущем царствовании. Еще до революции, если хотели похвалить хорошую дорогу, говорили: «построена

при эби-патша». Да и сегодня одной из самых популярных песен татарской эстрады является «Дороги Екатерины».

Уже после отъезда Полянского из Франции Вольтер с неподдельной тревогой спрашивает императрицу о судьбе казанца, так как до него дошли слухи о его гибели при переправе через Неву. Из ответа мы узнаем: «Господин Полянский секретарем в Академии художеств. Он не утонул, хотя часто через Неву в карете переезжает. У нас зимой при этом ни малейшей нет опасности». Вскоре в Ферне пришло письмо и от самого Полянского.

Казалось бы, все складывается благополучно. Успешная поездка по поручению правительства во Францию, блестящие отзывы Вольтера, с которыми не могла не считаться императрица. Несмотря на молодость, назначение на весьма заметную для чиновного Петербурга должность секретаря Академии художеств. Как не преминула упомянуть Екатерина, ездит он в карете. В общем, вроде бы Полянскому была уготована благополучная карьера, вплоть до действительного тайного советника, а то и сенатора.

Но судьба казанского друга Вольтера сложилась по-иному, пожалуй, даже трагично, хотя далеко не все хитросплетения его биографии, напоминающие иногда детективную историю, выяснены до конца, да и вряд ли их теперь выяснишь. Даже надпись на могиле, затерянной теперь среди новых построек на территории бывшей Архиерейской дачи, явно не соответствующая датам его жизни, вызывала недоуменные вопросы еще в середине прошлого века. Впервые эту загадочную надпись привел в печати Н. Ильминский. Она гласит: «Под сим знаком лежит прах надворного советника Василия Ипатова сына Полянского, возродившегося в 1784 году, ноября 23 дня, а всех лет жития его было пятьдесят девять, восемь месяцев и 5 дней. И ты, читатель, воздохни к Высшему и умиленно помолись Господу Иисусу Христу. Аминь.» Эта надпись и загадочные рисунки, выбитые на плите, породили различные слухи.

Другой казанский историк — Загоскин, считал, что Полянский был видным казанским масоном, имевшим в городе и губернии весьма большое влияние в ложе. Отсюда и странная дата и рисунки на памятнике, отличающиеся от общепринятой православной традиции. Его мимолетно упоминали и другие известные историки и краеведы прошлого столетия: Владимиров, Булич, Второв, Артемьев, Горемыкин, Пономарев. Вспоминали в основном в связи с завещанием, по которому библиотека Полянского оказалась в Казанской гимназии, равно как и библиотека Потемкина, а затем пополнила фонды библиотеки университета. Сохранился каталог переданных книг, предварительный собственноручной записью дарителя: «Книги на разных языках и разных форматах, всего семьсот четыре, отдаю вечно в пользу Императорской Казанской гимназии ноября 20 дня 1798 г. Надворный советник Василий Полянский». Почерк неуверенный, чувствуется, писать было трудно, очевидно, рука отказывала.

На русском языке, судя по описи, всего 22 книги, остальные — на французском, английском, немецком. В их числе 24 тома сочинений Вольтера. Не исключено, что ряд книг был подарен Полянскому самим Вольтером. Свообразным было и другое условие завещания. Устанавливалась специальная стипендия для одного из небогатых гимназистов-дворян с условием присоединить к своей фамилии и фамилию Полянского. Так, очевидно, Василий Ипатьевич, не имевший сыновей, хотел не допустить ее пресечения и забвения. Братьев у него не было, а сестра в замужестве стала Юшковой. Однако и тут ему опять не повезло. Первым и последним носителем двойной фамилии стал некий Рудометов. В делах есть его прошение о зачислении в младшие письмоводители гимназии ввиду полной неспособности к учебе. Судя по всему, других носителей фамилии не было. Правда, через тридцать лет племянник Полянского полковник Юшков потребовал снова выполнить это условие, пригрозив, что заберет книги

обратно. Однако министр просвещения Уваров в этой просьбе, не имевшей аналога в истории российских учебных заведений, отказал и передал через попечителя учебного округа Мусина-Пушкина, что наследники могут получить книги обратно, а в случае их утраты — компенсацию деньгами. На этом дело и кончилось. Книги остались в университете.

Особая тема — подаренные университету Полянским портреты: Вольтера, по преданию, лично врученный им канцелю, и самого Полянского, писанный в 1777 г. известным Дарбсом и скопированный затем преподавателем университета казанским художником Львом Крюковым.

Вот каким увидел его на этом портрете Шпилевский: «Лет 30, лицо его открытое, довольно полное, тонкие черты лица, большие черные глаза осеняются такими же бровями. Немного приподнятый нос и тонкие с улыбкой сжатые губы придают всей его физиономии добродушно-насмешливое выражение...» Портрет этот висел в библиотеке Казанского императорского университета. А затем в 20-х годах его сняли, как и портреты других представителей «эксплуататорских классов» из числа попечителей и жертвователей. Дабы не вводить в искушение правоверных работников и студентов университета, теперь уже носившего имя первокурсника, столь опрометчиво изгнанного когда-то им из своих стен. Впрочем, чего уж тут говорить о Полянском, когда не шадили и более крупные фигуры. В раже социалистического «иконоборчества» один из секретарей обкома разразился в те времена такой вот тирадой: «В ВПИ стоит кресло, на котором некогда сидел Державин... один из слуг помещичьего строя и крупнейший колонизатор. И вот над этим креслом, оказывается, повесили плакат: «Здесь сидел Державин. Садиться не разрешается». Кресло, изволите ли видеть, держат как историческую реликвию, вместо того, чтобы выбросить его в подвал или по крайней мере сделать плакат, на котором, — продолжал впавший в благородное классовое негодование сек-

ретарь. — надо сделать надпись: «Здесь сидел Державин, великий колонизатор и прохвост, не садитесь, чтобы не запачкаться». Эта хамская тирада, судя по стенограмме, сопровождалась дружным и одобрительным смехом собравшихся. Впрочем, не будем их винить. Попробуй тогда не засмейся. Выбросили не только кресло. В порядке перевыполнения указаний убрали, а затем и уничтожили великолепный бронзовый памятник поэту. Кстати, этот же секретарь, вспоминала в «Крутом маршруте» Евгения Гинзбург, вошел в историю Казани и тем, что на демонстрации стали носить его портреты, называли его же именем колхозы и заводы, а на выставке вызывал восхищение сделанный народным умельцем тот же портрет, выполненный из различных злаков, произрастающих в республике. Это ведь не «прохвост» Державин. Трудящиеся обязаны были знать новых своих героев. Инерция такого «хлестаковского» подхода к историческому наследию докатилась и до недавних дней, хотя за нежелание поддакивать островам начальства или иметь свое суждение тогда уже не сажали. Но ведь были и иные меры воздействия. Об этом могли бы рассказать, например, академик Каримуллин, писатели Баттал, Мустафин и многие другие объекты «промывания мозгов», испытавшие все это на себе. Так что не надо удивляться тому, что маятник качнулся в новую крайность и теперь уже многие ревнители демократии не прочь убрать другие памятники, очевидно, полагая, что у общества нет других злободневных задач. Непристойно все это. Но, к сожалению, это становится уже традицией. Однако вернемся к нашему герою.

Очень много в биографии В. Полянского загадочного. Почему блестящий молодой чиновник, пользующийся явным благорасположением императрицы, вынужден был покинуть столицу? Где он потом служил? Отчего не сложилась столь блистательно начавшаяся карьера? Что он делал в Казани? Круг его знакомств?

Вокруг Полянского сложилось много легенд. Одни из них уже неразгадываемы. А вот некоторые можно проверить по фактам. Один из казанских историков XIX века писал, что в бытность в Петербурге Полянский оказался замешанным в романтическую историю, кончившуюся для него трагически и чуть не стоившую лишения руки по приговору. В своей давней заметке я высказал предположение, что тут могут быть замешаны весьма высокие сферы. Просто за нарушение евангельской заповеди, рекомендующей не покушаться на жену ближнего, при дворе Екатерины строго не судили. Однако обстоятельства «опалы» оказались намного более сложными и захватывающими, чем думалось. Тут нужен талант Дюма или Пикуля. Мы же попробуем просто пересказать события.

Галантный воспитанник Вольтера, одинаково хорошо владевший шпагой и пером, любимец светских раутов, влюбился в замужнюю женщину, и та ответила ему взаимностью. Но это была жена одного из... Демидовых! Читателю понятно, что стояло за этой фамилией в России XVIII века. Огромные деньги, власть, влияние на императорский двор. Влюбленные решили скрыться из столицы. Побег был совершен на карете, но поднятые ревнивым мужем и его могущественной родней полицейские, которым к тому же была обещана щедрая награда, быстро догнали тяжелый экипаж. И тут Василий Полянский, в лучших традициях французских мушкетеров, вскочив в запятки кареты, попытался шпагой защитить свое сокровище. Но силы были неравны. Беглянку вернули к мужу... а Полянский за злостное сопротивление властям попал на гауптвахту.

На другой день (об этом происшествии сразу же было доложено двору) его посетил полицмейстер генерал Чичерин. Виновник переполоха сожалел, что послушался Демидову, которая желала быть увезенной в карете с комфортом, а не в легкой кибитке, как он хотел. Кибитку полиция не догнала бы, а за городом уже ждало пригото-

ленное убежище. Кроме того, у кибитки нет запяток, значит, отсутствовала возможность вступить в вооруженный конфликт с полицией... Генерал все понял. Полянскому предложили письменно ответить на «расспросный» лист.

И вот тут произошла роковая ошибка. То ли в запале, не остыв еще от случившегося, то ли по французскому вольнодумству, но ответы получились дерзкие, а главное, как было туманно сказано в послании, направленном в Сенат, Полянский «дописался до вершин гор, на которых сами боги обитают, а ведут себя как человеки». Надо понимать, что, оправдывая себя, он, очевидно, весьма дерзко намекнул на поведение самой «матушки» и ее фаворитов. Ничего другого на ум не приходит. Ибо только в этом случае можно понять решение Сената: «за предрезостные наветы отсечь руку».

Правда, до этого дело не дошло. Во-первых, был еще жив Вольтер. Хотя переписка уже прекратилась, но столь варварское наказание его любимца, конечно, стало бы известно в Европе. А ведь от слов старца зависели многие репутации, и монархов в том числе. Ну, а главное, Полянский не покаялся на существующий правопорядок и к тому же покаялся в своих предрезостных словах, объяснив их «помутнением разума от переживаний амурных». Как бы то ни было, судя по легенде, царица сказала: «Жаль молодца, хорошо он владеет и пером и шпагой, но чтобы в Петербурге его больше не было». Предстояла дорога в казанское имение. Но судьба решила иначе.

Могущественный сановник граф Захар Чернышев (его роль в судьбе Полянского заслуживает отдельного рассказа), назначенный наместником в Могилев, предложил Полянскому стать советником губернского правления, а практически — его ближайшим помощником. Возможно, эта идея была подсказана двором и даже «вершинами, на которых обитают боги».

В 1779 году началась служба в Могилеве. Судя по воспоминаниям современников, Полянский быстро завое-

вал популярность у местного общества. Великолепное знание трех европейских языков, хороший голос, виртуозное умение танцевать и владеть шпагой, глубокое понимание литературы и философии, изысканные парижские манеры сделали его самой популярной фигурой губернского света. Как на завидного жениха на Полянского стали смотреть отцы и матери самых почтенных и богатых семейств Могилева, где причудливо смешивались корни польской и русской аристократии. Современники вспоминали, что Полянского чтили в губернии больше, чем самого губернатора Пассека. Живой ум и любознательность позволяли ему квалифицированно разбираться в экономических проблемах губернии, свободно ориентироваться в вопросах земледелия. Остался он в истории Могилева и как основатель первой в Белоруссии масонской ложи.

В 1780 году произошло еще одно событие, которое могло снова вознести к вершинам. В Могилеве состоялась знаменитая встреча Екатерины II с императором Иосифом II. Решались крупные политические проблемы, и в первую очередь польская. Екатерина удивилась, что Иосиф II не знает многих произведений французских мыслителей, в которых трактуются и политические вопросы. Есть основания полагать, что Полянский был своего рода консультантом двора, когда речь заходила о французских властителях дум, хотя и неофициальным. Мог он и присутствовать на раутах, которые устраивали оба двора. Но это все из области предположений, хотя и весьма вероятных. А дальше снова уже идут факты.

Вскоре после отъезда монархов Могилев снова вернулся к своему полусонному провинциальному существованию. И тут происходит новое и, как оказалось, роковое событие, окончательно зачеркнувшее мечты Полянского о возвращении в Петербург. Хотя некоторые влиятельные лица во время пребывания в Могилеве давали понять, что если он появится в столице как частное лицо, то выслан не будет, а там станет видно. Не исключалась и дип-

доматическая карьера — называли Францию. Обещали замолвить словечко перед «матушкой».

Полянский к этому времени уже разменял четвертый десяток и начал серьезно подумывать о женитьбе.

И снова его величество случай! На балах могилевского высшего света взошла тогда новая звезда — юная жена престарелого генерала Бринка, начальника тамошнего гарнизона. Их супружеская жизнь продолжалась менее года. Разница в годах — более сорока лет. Любовь блестящего чиновника и юной генеральши стала известна многим. Возможно, если бы Бринк знала о Татьяне Лариной, все могло бы сложиться иначе. Но «Евгений Онегин» не был еще написан, да и сам автор не появился еще на свет. Очевидно, так бы все и осталось без особых последствий. Да и у генерала имелись, как мы увидим чуть ниже, вполне серьезные основания смотреть на увлечение жены сквозь пальцы. Но наш герой решил связать с ней свою судьбу официально и перед алтарем. И тут возник пикантный момент. Юная супруга генерала, оказывается, до встречи с Василием Ипатьевичем оставалась девицей, что, по мнению Полянского, являлось весьма удобным предложением для официального развода. На квартиру генерала был послан губернский врач, заявивший растерянному мужу, что должен его освидетельствовать на предмет установления неспособности выполнять супружеские обязанности и составить по сему случаю медицинское заключение. Разгневанный генерал схватился за пистолет, и врачу еле удалось ретироваться, он даже получил телесные повреждения. Эта история стала достоянием города. И можно вполне понять возмущение ветерана, ставшего посмешищем света.

Расплата не заставила себя долго ждать. Вскоре в глухом лесу во время поездки по губернии экипаж Полянского остановили вооруженные люди. Это были друг генерала отставной гусар Фелис и его дворовые. Безоруж-

ного Полянского вытащили из экипажа. Напрасно взывал он к дворянской чести гусара и предлагал решить конфликт на шпагах или пистолетах. Гусар хорошо знал виртуозные и молниеносные удары шпаги Полянского и навик попадать из пистолета с двадцати шагов в голову карточного короля, что он неоднократно продемонстрировал на пари. Били его, как сейчас говорят, «по-черному», норовя попасть ниже пояса. Очевидно, выполняя просьбу оскорбленного «рогоносца». Но полностью выполнить «каз» не сумели.

Искалеченного Полянского привезли домой. В первые месяцы он не мог владеть ногами, да и правая рука почти не поднималась. Происшествие вызвало переполох. Общество Полянскому сочувствовало. Его неоднократно навещал и утешал близкий ко двору крупный иерарх и политик архиепископ Георгий Конисский, обещавший сообщить императрице. Генерал был отрешен от должности и выслан из Могилева. Наказали и гусара. Но здоровье было подорвано основательно, при чтении кружилась голова, письмо давалось с трудом. Попытка снова вернуться на службу оказалась безуспешной. В 1781 году Полянский выходит в отставку и возвращается в Казань. Там он обвинялся с бывшей женой Бринка. Имел от нее двоих детей. Где-то в конце 80-х ненадолго возвращается на службу на ту же должность советника губернского правления, но вскоре уходит. Здоровье ухудшилось окончательно. Те, кто его встречал в конце 90-х, говорили, что Полянский впал в мистицизм, подолгу проводит время на кладбище, водит туда детей. Круг общения был узок. В основном родственники — Юшковы, за одним из которых была замужем сестра.

Точная дата смерти Василия Ипатьевича неизвестна. Называют и 1803, и 1806 г. Но, конечно, умер он не в 1784 году, как высечено на памятнике. Эта дата связана с каким-то таинственным событием в жизни Полянского.

Похоронен он на фамильном участке Юшковых, неподалеку от главной монастырской церкви Воскресения Христова. Смерть его породила новую легенду о том, что гадалка, к которой он обращался в молодости в Германии по поводу пропажи редкостного охотничьего ружья, предсказала, что оно найдется за три дня до его смерти. И случилось так. Один из казанских друзей Полянского (кажется, Чемесов), приехав с Макарьевской ярмарки, радостно сообщил, что купил там ружье, на котором была надпись «Василия Полянского», и возвращает его хозяину. Рассказывавший это казанский старожил заметил: «Ружье действительно было то самое... И воображение ли, на которое случай этот сильно подействовал, или расстроенное здоровье были причиной, но он точно умер через три дня после вручения находки».

Конечно, многие перипетии бурной жизни нашего земляка могли бы привлечь внимание мастеров исторической прозы. В одном из писем Валентин Пикуль (переписка началась после того, как он прочитал мою небольшую публикацию о Полянском, потом она вышла за пределы казанских тем) соглашался с тем, что Василий Полянский — личность чрезвычайно интересная даже для российского восемнадцатого века с его фантазмагорическими событиями и людьми, заслуживающими больших романов с весьма «крутыми» сюжетами. Он и некоторые его «конфидененты», оказывается, интересовали писателя уже давно. Сетовал на то, что у него, к сожалению, мало материалов, особенно по провинции, хотя вызревают намерения написать о Полянском, Салтыкове, Вольтере историческую повесть, и просил поделиться недостающей информацией. Некоторые материалы (копия портрета и загадочной надписи на надгробии, генеалогия Юшковых, архивные выписки и т. п.) были Пикулю посланы. Поблагодарив за них, Валентин Саввич сообщил, что работу начал, но не знает пока, во что она выльется — в повесть или большую миниатюру, и вплотную сядет за историю казанского

Д'Артаньяна, как он называл Полянского, после окончания своей «Каторги», имея в виду книгу о Сахалине. Привел даже несколько вариантов названия будущей работы, один из них был что-то вроде «Загадочный казанец у Вольтера». Но не суждено ему было осветить своим блестящим талантом мастера исторической прозы память о Полянском. А жаль! Ведь если всерьез исследовать его биографию, кто знает, не выявятся ли новые весьма значительные факты, говорящие о прочных культурных связях русских интеллигентов с выдающимися умами Европы. Да и в письмах Вольтера Полянский предстает не смиренным учеником, а крупной личностью, которая, по крайней мере в некоторых областях знаний, не уступала автору и вызывала его восхищение. Мы ничего не знаем о политической подоплеке поездок Полянского. А там, возможно, кроются совсем уж неожиданные факты, события и сюжеты, не уступающие по интриге «Гардемаринам». Во всяком случае, довольно явственно вырисовывается фигура Орлова и чуть более туманно — Потемкина. Все может быть. А уж любовные истории прямо оттуда. Только все это было на самом деле, и страсти бушевали не киношные. А ведь не исключено — встанет на ноги кинопромышленность республики или найдется щедрый спонсор, и будет народ валом валить на супербоевик о лихом казанце. И Екатерина с узнаваемыми чертами популярной кинодивы снова величаво поднимется по устланной коврами дороге от Казанки через Тайницкую башню к башне Сююмбике и соборам Кремля. И галера «Тверь» понесется вниз по Волге, спеша к Булгару, о котором потом с восхищением напишет императрица Вольтеру, заметив, что разговор с татарским имамом, состоявшийся там, еще раз подтвердил ее мысль о необходимости терпимого отношения к мусульманам. А Василий Полянский (похожий на Боярского и Караченцова вместе взятых), обняв в карете красавицу Демидову, будет мчаться навстречу своей злосчастной, но такой увлекательной судьбе...

А пока для нас, казанцев, Василий Ипатьевич Полянский известен прежде всего как один из первых российских интеллигентов-книголюбцев, чьи книжные богатства помогали создавать основу такого уникального явления отечественной культуры, как научная библиотека имени Лобачевского. И за это одно он уже достоин благодарности потомков, а возможно, и возвращения портрета на место. Если, конечно, он сохранился.

АСКАР АЛИЕВИЧ ШЕЙХ-АЛИ

Еще знаменитый философ Сенека, размышляя о судьбах человечества, заметил, что есть люди, которые умирают при жизни, а есть и те, кто живет и после смерти. Полагаю, что эта мысль вполне применима и к герою этого очерка, хотя наше поколение практически ничего не знает о нем. Время и обстоятельства немало потрудились над тем, чтобы Аскар Шейх-Али был забыт. Когда я спросил одного своего приятеля-историка, что ему говорит это имя, он в ответ, не задумываясь, спросил: это не тот ли Шейх-Али, который помогал Ивану Грозному брать Казань и уничтожать татар и их культуру? Полагаю, что читатель, узнав о жизни Аскара Шейх-Али, станет несколько иначе относиться к этой фамилии, рождающей по сходству звучания вполне определенные ассоциации. К тому же он не имеет к своему далекому полутезке из XVI века никакого отношения. Полагаю, что в его биографии отразились многие характерные черты драматического пути нашей интеллигенции, так много сделавшей для подрыва устоев самодержавия и получившей взамен тоталитарное общество, жертвой которого стали многие ее представители. Но это вопрос исторический, и не одно поколение будет еще спорить о правомерности крутого поворота судеб России и ее народов, начавшегося со столь многообещающей демократической весны 1917 года. Мы

же расскажем о судьбе человека, в которой отразились все причудливые изгибы судьбы поколения, вступившего в XX век полным надежд на лучшее будущее.

Своим рождением он был связан с той частью интеллигенции мусульманских регионов европейской части России, которая в XIX веке становилась заметной частью российского общества, не порывая с обычаями и традициями своих народов. В отличие от того слоя национальной элиты, которая в предшествующие века полностью растворилась в российском дворянстве и потеряла всякие связи со своими этносами. Слоя, о происхождении которого напоминали только фамилии.

Отец — Али Шейх-Али, кумык, один из тех молодых дагестанцев, который после завершения кавказской войны вместе с сыновьями имама Шамиля был взят в Петербург. Там он получил блестящее военное образование. Его служба проходила в казачьих войсках. Будучи командующим 6-м полком оренбургских казаков, он принимал активное участие в русско-турецкой войне 1877 года и за отличие при штурме крепости Эрзерум и в боях под Карсом именными указами Александра II был награжден тремя орденами. В последние годы после выхода в отставку в чине генерал-майора жил в Петербурге. Мать — Гульсум, урожденная Тевкелева, — из родовитой татарской семьи — была внучкой владетеля Букеевской орды Джангир-хана. В кругу родственников были известные татарские и башкирские семьи Алкиных, Еникеевых, Ахмеровых, Терегуловых.

Хотя отец мечтал видеть Аскара военным, тот выбрал столичный университет. Отец был утешен тем, что по его стопам пошел старший — Джангир, ставший блестящим кавалергардом. Рано проснувшиеся в Аскаре задатки исследователя, стремившегося во всем докопаться до сути и содержания, будь то игрушки в детстве или приборы и машины — в более зрелом возрасте, во многом предопределили его дальнейший путь, возможно, и спасли, причем неоднократно, ему жизнь в сложных перипетиях револю-

ции, гражданской войны и пребывания на одном из «островов» архипелага ГУЛАГ. Эта горькая чаша его тоже не миновала. Но об этом позже.

Уже в гимназии Аскар увлекся точными науками, отдавая особое предпочтение физике и химии... А вот гуманитарные науки недооценивал, что начало сказываться на оценках. А с ними в гимназии было весьма строго. Пришлось наверстывать упущенное с репетитором. И тут ему повезло — студент Николай Оттокар был человеком энциклопедических знаний в области живописи, литературы, истории. Впоследствии, став видным искусствоведем, профессором, с начала 20-х годов преподавал в одном из итальянских университетов. И хотя увлечением Аскара стали физика и ее техническое применение, однако умение свободно ориентироваться в гуманитарных областях и начальные, но весьма обширные познания в живописи остались на всю жизнь. Начало века было временем торжеств технического прогресса: первые самолеты бороздили небо (правда, не очень далеко отрываясь от земли), автомобили стали привычной частью городского пейзажа, на улицах и в домах зажигались электрические светильники, а телефон перестал быть чудом и становился, по крайней мере в столицах, обыденным явлением. Хотя в гимназии преподавание физики велось в основном по классическим канонам и законы ее изображались на доске — то, что немцы называли «крейде физик» — меловая физика, — бурное наступление техники пришло и в классы. Поощрялись самостоятельные опыты и даже что-то вроде технических кружков. Первый в жизни технический «триумф» Аскара состоялся именно в гимназии. Директор гимназии, показывая гостям иллюминированный электричеством зал, явно отличавшийся от полутемных коридоров, освещенных блеклыми газовыми рожками, не забывал с гордостью произносить: сделано руками нашего воспитанника Шейх-Али, добавляя при этом, что отец — кавалерист, а сын явно будет инженером. Это звучало в то время как высшая

похвала. Инженеры были редки, как правило, они становились людьми весьма состоятельными, а само это звание звучало чем-то вроде нынешнего космонавта.

Поступление в 1907 году на физико-математический факультет университета было логическим продолжением всего предшествующего... Увлечение техникой продолжалось и в студенческие годы. Аскар стал владельцем одной из массовых моделей Форда и, в отличие от многих своих состоятельных сверстников, обходившихся услугами шоферов, научился не только водить его, но и разбираться во всех механизмах и в случае необходимости даже ремонтировать машину. В самом начале первой мировой войны он, как многие студенты, был призван в армию. На краткосрочных офицерских курсах при артиллерийском училище сидел за одним столом с Феликсом Юсуповым, ставшим позднее мировой знаменитостью после участия в убийстве Распутина. Получив офицерский чин, участвовал в боевых действиях. В гражданскую войну подпоручик Аскар Шейх-Али был артиллеристом в составе 5-й армии Восточного фронта, а затем был переведен в артуправление главного штаба Красной Армии. Для многих представителей старой интеллигенции революционные перемены были драматичны. После окончания гражданской войны для офицеров, служивших в Красной Армии, варианты выбора жизненного пути были невелики. Остаться в армии было сложно, ибо клеймо «царский офицер» оставалось надолго. Впрочем, были не такие уж редкие исключения, но и обратных примеров хватало. Для Аскара Алиевича Шейх-Али первые шаги после демобилизации в 1921 году сложились сравнительно благополучно. Его уникальные способности разбираться в любой технике, умение своими руками сделать самую сложную деталь, навыки слесаря, токаря, механика высочайшего класса помогли быстро найти место в жизни. Шел первый год периода НЭПа, в Москве открылись многочисленные мастерские по ремонту и реставрации техники, и умение бывшего

«раскома» починить и наладить всю имеющуюся тогда технику — от примуса и сложнейшего замка до пишущих машинок и арифмометров, электрических двигателей и автомашин — быстро нашло свое применение. Причем, ремонтируя сложную технику, он вносил в ее конструкцию и функциональные возможности такие изменения в лучшую сторону, что хозяева не находили слов для благодарности.

Наверное, Аскар так и остался бы в Москве, став преуспевающим и щедро оплачиваемым механиком по ремонту сложнейших приборов при Лесотехническом институте. Он получил к этому времени довольно приличное жилье. Будущее семьи — жены Гульсум (дочь известного татарского просветителя Шахбаза Ахмерова) и двух дочерей. Динары и Гульнар, — было бы обеспечено... Но судьба талантливого инженера-изобретателя сложилась иначе. Прежде чем рассказать о крутом повороте жизненного пути Аскара Шейх-Али, следует, очевидно, коротко напомнить о некоторых событиях культурной жизни страны после революции. Можно сейчас по-разному относиться к культурной политике большевиков. Это, наверное, приметы времени, когда нет больше незыблемых «железобетонных» стереотипов и «единственно верных» учений. Но в пылу ниспровержения прошлого нередко утверждается взамен прежней новая неправда или правда весьма усеченная. Когда вчерашние лениноведы и лениноведки изощряются в развенчании своего кумира, а некоторые проницательные «научные атеисты» берут чуть ли не семьей «подряд» на пропаганду религиозных ценностей, следовало бы напомнить, что ряд принятых большевиками решений в борьбе с массовым невежеством населения был конструктивен. Да и призыв изучать не «пролетарскую» культуру, а для начала овладеть таблицей умножения и правилами правописания и соблюдать элементарные гигиенические правила — был не так уж плох. В этом ряду стоит и многогранная работа по просвещению масс в мусульман-

ских регионах страны. Курсы и школы, съезды учителей и учащихся, журналы и газеты, доступные пониманию человека, только начинавшего писать и читать,— все это было названо «культурной революцией». Сейчас по прошествии многих лет слово «революция» не вызывает у нас былого восторга, но ведь изменения, происходившие тогда, были огромными и затрагивали миллионы людей.

В этой связи следует, очевидно, напомнить, что проблемы печати, издания газет и журналов, внедрения родного языка в делопроизводство стали одними из самых актуальных в молодых национальных образованиях. В начале 20-х в большинстве тюркских республик были приняты различные законодательные и административные акты по расширению сферы функционирования родного языка. В первую очередь, в области судопроизводства, ведения документации общественных и государственных органов, школы и иных учебных заведений. Почти все тюркские народы СССР в тот период пользовались арабской графикой. Однако на «политическом горизонте» уже виднелись контуры будущего тотального перевода письменности на латынь. А требования ревнителей введения «яналифа» как революции на Востоке становились все более агрессивными. Хотя в начале 20-х многим еще казалось, что арабский алфавит при некотором реформировании отдельных архаичных правил может обслужить и культурную революцию. В этом направлении работали Г. Шараф, Н. Хакимов, Г. Алпаров, известный специалист по шрифтам Г. Идрисов. Странником модернизации арабского алфавита в татарском варианте был и крупнейший общественный деятель и писатель Г. Ибрагимов. Одним из «камней преткновения» на пути широкого применения арабской графики в делопроизводстве было отсутствие пишущих машинок. Причем ряд специалистов полагал, что в силу различных сложностей начертания знаков и их многовариантности создание такой машинки невозможно в принципе. Не было аналогов и в мировой практике. О

том, какое значение придавалось созданию подобной машинки, можно судить по тому, что в 1923 году о попытке решить эту проблему с помощью придания механизмам обратного хода и унификации всех знаков Г. Ибрагимов докладывал на заседании Секретариата ЦК РКП(б) в присутствии Сталина. Однако эти попытки оказались неудачными, и арабские знаки, упрощенные до неузнаваемости, в машинописном варианте почти не читались.

Такая вот ситуация сложилась в то время на одном из самых важных участков «культурного фронта». Тогда и состоялась «историческая встреча», как принято говорить о значительных событиях, Аскара Шейх-Али с неразрешимой проблемой — как «втиснуть» арабскую графику с ее переменными конфигурациями знаков в кинематику существующего механизма. Состоялась она весьма обыденно — один из знакомых казанцев показал Аскарю Алиевичу отпечатанную в ходе предыдущих попыток покорить «упрямый» механизм официальную бумагу. Оба они долго пытались разобрать напечатанное, но понятным оказалось не более 30—40 процентов текста. Собеседник, сокрушенно покачав головой, порвал в сердцах напечатанное, сказав, что лучше напишет это отношение в наркомат от руки.

Проблема даже для Шейх-Али с его обостренным пониманием «души» любого механизма, умением найти нестандартное решение для выхода из конструкторского тупика оказалась сверхсложной. В упрощенном и доступном для неискушенного в технике читателя изложении скажем, что если в обычной машинке с латинскими или русскими буквами степень передвижения каретки одинакова для всех знаков, то для арабской графики необходимы минимум четыре варианта такого передвижения в самых различных сочетаниях. В своих воспоминаниях, написанных на склоне лет, Аскар Алиевич подробно проанализировал процесс решения этой сложнейшей задачи. Вначале опыты велись на устаревших моделях серии «Континенталь», а затем на самых современных для того времени знаменитых «Ун-

дервудах». Техническая задача была решена Аскарком Алиевичем Шейх-Али блестяще. Текст, напечатанный на опытном экземпляре «Ундервуда», эксперты принимали за рукописный, настолько четко воспроизводились конфигурации букв безо всяких искажений. О значении и техническом уровне решенной задачи говорит и то, что изобретение было признано выдающимся и Комитетом по делам изобретений при ВСНХ. «Механизм передвижения каретки пишущей машинки на различную величину, соответствующую печатаемой букве». — так сухо, но технически безукоризненно была сформулирована суть открытия. Были выданы два патента с регистрацией не только у нас, но и за рубежом.

Известие о том, что Шейх-Али создал реальную машинку для татарского письма, было встречено в Казани как сенсация, и автора стали настоятельно приглашать переехать на постоянную работу, обещая создать все условия и дать соответствующую плату. Как вспоминал сам Шейх-Али, принимать решение было нелегко. Пришлось бы оставить хорошую жилплощадь в Москве, налаженный быт, привычную клиентуру, высоко ценившую золотые руки инженера. Были и другие лестные предложения. Однако такие понятия, как стремление помочь своему народу, чувство долга перед его культурой и ее будущим, не были в то время пустым звуком. Для этого поколения интеллигенции слова «долг» и «честь» во многом определяли стандарты поведения... Не знаю, жалел ли впоследствии Аскар Алиевич о сделанном шаге... и сделал ли бы он его, знай о многом из того, что предстояло пережить в недалеком будущем? Как бы то ни было — переезд состоялся.

Первые шаги по налаживанию производства пишущих машинок для татарской письменности, — таково было их официальное назначение, — оказались успешными. Мастерская по их производству была создана при высшем органе республики — ТАТЦИКе. Помещение было выделено в

центре города — на улице Чернышевского (ныне ул. Ленина). Уникальное оборудование для прецизионных механических работ, в частности, фрезерный станок «Браун», измерительный и режущий инструмент были предусмотрено приобретены Шейх-Али еще в Москве через свои связи с предприятиями и мастерскими. Не ошибся он и в подборе людей: и М. Николаев, пришедший из университета первым, и Г. Елизаров, И. Лисенков, Святоносов, Щеглов и Тихонов, составившие первое ядро коллектива, оказались не только первоклассными мастерами своего дела, но и ищущими изобретателями, внесшими немало нового в процесс производства. Особенно ценными были предложения Г. Елизарова. Но душой всего этого грандиозного дела, генератором идей и человеком, умевшим не только читать чертежи, но и воплощать их в металл, был, конечно, сам А. А. Шейх-Али. Весьма печально, что в силу целого ряда причин, в том числе и политических, впоследствии имя его подверглось забвению, или в лучшем случае упоминалось вскользь. А ведь он должен по праву стоять в ряду самых талантливых представителей инженерной мысли татарского народа. Как и в любом новом деле, тем более задевающим корпоративные интересы монополистов отрасли, были и серьезные препоны. Так, например, с упорством, достойным лучшего применения, чиновники ряда управлений в Москве пытались помешать созданию новых машинок, так как такое производство, правда, с русским шрифтом, было запланировано в Лигове под Ленинградом. Еще не выпустив ни одной машинки, оно уже имело в штате около 200 конструкторов и инженеров... Мешали по невежеству или из чиновничьих амбиций и собственные бюрократы в Казани. Но идея была настолько наглядной, а результаты так ощутимы, что ведущие политические лидеры республики, и, в первую очередь, Председатель СНК Х. Габидуллин, реально поддержали усилия энтузиастов. Начиная с 1925 года производство машинок на основе арабской графики постоянно росло.

После удовлетворения первых заказов из районов Татарии мастерская приступила к выпуску машинок, учитывающих особенности шрифтов в других регионах СССР. В частности, заявки поступили из Средней Азии, Северного Кавказа. Лестными были заявки на казанские машинки из Китая, Афганистана и Ирана. В 1928 году по решению татарского правительства были закуплены 40 машинок «Ундервуд» для переделки на татарский шрифт и одновременно был налажен их выпуск целиком из деталей, сделанных в Казани. Это было огромным достижением. Впервые весьма сложный механизм был полностью изготовлен в Татарии. Это уменьшало и валютную зависимость предприятия от зарубежных образцов. В портфеле «заказов» предприятий были предложения, исходившие от самых солидных фирм Индии, Геджаса (Саудовская Аравия), ряда территорий Северной Африки, Ливана, отовсюду, где применялась арабская графика. Это было уже международное признание, которым в то время весьма редко баловали предприятия СССР. Не сырье, не полуфабрикаты, которые были привычным предметом экспорта, а точный прецизионный механизм представлял одну из республик страны, строящей социализм. Сейчас нас в Татарстане не удивишь спросом на машины, приборы и аппараты, произведенные в республике... Но для 1927 года это было уникальное явление. Автор не занимался специальным исследованием этого вопроса, но есть все основания предполагать, что первым созданным в Казани точным механизмом, конкурентоспособным за рубежом, стала пишущая машинка, созданная Аскарком Шейх-Али. Тем временем в стране назревали события, которые вскоре круто изменили судьбу Шейх-Али, впрочем, как и судьбу миллионов людей. В 1927 году в недрах правящих кругов, очевидно, происходят судьбоносные процессы, приведшие к изменению привычных методов политической борьбы, когда даже самая жесткая критика инакомыслящих в высших эшелонах партии не приводила к их полному поли-

тическому уничтожению. Сталин и его единомышленники, кто по убеждениям, а кто и под прямой угрозой имевшегося у вождя компромата подвергают разгрому так называемую «левую оппозицию» и Троцкого. Впервые в послереволюционной истории партии из нее были исключены члены ЦК и даже Политбюро. Вскоре эта судьба постигнет и причисленных к «правым» Бухарина, Рыкова и Томского. А пока они на XV съезде партии громят своих «левых оппонентов», а Сталин, обращаясь к Зиновьеву и Каменеву, заявляет, что те хотят крови Бухарина, но партия не даст на растерзание своего любимца...

Это обострение внутривнутрипартийной борьбы, ставшее как бы «прологом» 1937 года, затронуло и национальные проблемы, привело к еще большим ограничениям прав республик, особенно «автономных», считавшихся как бы «второсортными». Одной из самых «горячих точек» национальной политики стали достигшие своего пика дискуссии о судьбе арабской графики в языках народов мусульманских регионов. Мы уже говорили о начале этих споров. Однако до 1927 года и ЦК ВКП(б), и местные партийные комитеты в целом довольно спокойно относились к судьбе «яналифа», т. е. переводу этих языков на латинскую графику. И хотя I тюркологический съезд в Баку, прошедший весной 1926 года, в своем решении одобрил меры по постепенному переводу на «яналиф», однако никаких особо жестких рекомендаций не дал. Больше того, очевидно, часть республик в этот период и не ставила перед собой задачу форсировать этот процесс. Глава татарской делегации на съезде Г. Ибрагимов, например, получил даже секретную инструкцию своего обкома, обязывающую не брать на себя никаких обязательств о переходе республики на «яналиф». Однако вскоре ситуация круто изменилась. И уже в феврале-марте 1927 года принимается ряд решений на самом высоком уровне, в которых «яналиф» объявляется «одним из главных направлений развития культуры народов», а арабская графика — «реакционной поме-

хой на пути к социализму». В документах подчеркивалось, что старый алфавит способствует консервации религиозных настроений у населения. Возможно, в этом и была главная причина гонений на «арабизм». Татарский обком ВКП(б) в своих решениях отметил, что внедрение «яналифа» — долг коммунистов, а противодействие ему — антипартийный поступок. Нет надобности объяснять, что это означало в условиях тоталитарного государства, где исключение из партии делало человека изгоем и фактически становилось запретом на профессию, связанную с интеллектуальной деятельностью. Человек, исключенный из партии, оказывался на самом дне общества, отношение к нему было худшим, чем к беспартийному. Отсюда и тот «энтузиазм», с которым начали ратовать за «яналиф» его недавние противники. И в это время в Татарии появляется уникальный документ, аналогов которому не было больше нигде. На имя Сталина, инструктора ЦК Пшеничникова (курировавшего республику) и III пленума Татарского обкома поступило письмо, явно выходящее за рамки утверждавшейся парадно-одобрительной формы общения людей со своим руководством. Его подписали 82 человека. Среди них были педагоги, писатели, ученые, врачи, агрономы, художники, инженеры, студенты — цвет татарской интеллигенции. Все они были беспартийными. Автор уже опубликовал текст этого письма и рассказал о ряде обстоятельств, ему предшествовавших¹. Напомню только, что авторы письма, не возражая против введения «яналифа», высказывали сомнения в необходимости «ударных темпов» ликвидации арабской графики, полагая, что это приведет к отрыву татарского народа от своей древней культуры.

Нам неизвестно, читал ли Сталин это письмо. Реакция Татарского обкома была скорой и суровой. Решение Пленума гласило: «...факт подачи подобного заявления явля-

¹ См. очерк «Письмо татарских интеллигентов Сталину» в книге «Страницы секретных архивов». Казань. 1994.

ется показателем роста активности буржуазно-националистических элементов, направленной против ВКП (разрядка моя — Б. С.). Поручить бюро ОК сделать соответствующие выводы из факта подачи этого заявления и провести необходимые общественно-организационные и разъяснительные мероприятия». Очевидно, негласные указания обкома о необходимости усилить «внимание» к авторам письма получил и местный отдел ОГПУ. Впрочем, напоминать об этом нужды не было — татарская интеллигенция давно уже служила объектом повышенного внимания...

Среди подписавших заявление под номером 78 значилось: «Шейх-Али А. — зав. маст. по пр-ву тат. пиш. маш.».

Существуют различные версии авторства письма: подозревали Г. Ибрагимова и М. Султан-Галиева и некоторых других видных деятелей.

В последние годы его жизни мне приходилось неоднократно встречаться с Баки-ага Урманче. Наш маститый художник тоже поставил свою подпись под этим документом под номером 55 — «свободный художник Б. Урманче». Он же был, наверное, последним из подписавшихся, при жизни узнавшим о своей реабилитации, и о том, что письмо «82-х» не было направлено против ВКП, как гласила официальная справка 80-х годов. По его мнению, авторами письма были Г. Шараф и Х. Исхаков, журналист, брат знаменитого писателя. После проведенных «общественно-организационных и разъяснительных мероприятий» (читатель понимает, как они велись и что грозило слушникам) почти все «подписанты» публично, устно и письменно, раскаялись в содеянном. Но их фамилии были занесены в «долговременную память» органов, и впоследствии участие в «82-х» служило для некоторых поводом для ареста или отягчающим обстоятельством. В 1928—29 гг. «яналиф», поддержанный центральными органами власти, победоносно шествует по тюркским республикам. Высшим его торжеством стало выездное заседание главного комитета по «яналифу» — в Казани. На него прибыл

сам Агамалы-Оглы, председатель ЦИК Азербайджана и «главный латинист СССР». Он в торжественной обстановке заявил, что «Порт-Артур арабизма Казань — пала».

Бурное внедрение латинизма требовало полного переоснащения парка пишущих машинок. Под руководством А. Шейх-Али производство новых машинок «Яналиф» ставится на поток и на базе скромной мастерской создается современный завод — единственный в стране поставщик «Яналифа» для всех республик и Турции, также проводшей «латинизацию». По рекомендации центра завод получил имя Агамалы-Оглы, что и было зафиксировано в фирменной марке машинок, получавших дипломы и призы на самых авторитетных выставках множительной и вычислительной техники. Не жалели добрых слов и в адрес ее создателя А. Шейх-Али, соединившего, по выражению одного из почитателей его таланта, «ум Кулибина и руки Левши». Не будем сейчас спорить об обоснованности этих оценок, но в инженерных кругах, связанных с производством точной техники, имя А. Шейх-Али действительно пользовалось огромной популярностью. У него намечались новые и смелые идеи в этой области... Но 6 мая 1931 года он был арестован Татарским ОГПУ. При обыске были изъяты все технические документы, проекты, чертежи... В стране проводилась очередная кампания по ликвидации потенциальных противников тоталитарного режима. В их числе были и видные представители татарской интеллигенции. После годичного пребывания в местной тюрьме Шейх-Али узнал, что решением коллегии ОГПУ он и ряд других арестованных с ним лиц, приговорены к различным срокам заключения по статье 58 — этой роковой статье, сломавшей жизнь сотням тысяч людей.

Страна изнемогала под тяжестью подневольного труда и от обилия строек, не подкрепленных ни ресурсами, ни квалифицированными кадрами. Главным средством решения кадрового вопроса стали массовые аресты. А одним из самых крупных, если не самым крупным промышлен-

ным ведомством, стало ОГПУ. Многочисленные «острова» архипелага ГУЛАГ добывали уголь и золото, валили лес на экспорт, строили предприятия. Были стройки, служившие как бы «визитной карточкой» первой пятилетки, на них обращали особое внимание, там бывали делегации, их воспевали поэты и писатели. Главной среди них стал знаменитый «Беломорканал», любимое детище шефа ОГПУ Г. Ягоды. На нем проводился и широкомасштабный эксперимент по выработке наиболее рационального сочетания «кнута и пряника», создания стимулов для повышения производительности труда заключенных через систему разных поблажек и льгот. Все это именовалось «перековкой». В это время были еще возможны такие контрасты, о которых вспоминал Аскар Шейх-Али. Эшелон с 600 заключенными из Татарии прибыл на Беломорканал после недельного изнурительного пути... Его обитателей, привыкших к окрикам и рукоприкладству конвоя (впрочем, и к самим конвоирам), поразила встреча. После сдачи конвоем заключенных новое начальство объявило, что здесь нет слова «зека», а есть «каналоармейцы». Конвоя не будет, и заключенные должны сами регулировать свой распорядок. Тюремный режим и зона за «колючкой» сохранялись только для уголовников, отказавшихся от работы. Хорошая работа будет поощряться системой зачетов с сокращением срока заключения. Еще не было тогда известно, что после окончания строительства канала и посещения его вождями во главе со Сталиным ряд «вредителей» и «контриков» станут орденоносцами, а наиболее предусмотрительные из них даже не воспользуются правом на свободу и останутся здесь в качестве вольнонаемных. Это спасет некоторым из них жизнь во время «беспредела» 1937—38 годов. Все эти «опыты» с пенитенциарной системой будут прекращены в середине 30-х годов.

Сразу же после знакомства с данными о прошлой работе А. Шейх-Али получил назначение в «столицу» ББК (Беломорско-Балтийского Канала) Медвежьегорск, где на-

ходились основные инженерные подразделения стройки. Оттуда был направлен на самый сложный 2-Водораздельный район, где преимущественно были скальные, гранитные породы. Работа велась в три смены, ночью при свете прожекторов. Важную роль в инженерном обеспечении прокладки ложа канала в гранитных породах играла Гидротехническая лаборатория, в которую и был назначен Шейх-Али. Это была типичная советская стройка с присущей ей безалаберностью и наплевательским отношением к труду и со взлетами творческой мысли и героическим преодолением созданных нами же трудностей.

Для человека творческого эта стройка была великолепным местом для инженерной работы. Десятки рационализаторских предложений.— а некоторые из них находились на уровне изобретений.— сделали казанца заметной фигурой среди инженерной гвардии канала. Прославился он и тем, что, не будучи специалистом в области электротехники, сумел разгадать таинственную историю с местной электростанцией, которая периодически снижала свою мощность почти наполовину, обрекая на простой механизмы и погружая город в полутьму. Обычно это совпадало с включением некоторых агрегатов лаборатории, хотя они по своим техническим данным не должны были забирать столь огромную мощность. Разгадка была проста: при монтаже перепутали схему включения нескольких турбин... Будь это на свободе, возникло бы громкое дело о вредительстве. Здесь же, внутри ГУЛАГа, хорошо знали причины неполадок, и виновники отделались снижением пайка за разгильдяйство, без всяких громких обвинений. Впрочем, и начальство хорошо знало первопричину многих аварий и главную из них — стремление быстрее отрапортовать о перевыполнении норм. Не случайно техническим эпитафией «канальной технологии» служила возникавшая именно здесь, в беломорских дебрях, поговорка: «Без туфты и аммонала не построишь тут канала». Увы, эта технология стала спутником нашей экономики на многие годы.

Система «зачетов», да еще слава спасителя энергетики города сослужили добрую службу. Летом 1934 года А. А. Шейх-Али был освобожден досрочно. Ему еще предстояло увидеть многое за оставшиеся 34 года жизни. Возвращение к любимой работе было запрещено. Казань вошла в «минус» (так называли списки городов с запретом на проживание в них для бывших политзаключенных), и любимое детище — завод пишущих машин, переехавший к этому времени в новое помещение, остался без своего создателя. Годы военные и предвоенные прошли в Подмосковье и Алатыре. Хотя арестов не было, но косые взгляды, как и чересчур «внимательное» отношение паспортисток и участковых, преследовали всю жизнь. Такова была реальность. Статья 58 — это на всю жизнь, даже на свободе. Ожидалось послабление после победоносного завершения войны, но попытка снова поступить хотя бы рядовым инженером на «Пишмаш» натолкнулась на запрет прописки, хотя в коллективе его помнили и, кажется, ждали. Вплоть до выхода на пенсию А. Шейх-Али работал в конструкторском бюро завода в поселке Лопатине (сейчас г. Волжск). Он освоил новую для себя область — механизацию деревообделочного производства. И здесь его изобретательский талант оставил заметный след.

В начале очерка было сказано, что есть люди, живущие и после физического ухода в небытие. Наверное, таков и герой этого очерка. Перед нами прошла жизнь одного из татарских интеллигентов с ее надеждами и разочарованиями, взлетами и падениями. Обычная жизнь многообещающего человека начала XX века, столь много сделавшего и не успевшего многое сделать. Жизнь внесла свои коррективы. Увы, грустно сознавать, что афоризм, приписываемый нашему современнику, тоже инженеру — «хотели как лучше, получилось как всегда», в более расширительном смысле — это и эпиграф к нашей жизни и жизни страны.

Был ли счастлив герой нашего очерка? Думаю, что скорее да, чем нет. Несмотря на сложнейшие испытания,

предопределенные временем, он оставил заметный след в культуре родного народа. Счастье его и в том, что продолжение осуществления идей в других условиях он видел в дочерях: Динаре Аскаровне — великолепном медике, ученом, в годы войны — фронтовом враче, и Гульнаре Аскарровне — инженере-химике.

И, наконец, верным спутником в течение всей его жизни была Суфия Ахмерова, дочь известного татарского просветителя. Их судьба стала общей еще в далеком 1910 году. А много ли человеку надо — яркий след в жизни, свое продолжение в детях, и добрые слова тех, кто знал, и тех, кто узнал уже после ухода в небытие. Все это было и есть у героя этого очерка.

ФУАД ТУКТАРОВ («УСАЛ»)¹

В начале нашего века не было, пожалуй, образованного татарина, которому не было бы знакомо имя Махмуд-Фуада Фасаховича Туктарова, выдающегося деятеля татарского национального движения, соратника и друга Газы Исхаки.

Однако много десятилетий в наших исторических и литературных произведениях оценка всей жизни и деятельности этой, несомненно, незаурядной, талантливой личности предопределялась тем клеймом, которое было поставлено на его имени в 1918—1919 годах: его ославили как предателя Раузы Чанышевой и косвенного убийцу Мулла-нура Вахитова. Позже эмигрировавшего Туктарова заклеямили как шпиона: время было такое, когда чуть ли не каждый эмигрант считался шпионом, а Туктарову в совет-

¹ В очерке использованы архивные материалы и сведения из опубликованных другими авторами работ. — *Ред.*

ской литературе неизменно доставались самые «модные» и «актуальные» роли.

Пилсудского я вижу в их мечтах,
Врагов надежды на него,— сильны!
А у него в лакеях состоя,
Гаяз с Фуадом рядышком видны.
Он им швыряет крохи со стола,
И эти две собаки, то и знай,
Чтоб угодить хозяину вполне
На власть Советов поднимают лай,—

так писал в 1930 году в стихотворении «Ядовитые мечты» М. Гафури, как и многие поэты своего времени облачая в поэтическую форму строки советских газетных, журнальных и книжных статей о Туктарове и Исхакове.

Сегодня, наверное, уже никого не надо убеждать в том, что никаким шпионом иностранных разведок Фуад Туктаров не был, так же, как не был он предателем и убийцей Вахитова: нет никаких документальных свидетельств, которые бы подтверждали огульные утверждения, что приказ о казни Вахитова был отдан Туктаровым. В печати и устно эти два деятеля национального движения, пошедшие разными путями, не щадили друг друга. Так, в конце ноября 1917 года в статье «Тернистый путь» М. Вахитов писал об оппоненте: «Враги не дремлют. Туктаров и К^о ведут систематическую борьбу с Мусульманским социалистическим комитетом. Взяв к себе в качестве адъютантов нескольких сопливых мальчишек и накинув на плечи изношенный чапан национализма, скоморох Фуад двинулся в поход. И вот он бродит по берегам тинного Булака и угрюмого Кабана, призывая богачей своих на борьбу с социалистами... Туктаров суетится, Туктаров бегаёт, Туктаров о чем-то бормочет... На всех перекрестках, со всех крыш, из-под всех подворотен он ворчит на социалистов... Протолкаться в Учредительное Собрание — вот заветная мечта Фуада...». Такая брань — обычное дело для послепефевральских российских политических споров, и вахитов-

ские эпитеты в адрес Туктарова — «скоморох», «посредственный оратор», «пронырливый маклер политического базара» — не самые сильные выражения из «джентльменского набора» политиков «свободной России». Туктаров отвечал оппонентам тоже далеко не вежливо. Таковы были правила политической игры и полемики. Но политическое убийство вчерашнего оппонента, попавшего в руки сегодня, редко практиковалось политиками-комучевцами, наоборот, иногда эти самые оппоненты находили убежище у своих врагов — вчерашних соратников по борьбе с царизмом. Так, в доме Алкиных скрывался известный большевик Исхак Казаков — дядя Муллачура Вахитова. Бывшие социалисты, ставшие непримиримыми идейными противниками, еще помнили о своей общей колыбели. Из нее вышел и Туктаров.

...5 февраля 1880 года в деревне Кульбаево-Мураса Старо-Альметьевской волости Чистопольского уезда Казанской губернии у крестьянина, — известного татарского теолога муллы Фасаха-хаджи, и совсем юной 15-летней жены его Мафтухи родился сын, названный Махмуд-Фуадом. Фуад получил хорошее образование в медресе города Чистополя, которое окончил в 1901 году. Продолжить это образование он решил в Казанской татарской учительской школе, и таким образом в начале века Фуад попадает в Казань.

Казанская татарская учительская школа, созданная в 1876 году для подготовки преподавателей русских классов из числа татар, стала поистине центром формирования национального самосознания татарской интеллигенции: из этих стен вышли люди, чьи имена занимают видное место в истории татарского народа — М. Султангалиев, С. Максудов, Г. Исхаки, Х. Ямашев, Ш. Мухамедьяров, Терегуловы, Токумбетовы, Акчурины и другие. В Казанской татарской учительской школе Ф. Туктаров встретил Гаяза Исхаки, ставшего его другом и товарищем по общему делу на долгие годы. В их судьбах было много общего — их

отцы были муллами и детей своих воспитали в традициях мусульманских обычаев и культуры; они были земляками — оба из Чистопольского уезда, оба окончили Чистопольское медресе, были примерно одного возраста — Исхаки на два года старше, и теперь судьба свела их в учительской школе.

Много общего было и в их взглядах. По воспоминаниям провокатора Тухватуллы Мамлеева (тоже учившегося в учительской школе), еще между 1895 и 1900 годами в школе был создан кружок для изучения новой татарской литературы. Его политическая физиономия была еще весьма расплывчата, но из этого круга выйдут будущие татарские политические деятели — Садри и Хади Максудовы, Гаяз Исхаки, Хусаин Ямашев, Гумер Терегулов, Фуад Туктаров. В 1901 году (судя по воспоминаниям Исхаки) было создано общество учащейся молодежи «Шакирдлик» («Студенчество»), выпускавшее в Казани свой нелегальный орган «Таракки» («Прогресс»). После окончания Г. Исхаки школы и его ухода руководство этой организацией фактически осуществлял Ф. Туктаров.

Революция 1905—1907 годов многое изменила во взглядах молодых шакирдов, у многих появился интерес и тяготение к российским партиям и выдвигавшимся ими лозунгам. В 1905 году часть выходцев из кружка татарской учительской школы — Гаяз Исхаки, Фуад Туктаров, Хусаин Ямашев, Шакир Мухамедьяров и другие — основали в Казани газету «Тан» («Заря»), по названию которой группа их, самая радикальная среди мусульманских, близкая по воззрениям к российским эсерам, получила название «Танчылар». Просуществовала она недолго. В том же году «Танчылар» стали участниками I Всероссийского мусульманского съезда в Нижнем Новгороде, на котором был основан Мусульманский союз — «Иттифак». «Танчылар» принимали участие в подготовке этого съезда — например, участвовали в совещании в Чистополе в конце мая 1905 года, которое было проведено в доме Камаловых: свадьба

в их доме по инициативе «Танчылар» была использована как предлог для проведения совещания. Было решено провести съезд во время Нижегородской Макарьевской ярмарки. 10 августа на «Макаржа» (так татары называли эту ярмарку) съехались многие видные тюркские политические и общественные деятели. Так как губернатор не разрешил собрание, совещание в составе примерно 150 человек было проведено на пароходе «Густав Струве», плившем по реке Оке. Любопытная деталь: организаторы съезда, вероятно, не очень хотели присутствия на нем радикалов — «левых» («Танчылар»): их не пригласили официально, и пароход отправился на полчаса раньше назначенного срока, так что молодым татарским эсерам пришлось догонять пароход на баркасе. Их неожиданное появление на борту было встречено старшими безо всякого восторга.

Деятельность группы «Танчылар», вошедшей на автономных началах в Поволжский комитет партии эсеров, активно работавшей среди татарской студенческой молодежи (организовали кружок «Берлек»), не осталась незамеченной властями. Пристального внимания Казанского губернского жандармского управления удостоился и Туктаров. 21 июня 1905 года он впервые подвергся обыску и аресту.

Последующие несколько лет Туктаров работает и в партии социалистов-революционеров, и в национальном движении, сочетая эсеровские взгляды с пониманием национальных задач своего народа. В феврале 1907 года сразу после выборов во II Государственную думу, где эсеры получили значительное количество мест — 37, в Таммерфорсе состоялся II (экстренный) съезд партии эсеров, который обсуждал думскую тактику. Фуад Туктаров принял участие в работе этого съезда как представитель татарского центра при Поволжском комитете партии. Подобно эсерам, решившим создать самостоятельную думскую фракцию, мусульманские депутаты в думе создали «Му-

сульманскую трудовую группу», идейным вдохновителем которой был Туктаров, командированный в это время группой «Танчылар» в Петербург для создания местного филиала группы. Но, как известно, деятельность этой группы, как и деятельность самой Думы, продолжалась недолго — до 3-июньского переворота.

В эти революционные и первые послереволюционные годы Туктаров выступает в татарской печати как талантливый публицист, журналист. Его журналистское перо, испытанное в юности на страницах газеты «Таракки», печатавшейся на мимеографе в стенах татарской учительской школы, — теперь оттачивается в уральской газете «Аль-Аср аль Джадид» («Новый век»), в казанской газете «Тан Йолдызы» — органе группы «Танчылар», одним из редакторов которой он был. Туктаров войдет в историю татарской публицистики как язвительный и хлесткий журналист. Недаром выпущенная им позже книга о деятельности мусульманских депутатов 1-й, 2-й и 3-й Государственных дум (с биографиями всех этих деятелей и их портретами), тон которой был остро критическим, разоблачительным, будет подписана избранным им псевдонимом — «Усал» («Злой»).

В июле 1911 года М.-Ф. Туктаров (подготовившись и сдав в июне экзамены на аттестат зрелости во 2-й Казанской гимназии) поступает в Казанский университет на юридический факультет. Что заставило 31-летнего Туктарова — уже достаточно зрелого политика и публициста, «не мальчика, но мужа», вновь сесть на ученическую скамью, за книжки? Наверное, не только неутолимая жажда знаний, привитая в детстве ученым-отцом. И не только желание овладеть престижной во все времена профессией. Ремесло юриста, оружие закона влекло в те годы многих людей, становящихся на политическую стезю. Да и русское светское образование могло помочь Фуаду Туктарову заполнить пробелы в его знаниях, которые были так нужны для общения с коллегами по борьбе не только в Казани,

но и в Петербурге. Туктаров успешно закончил университет с дипломом юриста весной 1915 года.

Студенческие годы для него были трудным временем. Прежде всего в материальном плане: отец к тому времени умер, и Фуаду приходилось заботиться о семье — о матери и трех сестрах — Ильхамии, Замире, Мафтухе. Построив матери дом в деревне, он едва выкраивал из своих скудных частных заработков деньги на его оплату, случалось — просрочивал плату за учебу в университете. Юридический факультет удовлетворил было его просьбу о предоставлении пособия, но попечитель округа не утвердил просьбу «инородца-нехристианина», к тому же, похоже, политически не вполне благонадежного: уже в августе 1911 года Казанское губернское жандармское управление имело сведения о «кружке казанских мусульман» во главе со студентом университета Газизом Губайдуллиным (будущий известный татарский историк), состоящем из представителей учащейся молодежи, куда входил и Туктаров.

К материальным трудностям добавились сердечные переживания. В годы учебы в университете Фуад влюбился в русскую девушку. О его переживаниях вспоминал много лет спустя известный башкирский политический деятель Заки Валиди: летом 1913 года он пригласил Туктарова на отдых и на кумыс в свою родную деревню на Южном Урале. Заки Валиди вспоминал, что в течение этих двух месяцев, проведенных в деревне, Фуад, доселе не куривший, начал вдруг покуривать, и «множественно на дню перечитывал» письма, приходившие от любимой девушки, хотя он был весьма сдержан в проявлении своих чувств вообще, и, например, осуждал Валиди, плакавшего навзрыд на могиле друга.

Однако и во время учебы в университете Туктаров не прекращал свою политическую и журналистскую деятельность. В его студенческом деле есть любопытные документы, свидетельствующие об этом. 6 мая 1914 года попечитель Казанского учебного округа, со ссылкой на казанско-

го губернатора, сообщил ректору университета, что Туктаров «...в Казани бывает только наездом — изредка и проживает в других городах, преимущественно в Санкт-Петербурге, без разрешения учебного начальства»; в частности, в конце 1913 и в начале 1914 года он жил в Петербурге, вернулся в Казань в середине февраля, а в конце февраля опять уехал в Петербург, к тому же он незаконно пользуется двумя видами на жительство, одно из которых не сдал, как положено, в канцелярию университета при получении второго. Это был серьезный проступок. Над головой студента Туктарова собирались тучи. В своей объяснительной записке ректору 28 мая 1914 года Фуад объяснил несдачу вида на жительство недоразумением, а свои частые отлучки в Петербург — тяжелым материальным положением и предложенной там «одним товарищем по школе» работой в конторе на каникулах. Избежать неприятностей Туктарову во многом позволило благоприятное отношение профессора А. А. Овчинникова (героя другого нашего очерка) — тогда проректора университета. Овчинников не стал доводить дело до дисциплинарного суда, наложив на записку резолюцию, в которой, учитывая чистосердечное объяснение и раскаяние «достаточно прилежного студента», ограничился строгим выговором.

Однако, думается, объяснение Фуада Туктарова было не совсем чистосердечным. И в Петербург его влекли не только заработки.

Время между двумя российскими революциями было бурным для татарской журналистики: из 166 выходивших в России на «мусульманских» языках газет 62 печатались на языке казанских татар, 22 из них выходили в Казани. Журналист и политик, сотрудничавший во многих казанских газетах и журналах (например, в сатирическом «Ялт-йолт») («Сияние»), Туктаров вместе со своим другом Г. Исхаки («одним товарищем по школе») редактировал в Петербурге газету «Иль» («Страна»), в которой с сентября

1913 года начинает публиковать свои материалы. В 1914 году газета переехала в Москву, и при помощи некоторых татарских купцов Исхаки основал типографию.

Именно этот период — перед самым началом первой мировой войны — становится переломным в мировоззрении эсеровской группы «Танчылар». В публикациях газет «Иль», в том числе в статьях Туктарова, все чаще звучит идея национальной самостоятельности, призыв к единству нации в противовес идее классовой борьбы. Идея примата интересов нации и соответствующего поведения ее представителей в IV Государственной думе звучит, например, в статье Туктарова «Национализм и политика», опубликованной в газете «Иль» 29 марта 1914 года: «...В Государственной Думе у мусульманской фракции обязательно должна быть своя тактика, — писал он. — Но какая тактика? Какая польза может быть от того, что группа из шести человек, придерживаясь определенной тактики, сегодня настроит против себя прогрессистов, а завтра правых... нам нужно опасаться такой политической слепоты. Необходимо прятаться за пазуху более сильного (хотя бы временно). Этим более сильным совершенно не могут быть ни правые, ни октябристы, а могут быть лишь «прогрессисты». Это уже был голос умного и хитрого политика, уже сделавшего свой выбор между социальной и национальной идеями.

Несколько военных лет накануне февраля 1917 года Туктаров живет в Казани, занимаясь адвокатской практикой, продолжая свою политическую и журналистскую деятельность.

События 1917 года полностью перевернули это относительно спокойное течение жизни. Этот год принес мусульманским народам, как и всем народам России, целый букет надежд и разочарований.

7 марта 1917 года в Казани было проведено общее собрание мусульман, на котором был образован Мусульманский Комитет (потом — Мусульманский Совет — Мил-

ли Шуру). Председателем его стал Фуад Туктаров. Комитет опубликовал свою программу, где была указана необходимость обеспечения прав национальных меньшинств, необходимость федеративной формы государственного устройства России. По рабочему вопросу были приняты требования социал-демократов меньшевиков, по земельному — эсеров, предусматривалось создание отдельных воинских мусульманских частей для обеспечения интересов нации; в качестве текущих задач были названы: повсеместная организация мусульманских комитетов, скорейшее окончание войны, созыв Учредительного собрания, созыв в Москве Всероссийского мусульманского съезда.

Параллельно с руководством Мусульманским Комитетом Туктаров вскоре стал председателем мусульманской фракции Казанской городской управы, а со 2 июля 1917 года — основателем и редактором газеты «Курултай» — органа Милли Шуру.

Фуад Туктаров был послан делегатом от Казани на I Всероссийский мусульманский съезд в мае 1917 года в Москву и на Мусульманский военный съезд в июле 1917 года в Казани. На I Всероссийском мусульманском съезде, созванном по инициативе фракции мусульман IV Думы, Туктаров был избран кандидатом в члены Всероссийского Мусульманского Совета (Милли Шуру), а после съезда — и председателем Петроградского Милли Шуру. А на I Мусульманском военном съезде в Казани его избирают председателем Президиума этого съезда.

На съезде в Москве разгорелись споры о форме государственного устройства России: мнения разделились — за национально-культурную автономию, за федеративное устройство, за унитарную парламентскую республику. Большинство представителей татар поддержало национально-культурную автономию на базе унитаризма, но за федерализм высказались ряд авторитетных лидеров национального движения, в том числе и Туктаров. Значительным большинством голосов было принято предложение о фе-

деративном устройстве России на основе территориальных автономий.

Фуад Туктаров полгода работал на посту председателя Милли Шура в Казани, трудные полгода — в период между Февральской и Октябрьской революциями. Ход революции, ее нараставший классовый характер беспокоили его, о чем Туктаров неоднократно писал в газете «Курултай». «Мы все больше и больше разъединяемся, — тревожился он в начале июля 1917 года, — ... некоторые из нас стали социал-демократами, некоторые записались в социалисты-революционеры. Одни стали националистами, другие вовсе не признают нации... Народ разъединился. Сил было мало, а теперь их вовсе не стало... Богачи, бедняки! Где вы? Все за один стол!». К октябрю 1917 года Милли Шура столкнулось с существенными трудностями, высказывались мысли о необходимости переноса центра тяжести работы из Казани в уезды. Туктаров попросил об отставке.

После Октябрьского переворота 28 октября 1917 года на состоявшемся в Казани I окружном мусульманском военном съезде была образована Временная революционная власть (комитет). В состав этого ВРК вошли И. Алкин (ВОШУРО), Ф. Туктаров (Казанское Милли Шура) и от социалистов — М. Вахитов, собрание избрало и временного командующего Казанским военным округом — Н. Ершова. Но это согласие, это равновесие сил большевиков с другими политическими силами не могло быть долгим...

На выборах в Учредительное Собрание в ноябре 1917 года кандидатура Ф. Туктарова выдвигалась по нескольким спискам и округам. Только в Казанской губернии он проходил по двум спискам, в Учредительное Собрание Туктаров был избран от Самарского избирательного округа по списку № 13 «Мусульманское Шура». 2 января 1918 года группу делегатов Учредительного Собрания торжественно проводила Казань. В Петроград они приехали еще до открытия Собрания. Фуад Туктаров сразу же начал

работу по организации мусульманской фракции в Учредительном Собрании. Об этом он хлопотал и во время первого и единственного заседания Собрания. Сразу после разгона Учредительного Собрания на совещании фракции Туктаров, А. Цаликов и Ш. Мухамедьяров встали на позиции защиты законно избранного Учредительного Собрания, на позицию борьбы против власти большевиков. Несколько месяцев 1918 года — сразу после разгона российского парламента — Туктаров вместе с Г. Исхаки прожили в деревне в своем Чистопольском уезде, и ушли буквально из-под ареста, предупреденные отцом одного из тех, кто должен был их арестовать.

Когда в июне 1918 года в Самаре был создан Комитет членов Учредительного Собрания (Комуч), Фуад Туктаров присоединился к нему. В июле 1918 года он редактировал в Самаре газету «Безнец фикер» («Наша мысль»). В ходе летних операций территория Учредительного Собрания быстро расширялась, к октябрю 1918 года она состояла из нескольких поволжских и уральских губерний. Более месяца (начало августа — середина сентября) под властью Комуча находилась Казань. Тогда-то, в конце лета — начале осени 1918 года, Фуад Туктаров и побывал последний раз в Казани. Но надежды на победу над большевиками, проекты создания национального парламента в Уфе, в правительстве которого Туктарову намечался пост министра юстиции, рухнули осенью, когда Народная Армия Комуча и чехословаки все дальше и дальше откатывались на Восток под натиском наступления Красной Армии.

В сентябре 1918 года Ф. Туктаров принял участие в Государственном Совещании в Уфе — последнем переходном этапе от эсеровской демократии к колчаковской диктатуре. Его подпись как члена Учредительного Собрания стоит на «Акте об образовании Всероссийской Верховной власти», наряду с подписями других мусульманских деятелей — Г. Терегулова, В. Таначева, Ф. Тухватуллина, М. Ахмерова, Г. Исхакова, И. Ахтямова и других. Но и эти

надежды на создание многопартийной демократической всероссийской власти, которая бы предоставила широкие права народам России, оказались несбыточными — их перечеркнул колчаковский переворот в ноябре 1918 года. Адмирал не склонен был поощрять разговоры о какой-либо автономии и правах народов. Кроме того, его режим не проявлял особого почтения и к Учредительному Собранию и его членам: в конце ноября в Екатеринбурге были арестованы и чуть не расстреляны председатель съезда членов Учредительного Собрания В. К. Вольский, его товарищ (заместитель) И. Алкин, секретарь съезда Н. В. Святицкий, член Учредительного Собрания В. М. Чернов и другие; 2 декабря в Уфе были арестованы и увезены в Омск члены Учредительного собрания В. Н. Филипповский, И. П. Нестеров, Н. В. Фомин, Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов, А. А. Аргунов, Е. М. Роговский, после попытки освобождения их 21 декабря в Омске некоторые члены Учредительного Собрания были расстреляны — Фомин, Барсов, Марковецкий. Некоторым членам Учредительного Собрания колчаковским правительством было разрешено выехать за границу.

Но Ф. Туктаров оставался в России еще около двух лет, до окончания гражданской войны: в декабре 1919 года он еще редактировал в Петропавловске газету «Маяк» — официальный орган Милли Шура.

В конце гражданской войны Туктаров эмигрировал через Маньчжурию в Японию, откуда вскоре переехал в Западную Европу. В Европе политическая жизнь татарской эмиграции кипела вовсю. Туктаров участвует в деятельности «Комитета независимости Идель-Урала», председателем которого был Исхаки, в деятельности журнала «Прометей» и одноименной группы. Вместе с Исхаки и Мемед-Эмином Расул-заде он редактирует берлинский татарский журнал «Азат Шарык» («Свободный Восток»).

В 1921 году Туктаров принял участие в работе Частного совещания членов Учредительного Собрания, открыв-

пегося 8 января в Париже. Из 59 членов Учредительного Собрания, оказавшихся в эмиграции, в совещании участвовало 33 (большинство — 22 человека — эсеры), трое из них представляли мусульманское население России: С. Н. Максудов, Г. Г. Исхаки, Ф. Ф. Туктаров. На этом совещании в ответ на заявление одного из лидеров кадетов, видного историка П. Н. Милюкова о необходимости на время отбросить всякие мечты об автономии, Туктаров, возражая ему, сказал от имени мусульманской фракции: «Что скажут, если я с такой резолюцией приду на Волгу, где большевиками объявлена самостоятельная Татарская Республика, и скажу своему народу приблизительно так: «Господа, бросьте эту большевистскую республику, я вам привез от совещания членов Учредительного Собрания резолюцию, по которой разрешается вам свободно говорить на татарском языке и работать 24 часа в сутки». Но прийти на Волгу ему более не пришлось.

В эмиграции Туктаров занимался не только политическими вопросами, но и вопросами просвещения: организовывал национальные школы, преподавал и сам. Опыт в этом деле у него — выпускника Казанской татарской учительской школы, — был; к тому же еще до революции он был известен как автор учебника татарского языка для начальной школы, написанного в соавторстве с Г. Гисметти (первая книга вышла в 1914 году, а вторая — уже в 1918-м).

Свою преподавательскую деятельность он продолжил и в Турции, куда перебрался из Европы. В Турции в середине 30-х годов Туктаров некоторое время работал и директором текстильной фабрики, принадлежавшей татарскому эмигранту Мустафину, и несколько раз ездил по коммерческим делам в Синьцзян (Китай). Он скончался в Анкаре 19 декабря 1938 года в возрасте 58 лет.

Живя в Турции, Фуад Туктаров пытался установить письменную связь с родными в СССР, но переписка быстро прекратилась, и даже этой тонкой ниточки оказалось

достаточно, чтобы инкриминировать его родственникам
связь с контрреволюционером.

Судьба его родни, оставшейся в России, сложилась трагично. Сестра Ильхамия Туктарова — бывшая активная участница национального движения (это она на I Всероссийском мусульманском съезде в Москве выступала при обсуждении вопроса о правах женщин и информировала съезд о решениях Женского мусульманского съезда, состоявшегося в апреле 1917 года в Казани), — в 1937 году была осуждена на 10 лет лишения свободы, так же как и двоюродная сестра Туктаровых — Хадича Таначева (вдова Хусаина Ямашева; в девичестве — Хадича Бадамшина). Муж Ильхамии — преподаватель медицинского института, литовский татарин Якуб Сулейманович Богданович, бывший в 1918 году членом крымского «Милли Фирка», был расстрелян в годы большого террора.

Сегодня в Казани живет племянник Фуада Туктарова — Узбек Якубович Богданович, крупный ученый-медик, бывший в свое время директором Казанского филиала Всесоюзного НИИ травматологии и ортопедии.

КАЗАНЦЫ С «ФИЛОСОФСКИХ» ПАРОХОДОВ

Серым сентябрьским утром 1922 года от Невской пристани Петрограда отошел немецкий пароход «Обербургомистр Хаген». Первый пароход из тех, что впоследствии назовут «философским»: на его борту покидала страну первая «партия» высланных философов, историков, экономистов, журналистов — научная и культурная элита России.

После окончания гражданской войны новая власть успешно расправилась с остатками политической оппозиции: состоялись громкие процессы над эсерами, меньшевиками. Вскоре настал черед старой интеллигенции. Но первый опыт тут не годился: суд над учеными с мировым именем

мог повлечь за собой большой скандал. Вот тогда-то и родилась «блестящая» мысль о высылке инакомыслящей и, стало быть, антисоветски настроенной, «реакционной» интеллигенции¹.

Еще в марте 1922 года в статье «О значении воинствующего материализма», критикуя взгляды П. А. Сорокина, В. И. Ленин сетовал: «Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно бы вежливоенько препроводил в страны буржуазной «демократии». Там подобным крепостникам самое настоящее место», и тут же пообещал: «Научатся, была бы охота учиться».

15 мая, явно имея в виду предстоящие мероприятия по выдворению интеллигенции, Ленин при просмотре проекта вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР к пункту, предоставляющему ревтрибуналам право применения высшей меры наказания — расстрела, предусмотрительно предлагает добавить «право замены расстрела высылкой за границу, по решению Президиума ВЦИК (на срок или бессрочно)». Шла работа и по подбору «кандидатур» для высылки. В марте, переправляя через управделами Совнаркома Н. П. Горбунова сборник статей философов Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка «Освальд Шпенглер и Закат Европы» — заместителю председателя ВЧК И. С. Уншлихту, Ленин заметил: «По-моему, это похоже на «литературное прикрытие белогвардейской организации». Это ленинское замечание не осталось без внимания: все авторы сборника были высланы, кроме Я. М. Букшпана, известного экономиста, философа, который погиб уже в мясорубке «большого террора» 30-х годов. Кстати, судьба Я. М. Букшпана долгие годы была связана с Казанью, известнейшими татарскими фамилиями

¹ При написании данного очерка автор использовал материалы ЦГА ИГ, РЦХИДНИ.

Алкиных, Ахмеровых и другими: по дороге из Германии в 1914 году, где он находился по научным делам и откуда был выслан в связи с войной, как и многие российские подданные, Яков Маркович познакомился с Сарой Шагбазгиреевной Ахмеровой (дочерью Хадичи Алкиной и двоюродной сестрой Ильяса Алкина) — выпускницей Петербургских Высших женских курсов. Сара Ахмерова стала его женой и матерью его четверых детей, причем свадьба — никах — была проведена по мусульманскому обряду в Казани, для чего атеист Букшпан специально принял мусульманство. 19 мая Ленин секретно писал Ф. Э. Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки. Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве. Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг... Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ». Эта «почетная» миссия будет возложена на Якова Агранова — фигуру в нашей истории зловещую и одиозную.

В «проскрипционных» списках на российскую интеллигенцию, составлявшихся несколько месяцев, оказалось и несколько имен казанских профессоров — И. А. Стратонов, А. А. Овчинников, Г. Я. Трошин, чьи судьбы были в чем-то схожи и даже типичны для ученых «из народа».

А. А. Овчинников. Александр Александрович Овчинников родился в 1874 году в селе Заозерницком Слободского уезда Вятской губернии в семье сельского священника, всю жизнь служившего своему делу и обучавшего грамоте приходских детей, преподававшего в народном училище. Священническое призвание было в семье Овчинниковых на-

следственным: священником был отец Александра, священником был и его дед Петр. Эта дорога была уготована и Александру: он окончил Вятское духовное училище и обучался в Вятской духовной семинарии, но в восемнадцать лет юноша сделал выбор в пользу светской карьеры и покинул стены семинарии, чтобы год спустя, в 1893 году, успешно сдал экстерном все экзамены в Вятской гимназии, подать прошение ректору Казанского университета о зачислении его на юридический факультет.

Учился Овчинников весьма старательно, на четвертом курсе даже был удостоен серебряной медали совета университета за сочинение по полицейскому праву — «Народная школа в России», которая была вручена ему на торжественном собрании университета 5 ноября 1896 года, вкуче с 50-ю рублями — они тоже были весьма нелишними: у многодетной семьи не было возможности помогать сыну, все годы учебы по свидетельству о бедности талантливый студент пользовался стипендией имени М. Н. Ахматова.

Успешно закончив в 1897 году университет, Овчинников был оставлен для приготовления к профессорскому званию при кафедре политической экономии и статистики. Первый год его «аспирантства» был очень тяжел: он совпал с годом тяжелой болезни и смерти его первого научного руководителя — профессора Георгия Карловича Штера, близкого Овчинникову человека, с которым он работал более трех лет, и который всегда его поддерживал, в том числе и материально: Овчинников первоначально не имел стипендии, и Штер дал ему возможность подработать домашним учителем в своем доме. Эстафету научного руководства у Штера принял профессор П. А. Никольский. Выдержав магистерские испытания и прочитав весной 1900 года две положенные пробные лекции, в мае 1900-го Овчинников был утвержден в звании приват-доцента. Но только 12 лет спустя — в мае 1912 года — он защитит магистерскую диссертацию «К учению о соединении тру-

да», будучи уже автором многочисленных работ по статистике, в том числе наиболее известных — «Элементарного курса статистики» (учебник) и фундаментального обследования «Смолокурение в Царевококшайском, Чебоксарском и Козмодемьянском уездах Казанской губернии», написанных в качестве заведующего Статистического отделения Казанской губернской земской управы — в этой должности Овчинников состоял с февраля 1903 года. Причины для столь долгой отсрочки были весомы: только став на ноги — получив звание приват-доцента, Овчинников в августе 1900 года венчался в Вятской градской Халкидоновской церкви с дочерью покойного протоиерея, инспектора Вятской духовной семинарии (его бывшей «альма матер») — Софьей Павловной Кибардиной. Вероятно, ее семья была давно хорошо знакома Овчинникову, и в резонах на брак присутствовал и элемент традиционной корпоративности; Овчинников свято соблюдал те религиозные традиции, в которых воспитывался, был активным членом прихода. Год спустя у Овчинниковых родилась дочь Вера.

Александр Александрович работал много. С 1900 года почти четверть века он один «тянул» в университете основную курс статистики, в отдельные годы читал и курс политэкономии студентам историко-филологического факультета и на Высших женских курсах. Он изучал статистику и постановку ее преподавания и за рубежом: в 1905—1906 годах совершил длительные научные поездки в университеты Дрездена, Праги, Бреславля, Мюнхена, а в 1908—1909 годах — в Гейдельберг.

Но Александр Александрович никогда не был только кабинетным ученым, был очень мобилен, активен. Он возглавлял Статистическое отделение Казанской губернской земской управы, участвовал в марте 1902 года в кустарной выставке и съезде деятелей по кустарной промышленности в Петербурге, а летом 1911 года — в областной Западно-Сибирской выставке в Омске; позже — уже при Советской власти, — в 1919—1920 годах представлял университет в

Губернском Совете по делам статистики, по поручению Губстатбюро выезжал в Тетюшский и Свияжский уезды.

Овчинникова хорошо знали и уважали в университете. И не только за его научные заслуги и активную преподавательскую работу (уже через год после защиты магистерской университет через Министерство народного просвещения добывается для него должности «исправляющего должность экстраординарного профессора», а уже через два года — ординарного профессора): организаторские способности Овчинникова были оценены коллегами по достоинству. На два срока — на 1913—1916 годы и на 1916—1919 годы он избирался проректором университета, правда, в апреле 1917 года Овчинников попросил об отставке: он писал, что не может по состоянию здоровья сочетать проректорскую работу с усиленными занятиями по своему предмету.

Когда в начале 1919 года в Казанском университете был закрыт юридический факультет, А. А. Овчинников преподавал на вновь открывшемся в апреле 1919 года факультете общественных наук (ФОНе), на котором временно — до закрытия соответствующих отделений весной 1921 года, — нашли приют юридические, исторические и филологические науки.

В начале февраля 1921 года в университете встал вопрос о выборах нового ректора: ректор Е. А. Болотов в январе отказался от своего поста по состоянию здоровья. На выборах, состоявшихся на заседании совета университета 5 февраля, большинством голосов (119 против 19) прошла кандидатура А. А. Овчинникова, но на этой фигуре столкнулись точки зрения академического мира университета и чиновных «просвещенцев»: Наркомат просвещения Татарской республики не мог приветствовать избрание человека, по выражению М. К. Корбута, «определенно антисоветского направления, ... совмещавшего... преподавание статистики с исполнением обязанностей псаломщика в клинической церкви». 18 февраля 1921 года Наркомат

просвещения ТССР официально уведомил Совет университета, что «с избранием на должность ректора профессора А. А. Овчинникова он согласиться не может и возбуждает перед Наркомпросом РСФСР вопрос о неутверждении профессора А. А. Овчинникова в должности ректора». Но несмотря на это совет не подчинился давлению и на своем заседании 26 марта спокойно «принял к сведению» это уведомление. Как раз в это время (в феврале) происходила передача дел вузов из ведения Отдела В.У.З. Наркомпроса в ведение Отдела В.У.З. Главного комитета профессионально-технического образования (Главпрофобр). Дело с жалобой Наркомпроса Татарии затянулось.

В июне 1921 года новоиспеченный ректор отправился в Москву на конференцию по вызову Наркомпроса РСФСР: там должен был обсуждаться проект реформы вузов. Но местный Наркомпрос не угомонился: решено было применить «инициативу снизу» — 14 декабря 1921 года на общестуденческом (!) собрании университета ректором был избран Н. Н. Парфентьев. 9 февраля 1922 года его кандидатуру утвердил Главпрофобр, Овчинникову велено было сдать дела (видимо, в Главпрофобре учили и активное участие Овчинникова в забастовке казанской профессуры в начале 1922 года). Но 10 марта Парфентьев отказался от ректорства. И почти до самого профессорского погрома 1922 года Овчинников оставался ректором университета — в конце июня он еще участвует в ректорском совещании в Москве, а 4 августа спокойно уходит в отпуск с разрешения того же Главпрофобра...

Г. Я. Трошин. Второй наш герой — профессор-психиатр Григорий Яковлевич Трошин — тоже не был аристократом по рождению: он родился в 1874 году в с. Мушаке Елабужского уезда Вятской губернии в семье сарапульского помещанина Якова Акакиевича Трошина. Окончив Сарапульское духовное училище, а также отучившись три года в

Вятской духовной семинарии, Трошин в 20 лет круто меняет свою жизнь, решив, как и его будущий «коллега» по высылке Овчинников, посвятить себя юриспруденции (оба они, сменив священническое поприще на светское, первоначально избрали юридический факультет). В 1895 году Трошин выдерживает экзамены зрелости при Казанской 3-й гимназии, а летом того же года зачисляется на первый курс юридического факультета.

Но вскоре его юношеский интерес к человеческой душе пробудился в новом качестве — как интерес к человеческой психологии и психике. Трошин переводится на медицинский факультет. Еще студентом в 1899 году он публикует свою научную статью в «Трудах» клиники нервных болезней Казанского университета, позже будут и другие работы, вышедшие в этой серии.

Уже через три года после окончания медфака университета — в 1903 году Трошин защищает докторскую диссертацию «О сочетательных системах полушарий», причем защищает ее в Петербурге, в Военно-медицинской академии, а диссертация его была опубликована в «Трудах» Анатомической лаборатории академика В. М. Бехтерева. (Бехтеревская питерская «школа» психологии и психиатрии была очень тесно связана с казанской. Ведь казанская школа была основана Бехтеревым. Он с 1885 по 1893 год заведовал кафедрой психиатрии Казанского университета, им был основан здесь журнал «Неврологический вестник» и Казанское общество невропатологов и психиатров, а ученик Бехтерева по Петербургской Военно-медицинской академии — будущий академик В. П. Осипов (кстати, учитель Трошина) восемь лет заведовал в Казанском университете кафедрой психиатрии — в 1906—1914 годах, позже в Петербурге он возглавит кафедру психиатрии в Военно-медицинской академии, а потом — и Государственный институт мозга им. В. М. Бехтерева).

После защиты диссертации доктор Трошин обосновался в Петербурге. Здесь у него была обширная практика,

он возглавлял собственную «Частную психиатрическую школу-лечебницу для отсталых и ненормальных детей» на Первой линии Васильевского острова. Опыт практики в Петербурге лег в основу самого крупного, капитального — тысячестраничного — двухтомного труда Трошина «Антропологические основы воспитания. Сравнительная психология нормальных и ненормальных детей».

В 1919 году Трошин переезжает в Казань: в сентябре медицинский факультет Казанского университета пригласил его — тогда профессора Петроградского педагогического института, — для временного преподавания по вакантной кафедре психиатрии, но уже 27 мая 1920 года Трошин был избран профессором по кафедре психиатрии с клиникой. Три учебных года он читал студентам Казанского университета курсы психиатрии, клиники душевных болезней, нормальной и патологической психологии, детской психопатологии и организации вспомогательных школ (научный конек Трошина); читал лекции он и на дошкольном отделении Витнароба (так тогда назывался пединститут).

Но главное: именно при Трошине в Казани начала функционировать в полную силу многострадальная психиатрическая клиника университета. О построении ее ходатайствовал еще в 1890 году В. М. Бехтерев, потом — в 1910 году В. П. Осипов. Вчерне клиника была построена к осени 1911 года, оборудование ее предполагалось закончить к 1914 году. Но началась первая мировая война, в клинике разместили раненых, и только в 1917 году заговорили об открытии ее в первоначальном качестве. По представлению тогдашнего заведующего кафедрой психиатрии профессора Н. А. Вырубова для исполнения обязанностей ординатора психиатрической клиники была приглашена врач Мария Алексеевна Гордина, которая много сделала для клиники и ее открытия еще до приезда Трошина. М. А. Дубровина-Гордина была уроженкой Казани (р. 1873 г.), после окончания Казанской Мариинской гим-

назии работавшей учительницей. Окончив Петербургский женский медицинский институт в 1906 году, Мария Алексеевна работала в Казанской клинике нервных болезней, а после этого участвовала в организации Костромской психиатрической колонии, где трудилась с 1908 по 1917 год. К моменту возвращения в Казань Мария Алексеевна была автором ряда научных трудов, провела в общей сложности около полугода в Мюнхене, изучая опыт работы знаменитых психиатрических клиник.

Гордина и возглавивший в 1920 году клинику Трошин (возможно, знакомы они были еще по Петербургу, где жили примерно в одно и то же время и вращались в кругах столичных врачей-психиатров), стали не только коллегами — по университетской клинике (с ноября 1921 года Гордина становится там ассистентом-преподавателем) и по университету, а также по Витнаробу, где Гордина тоже работала в качестве ассистента профессора Трошина, — не только единомышленниками, но и супругами. Мария Алексеевна много помогала Трошину в поистине титаническом труде по организации клиники. Трошин дневал и ночевал в клинике буквально: он жил при клинике по примеру многих врачей того времени — времени коммуналок и «уплотнений». Трошину и Гординой пришлось заниматься не только медицинскими проблемами; приходилось везти огромный груз административных, хозяйственных, финансовых забот. Весной 1921 года Григорий Яковлеви бился с военным ведомством за возврат университету здания клиники и участка земли, в середине апреля борьба увенчалась успехом, началась организация ремонта, составление смет, заботы о перевозке топлива, больных — ведь клиника была вынуждена принимать пациентов параллельно с оснащением и ремонтом! Летом 1921 года Трошин вместе с Гординой перевозили из Петрограда в Казань материалы и приборы для клиники, медицинские книги, пожертвованные вдовой врача Крюленицкого Казанскому университету.

Эти три года в жизни Трошина были трудными, но насыщенными. Труднейшую работу по организации клиники (а не забудем, шла гражданская война, и достать медицинские приборы, книги, препараты, материалы в разоренной стране, да еще и перевезти их стоило адских трудов) он сочетал с активной врачебной практикой, с преподавательской деятельностью в двух казанских вузах. К тому же в начале февраля 1922 года Григорий Яковлевич был избран деканом медицинского факультета. Это избрание, а вернее — та позиция, которую занял на этом посту добросовестный и энергичный профессор, и которой придерживался, сыграют немалую роль в дальнейшей судьбе его самого, его жены, его клиники...

И. А. Стратонов. Судьба третьего казанца — пассажира «философского парохода» — Иринарха Аркадьевича Стратонова, — была обычной судьбой провинциального русского интеллигента. Сын небогатого казанского чиновника, родившийся в 1881 году, он рано остался без отца. В 1901 году окончил курс в Первой Казанской гимназии и был принят на историко-филологический факультет Казанского университета. Стратонов рано заявил о себе как исследователь: его курсовое студенческое сочинение «Заметки по истории Московских Земских Соборов» по постановлению факультета печаталось в 1906 году в «Ученых записках» университета, а потом вышло и отдельной брошюрой. После получения диплома летом 1906 года Стратонов был оставлен при Казанском университете для «приготовления к профессорскому званию» по русской истории, причем ходатайствовали за него такие известные не только в Казани историки, как профессора Д. А. Корсаков (его научный руководитель) и Н. Н. Фирсов и приват-доцент М. М. Хвостов.

Годы «аспирантства» были очень трудными, порой омрачаемыми конфликтом с руководителем Стратонова Корсаковым, выразившим недовольство ходом работы Стра-

тонова, слишком, по мнению Корсакова, углубленного в свою узкую тему. Кроме того, Стратонов — человек увлеченный, непростого характера, — должен был думать и о хлебе насущном: 26 апреля 1904 года, еще будучи студентом, он женился на Вере Дмитриевне Журиной, дочери тетюшского купца второй гильдии, и к 1910 году имел двоих маленьких детей — четырехлетнюю дочь Лидию и двухлетнего сына Валентина. Он должен был содержать семью. В 1906 году в Казани после долгого перерыва были вновь открыты Высшие женские курсы. И Стратонов, не прекращая подготовки к профессорскому званию, принял приглашение преподавать на курсах русскую историю. Он работал на курсах тринадцать лет, вплоть до их закрытия в 1919 году, входил в Совет и руководство курсов. Весной 1914 года магистр русской истории Стратонов был принят в число приват-доцентов Казанского университета.

Начавшаяся первая мировая война вторглась в жизнь ученого весьма необычно: она вынудила его поменять тему научных изысканий. Дело в том, что с 1 июля 1915 года Стратонов должен был отправиться в длительную двухгодичную научную командировку в столичные архивы Москвы и Петрограда. Но для работы в Государственном архиве в Петрограде, куда Стратонов стремился в поисках материалов для изучения земского самоуправления времен Екатерины II и ее законодательных актов и проектов по этому вопросу, требовалось «высочайшее соизволение» императора, получение которого было отложено из-за событий военного времени. Стратонов решил сосредоточить свои научные интересы на «Русской правде», но позже высочайшее соизволение было получено, и у ученого оказались две темы для исследования.

Два года, полных военных тревог, революционных бурь и потрясений — с июля 1916 по июль 1918 года Стратонов провел в бурлящих российских столицах... над бумагами в тиши архивных хранилищ. Разумеется, архивные документы были не единственными его собеседниками в годы

научной командировки. В столицах Стратонов, как и два других командированных его знакомых по Казани — историк Н. П. Грацианский и филолог А. М. Селищев (близкий друг Стратонова), вращаясь в среде писателей, философов, историков, журналистов, дышали воздухом, густо насыщенным мыслью, идеями, вольнолюбивыми проектами. Эти два года не только расширили круг знакомств Иринарха Стратонова и пополнили его научный багаж, они совершили то, чего не мог добиться от Стратонова его вспыльчивый учитель — профессор Корсаков — они пробудили интерес к «общим вопросам» российской истории, привели к формированию общественной позиции, которая и повлияла в дальнейшем на его судьбу.

9 декабря 1917 года Стратонов был избран советом Казанского университета доцентом по кафедре русской истории. А декретом Совнаркома от 9 октября 1918 года был переведен в состав профессоров. Предложением Главного Управления архивным делом в начале 1919 года он был назначен уполномоченным в деле охраны и разборки архивов Казанской губернии.

В 1918—1922 годах Стратонов читал множество курсов и вел занятия по истории со студентами историко-филологического факультета (позже — со студентами ФОНа) — это были курсы по истории образования сословий в России, об организации управления и самоуправлении крестьян казенного ведомства в XVIII веке, по истории русского летописания и истории местного края и другие.

В январе 1919 года на факультете были произведены выборы декана факультета на срок до окончания выборного производства по всероссийскому конкурсу по кафедрам, освободившимся с 1 января 1919 года согласно Декрету Совнаркома от 28 декабря 1918 года. Стратонов был избран деканом историко-филологического факультета. Правда, он оставался деканом чуть больше месяца: 20 февраля 1919 года на выборах декана Стратонов категорически отказался баллотироваться на эту должность, и

деканом был избран вновь профессор С. П. Шестаков, бывший деканом до Декрета 28 декабря. В августе 1920 года факультет избрал Стратонова заместителем декана.

Это были годы основательной встряски и ломки всей системы гуманитарного образования, когда множились бездумные эксперименты и перемены в этой сфере. 3 января 1919 года в Казани по предложению Наркомпроса был закрыт юридический факультет, а студенты его причислены к историко-филологическому факультету, при котором было создано временное отделение общественных наук. 10 октября 1919 года на заседании Коллегии Отдела Высших Учебных заведений Наркомпроса было решено закрыть в Казанском университете историко-филологический факультет, факультет общественных наук, физико-математический факультет, закрыть в Казани Высшие Историко-филологические (бывшие Женские) курсы, Северо-Восточный Археологический институт. Ученая корпорация университета выступила против этого решения, посылала в Москву своих и студенческих представителей. Историко-филологический и физико-математический факультеты на первых порах удалось отстоять. Однако уже весной 1921 года появляется постановление Совнаркома, подписанное председателем Совнаркома В. И. Лениным и управляющим делами Совнаркома Н. П. Горбуновым, «О плане организации факультетов общественных наук Российских университетов», в котором говорилось: «... историко-филологические факультеты, а также исторические и филологические отделения факультетов общественных наук при российских университетах с 1 июня с.г. упраздняются».

Но Стратонов не остался без работы: уже 12 августа 1921 года социально-экономический отдел Главпрофобра утвердил его профессором факультета общественных наук.

Профессор Стратонов продолжает в эти годы свою научную деятельность. Участвует в Первом научном съезде в Самаре в сентябре 1920 года. Публикует, а также готовит рукописи многих научных трудов—о «Русской

правде», русских летописях, проектах жалованных грамот крестьянам Екатерины II, и многие другие. Работает в архивах Москвы, Петрограда, Ярославля, Екатеринославля. Начало 20-х годов у Стратонова были богаты на командировки, и не только научные: в эти годы он часто выступает как представитель и ходатай по делам Казанского университета в центре. Так, 28 марта 1922 года Стратонов, находившийся в Москве, был уполномочен Общим собранием профессоров и преподавателей Казанского университета представлять интересы университета на Объединенном Советании представителей высших учебных заведений по обсуждению вопросов, связанных с жизнью высшей школы.

Почему же имена трех казанских профессоров — 41-летнего Стратонова, 48-летних Овчинникова и Трошина, не занимавшихся впрямую политикой, не участвовавших ни в каких заговорах и восстаниях, оказались в «проскрипционных» списках 1922 года на высылку?

* * *

Личность каждого из них — авторитетных ученых, к точкам зрения которых прислушивались в городе, людей умных и смелых, далеких от слепого послушания новой власти и ее подчас безграмотным чиновникам, людей равнодушных, не боявшихся открыто высказывать свое мнение — конечно, раздражала местные и центральные власти. Существовало немало конкретных поступков каждого из этих потенциальных пассажиров «философского парохода», которые могли служить поводом для зачисления в кандидаты на высылку.

В начале 20-х годов по всей стране возникает масса взаимодействующих меж собой философских обществ — Вольная Философская Ассоциация (Вольфила) в Москве и Петрограде, Психологическое общество в Москве, Философское общество в Петрограде, философские общества в

провинции — Костроме, Саратове и других городах. Деятельность лидеров этих обществ привлекала самое пристальное внимание охотников за кандидатами на высылку: философские вопросы бытия в такие тревожные годы неотвратимо приводили к размышлениям над вопросами политическими, что вызывало беспокойство у новой власти. В мае 1920 года Общество Социологии и Философии возникает и при Казанском университете. Активным членом его инициативной группы был Иринарх Стратонов.

В 1919 году уполномоченный по делам архивов Казанской губернии Стратонов (и между прочим активный прихожанин одного из приходов Казани) деятельно участвовал в борьбе за сохранение церковных сокровищ Кафедрального собора в Казани, на которые претендовала местная ЧК (вследствие чего нажил себе врагов в ЧК — потом в Татотделе ГПУ).

Профессор Трошин, острый на язык, не боялся вслух — иногда на лекциях по психиатрии, — высказывать «крамольные мысли» о том, что «советская власть зиждется на апатии масс», что в Советской России душевным заболеваниям способствуют социальные условия. 11 июня 1922 года умер профессор Казанского университета, известный офтальмолог А. Г. Агабабов; на его могиле Трошин, по некоторым свидетельствам, сказал: «Мы клянемся оберегать твою могилу от посягательства граждан социалистической республики, чтобы они не сняли с тебя последний сюртук».

Но в этом списке «грехов» были и события, объединившие всех трех профессоров и ставшие самым веским аргументом для высылки Стратонова, Трошина и Овчинникова, на которой настаивал в докладной записке В. Р. Менжинскому начальник Татотдела ГПУ И. Шварц.

... В январе 1922 года забастовала московская профессура, доведенная до отчаянья тем положением, до которого была низведена старая высшая школа за несколько лет существования Советской власти. Январскую забастов-

ку 1922 года газета «Правда» в своем 41-м номере связала с «директивой» П. Н. Милюкова (он напечатал в «Последних новостях» в Париже статью «Разгром высшей школы», где рекомендовал профессуре не ограничиваться пассивными протестами, а действовать).

Казанская профессура поддержала почин московских коллег: было решено не начинать занятий после каникул. На заседании совета Казанского университета 24 января в докладе ректора Овчинникова было обрисовано бедственное положение университета и профессуры: задолженность университета по выдаче жалованья на 1 января составляла 3 миллиарда рублей; «служащие в университете профессора и другие лица, — заявил Овчинников, — голодают, истощаются от недостатка питания и разных тифов». На этом заседании была образована комиссия Совета («Советская комиссия»), которой поручили «изыскать и указать конкретные меры к поддержанию дальнейшего существования университета». В комиссию вошли: ректор А. А. Овчинников, деканы и профессора И. А. Стратонов, Г. Я. Трошин, К. В. Войт, А. Я. Богородский, Б. П. Кротов. Доклад комиссии, зачитанный ректором совету на заседании 31 января, был поистине смелым. В нем, в частности, предлагались мероприятия, которые должны были сохранить научные кадры высшей школы: предлагалось, например, при острой необходимости сокращения штатов закрывать те вузы, что были открыты с 1918 года (то есть в основном советские); тем преподавателям, кто оставался за штатом, предоставить право выезда за границу и переезда внутри России с их библиотеками и инструментарием; ввести плату за слушание лекций, занятия в клиниках, кабинетах, лабораториях; предоставить университету лесные угодья, земли в аренду; обратиться за помощью в Американскую Администрацию Помощи (АРА). Причем, не ограничиваясь только предложениями, некоторые члены комиссии пытались воплотить их в жизнь. Так, 17 февраля 1922 года медицинский факультет

университета во главе с профессором Трошиным принимает решение отозвать своих профессоров из Казанского клинического института им. В. И. Ленина (сегодняшний ГИДУВ)—речь шла о таких медицинских светилах, как В. С. Груздев, В. Л. Боголюбов, А. Ф. Фаворский, А. В. Вишневский, А. Г. Агабабов, В. Е. Адамюк, Т. И. Юдин и другие. «Медицинский факультет,—говорилось в резолюции,—...находится на краю гибели: здания его дряхлеют, теоретические кафедры пустеют, клиники суживаются, а живая его сила, младшие и старшие преподаватели, не получая жалованья, едва влачат существование... Клинический институт, взявший на себя задачу усовершенствования сформированных врачей... за два года из кантонов не имел ни одного слушателя кроме собственных ординаторов, ... содержит громадный персонал, и непроизводительно тратит массу средств...». Выполняя решение факультета, многие профессора покинули Клинический институт, не убоившись ни постановления Совнаркома Татарской Республики от 21 февраля, потребовавшего от ректора университета призвать медфак к порядку, ни организованной 28 февраля в Актовом зале университета студенческой сходки, принявшей такую резолюцию: «... Считать (!—С.М.) Клинический институт им. Ленина учреждением высококультурного значения в смысле лечебном и научно-учебном...». Только в июне 1922 года после вмешательства Наркоматов здравоохранения и просвещения РСФСР конфликт между медфаком университета и институтом был урегулирован.

Именно личности руководителей казанской забастовки и комиссии совета университета — ректора А. А. Овчинникова и деканов Стратонова и Трошина,—и привлекли внимание казанских «охотников» за кандидатами на высылку.

«Общественное мнение» готовили к карательным мерам против взбунтовавшейся профессуры заблаговременно: вслед за «антипрофессорскими» публикациями против

московской профессуры, опубликованными 17 и 21 февраля и 18 июня 1922 года в газете «Правда» под псевдонимами «Я. Я.» и «Недоумевающий наблюдатель», та же «Правда» напечатала соответственно 7 марта и 20 июля «обличающие» статьи М. К. Корбута «Директива Милюкова и казанская профессура» и Карнеева «Портрет казанской профессуры». В кампании обличения участвовала и местная пресса. Например, в июле в восьмом номере ежемесячника областкома РКП(б) Татреспублики «Коммунистический путь» некий «Студент-медик» опубликовал статью «Последние «могикане», в которой с претензией на остроумие обливались грязью профессора-медики Казанского университета; в частности, горькая речь профессора Трошина на могиле Агабабова квалифицировалась как «контрреволюционное выступление или — крик, дикий крик ненормального, озлобленного до крайней степени, больного человека, место которому или в клинике, которой он сам заведует, или в другом месте». Но времена психиатрических репрессий тогда еще не пришли. Профессору ожидало «другое место».

...Первым взяли Стратонова в ночь с 1 на 2 августа 1922 года (до этого в апреле ненадолго арестовывался Трошин, вероятно, в связи с упоминавшимся уже конфликтом с Клиническим институтом). На следующий день 3 августа ректор университета Овчинников обращается в ГПУ Татреспублики с просьбой о «скорейшем рассмотрении дела Стратонова и освобождении его из-под ареста» ввиду того, что «профессор Стратонов командирован факультетом в Москву для приобретения иностранной литературы и по другим университетским делам, выяснение которых срочно требуется до окончания летних каникул и наступления учебного года». Аргументация, конечно, до смешного наивна, но в ней был свой смысл: она демонстрировала, с одной стороны, насколько необходим Стратонов для решения насущных университетских дел, а с другой стороны как бы квалифицировала факт ареста

Стратонова как досадное недоразумение и исподволь предлагала такую же трактовку руководству ГПУ республики. Однако руководство его — в лице Начвсетатотдела ГПУ Шварца, — это прекрасно поняло и наложило грозную — с долей иронии — резолюцию-отповедь: «...рекомендуется Вам командировать кого-нибудь другого ввиду того, что обвинение предъявлено довольно серьезное и рассчитывать на скорое освобождение не приходится».

В ночь с 16 на 17 августа в Москве и Петрограде, а с 17 на 18 августа — на Украине прошли аресты интеллигенции по заранее составленным и утвержденным на заседаниях комиссии Политбюро ЦК РКП(б) в начале августа спискам (так, 9 августа на заседании Комиссии Политбюро в составе Уншлихта, Каменева, Курского, Манцева, Решетова были утверждены списки «антисоветской интеллигенции», подлежащей высылке с Украины). Списки составлялись и позднее — в сентябре. В этих списках были ректоры Московского и Петроградского университетов М. М. Новиков и Л. П. Карсавин, проректоры Петроградского университета А. А. Боголепов и Б. Н. Одинцов, директор Томского технологического университета Е. Л. Зубашев, группа математиков во главе с деканом математического факультета Московского университета В. В. Стратоновым, историки А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский, В. А. Мякотин, С. П. Мельгунов, философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, Ф. А. Степун, Б. П. Вышеславцев, И. И. Лапшин, И. А. Ильин, А. С. Изгоев, П. А. Сорокин, активные деятели Помгола — Е. Кускова, М. Осоргин, профессора Велихов, Ясинский, Угримов, В. Ф. Булгаков, С. Н. Прокопович, редакция журнала «Экономист» — Д. А. Лутохин, Б. Д. Бруцкус, Л. М. Пумпянский, А. С. Каган, деятели и руководители кооперативного движения А. Изюмов, В. Кудрявцев, А. Булатов и многие-многие другие ученые, журналисты, писатели, экономисты из Москвы, Петрограда, Казани, Одессы, Киева, Харькова, Нижнего Новгорода,

Ялты... С интеллигенцией особенно не церемонились: в Петрограде, например, продержав заключенных восемь дней в грязном сарае чрезвычайки на Гороховой улице, их под конвоем (!) провели через весь город в «Дом предварительного заключения» на Шпалерной улице.

В эту ночь с 16 на 17 августа в Казани Татполитотдел ГПУ арестовал Г. Я. Трошина. В тот же день, 17 августа, правление Казанского университета просит ГПУ Татреспублики принять делегацию правления для собеседования по их делу и отпустить Трошина и Стратонова на поруки членов правления. Особенно беспокоил ученых арест Трошина. И не только потому, что, как было заявлено на собрании коллегии врачей Психиатрической клиники университета 26 августа 1922 года, они испытывали «страх за будущее клиники в отсутствие такого ее руководителя, каким являлся профессор Г. Я. Трошин», ведь «клиника сумела просуществовать с открытия ее до настоящего времени лишь благодаря настойчивости, энергии и громадному как административному, так и хозяйственному опыту директора ее, профессора Г. Я. Трошина», не только из-за невозможности найти преемника для чтения оригинального курса психиатрии. Ученых беспокоило состояние здоровья профессора Трошина. 48-летний профессор, отдавший всю жизнь психиатрии и проблемам детской дефективности (по признанию коллег, его труды в этой области, известные и в России, и в Западной Европе, «создают новую эпоху»), по свидетельству авторитетной врачебной комиссии, осмотревшей Трошина 9 сентября в здании больницы пересыльной тюрьмы, страдал «артериосклерозом, хроническим миокардитом с расстройством компенсации сердечной деятельности..., аневризмой дуги аорты, сопровождавшейся приступами грудой жабы и сердечной астмы. По характеру заболевания тюремный режим является крайне вредным для здоровья профессора Трошина, а дальние переезды грозят опасностью для жизни его». Ученые университета

изо всех сил старались спасти коллегу от тюрьмы и высылки.

Такие же усилия предпринимались и в отношении Стратонова (Овчинников арестован не был, но многократно допрашивался). В сентябре 1922 года ректор и управделами правления Казанского университета составляют «Сведения о прохождении службы профессора И. А. Стратонова, составленные на основании документов, имеющихся в Государственном Казанском университете». На копии этого документа, хранящейся в Госархиве РТ, указан адресат — «Москва. Николаю Александровичу Щербакову, ул. Грановского, Шереметьев переулок, д. 4, 1. Для передачи проф. А. М. Селищеву». Селищев — будущий филолог с именем, давний товарищ Стратонова, друг, его коллега по учебе и работе в университете и Высших курсах, к тому времени уже профессор Московского университета и действительный член НИИ языковедения и истории литературы, — вероятно, долгие был ходатайствовать за высылаемого Стратонова.

Такие ходатайства не всегда были напрасными. В Москве заседала комиссия под председательством Ф. Э. Держинского, рассматривавшая ходатайства учреждений об отмене высылки. Так, на заседании от 31 августа было решено отменить высылку в отношении 9 питерцев и 19 москвичей.

Однако казанские ходатайства не имели таких последствий. Единственное, что удалось казанским ученым — это оттянуть насколько возможно высылку большого профессора Трошина: сначала учреждением специальной комиссии для освидетельствования состояния здоровья Трошина (во главе с ректором университета М. Н. Чебоксаровым), потом коллективной просьбой от 17 октября 19 профессоров университета (М. Н. Чебоксаров, декан медфака В. К. Меньшиков, А. Е. Арбузов и другие), поддержанной правлением университета, — не увозить Трошина в Москву, оставить его на поруки до решения Центром вопроса о ходатайстве Казанского университета за Трошина. Но 28 октября Всетатотдел ГПУ высказался категорически про-

тив. Вслед увезенному в начале ноября 1922 год в Москву Трошину летели настойчивые просьбы ректора и правления Казанского университета в отдел вузов Главпрофобра — защитить Трошина, просить о его освобождении. В конце ноября ГПУ разрешило Трошину вернуться в Казань. Но ненадолго.

Трошин был выслан последним из казанцев — уже в декабре 1922 года. Вслед за ним в середине февраля 1923 года уехала и его жена М. А. Гордина, заведовавшая в эти тяжелые месяцы конца 1922 — начала 1923 года психиатрической клиникой университета в отсутствие Трошина. Худшие опасения, высказанные коллегией врачей клиники в августе 1922 года в отношении судьбы осиротевшей клиники, подтвердились: клиника доживала последние месяцы своего существования в прежнем качестве — в конце декабря 1922 года было принято решение о ее закрытии, к весне детище Трошина, созданное с таким трудом, было ликвидировано.

Такова история высылки только грех казанских ученых. По всей стране их, высланных, были сотни и сотни.

Их дальнейшая судьба сложилась так. Овчинников долгое время жил и работал в Берлине. Стратонов жил в Париже, опубликовал там ряд трудов. А в 1942 году был арестован гестапо и погиб в концентрационном лагере. Г. Трошин перебрался из Германии в Чехословакию, преподавал в Карловом университете, возглавлял Союз русских врачей Чехословакии. Умер он в Праге в 1937 году.

НАШ ЧЕЛОВЕК ИЗ ПАРИЖА: СУДЬБА С КАЗАНСКИМ ЭПИЛОГОМ

Биографии книг и книжных собраний, так же как и биографии людей, подчас полны удивительными, загадоч-

ными, невероятными поворотами судеб. Поистине необыкновенной можно назвать историю «Тургеневки» — «Русской общественной библиотеки имени И. С. Тургенева» в Париже. В 1959 году двойник этой знаменитейшей эмигрантской библиотеки вновь был создан в Париже. Судьба же самой «Тургеневки», основанной в 1875 году Германом Лопатиным при деятельном участии и материальном содействии И. С. Тургенева, П. Виардо, других дарителей и жертвователей и увезенной фашистами в конце 1940 года после оккупации Парижа в неизвестном направлении, долгое время оставалась загадкой.

Богатейшее собрание — около 100 тысяч томов, среди которых книги с автографами известнейших российских писателей, ученых, политиков; огромная коллекция периодики на русском и иностранных языках, личные архивы некоторых писателей, неизданные письма князя П. Кропоткина, письма знаменитой эсерки, «бабушки русской революции» Е. Брешко-Брешковской, и многое другое. Все эти пропавшие сокровища будоражили воображение историков, журналистов, библиофилов многие десятилетия. Каких только версий судьбы «Тургеневки» не предлагалось в послевоенные годы: спрятана в Баварии..., в Польше..., погибла в одном из берлинских депо в 1945 году и так далее. Волна слухов и догадок поднималась всякий раз, когда книги со штампом «Тургеневки», точно тени «ллетучего голландца», появлялись то тут, то там на прилавках букинистов в Германии, СССР, других стран Европы.

Только в конце 80-х — начале 90-х, когда историки с изумлением узнали о существовании в России огромного архива (шестого по величине в стране), куда не ступала нога ни одного из них — так называемого «Особого архива», где с 1945 года хранились трофейные архивы со всей Европы, — только тогда стала известна последняя страница военных мытарств «Тургеневки». В документах о трофейных библиотеках, взятых в порядке репараций книгами (!) и сверх репараций (более 26 немецких центральных биб-

лиотек), журналист Е. Кузьмин прочитал акт о приеме части книг «Тургеневки» Библиотекой имени В. И. Ленина от 21 мая 1947 года. «Тургеневка» была украдена два раза: первый раз фашистской Германией, второй раз победившим СССР...

В истории «Тургеневки» много знаменитых имен — Г. Лопатин, Л. Толстой, Ф. Достоевский, Г. Плеханов, Ф. Шалапин, В. Ленин, А. Луначарский и много других. Но есть в ее истории одно негромкое имя, которое надо бы помянуть добрым словом.

* * *

В 1970 году казанский историк-краевед В. В. Аристов в одной из своих книг рассказал об истории книги с автографом Софьи Ковалевской. Книги из «Тургеневки». Книги, принадлежавшей Д. М. Одинцу, — профессору Казанского университета. Вскользь В. В. Аристов упомянул о том, что Одинец долгое время (уточним — 15 лет) был директором Тургеневской библиотеки в Париже. Тогда не принято было распространяться об эмигрантском прошлом своих персонажей. По существовавшим негласным канонам отечественной историографии эмиграция в судьбе человека могла быть либо «черным пятном», либо «трагической ошибкой».

Двадцать лет спустя общество осознает «трагическую ошибку» послеоктябрьских лет, в результате которой в эмиграции оказалось 4 миллиона россиян, а среди них — 5 академиков и 1000 профессоров, — по подсчетам известного историка эмиграции П. Е. Ковалевского, а по другим подсчетам, — в два, в три раза больше.

В числе покинувших в эти годы Россию ученых был и 37-летний петербургский профессор Психоневрологического института, историк русского права, один из последних учеников знаменитого историка-«государственника» В. И. Сергеевича — Дмитрий Михайлович Одинец (1883—

1950). Он подавал большие надежды, а кроме того, был отличным организатором, возглавлял учебный отдел Общества Народных Университетов, был директором петербургской гимназии С. А. Столбцова (потом — гимназия Н. В. Дмитриева; на Невском проспекте). Дмитрий Михайлович не был чужд и политике: на I Всероссийском съезде Трудовой народно-социалистической партии в Петрограде в июне 1917 года он был избран членом ЦК партии. В конце 1917 года профессор покидает бурлящий Петроград и последующие два года проводит в не менее беспокойном Киеве, где власти сменяли друг друга как кадры синема — Рада и гетман, немцы и поляки, добровольцы и большевики — кто только не воцарялся в эти годы в Киеве. Дмитрий Михайлович не был безучастным свидетелем: в ноябре 1917 года он вошел в правительство, сформированное Центральной Радой и ее «головой», известным историком М. С. Грушевским. Председателем правительства стал В. Винниченко, военное министерство в нем возглавлял С. Петлюра, министерство иностранных дел — В. Шульгин. Одинец стал одним из трех министров по делам национальностей — по великорусским делам. Однако уже в марте 1918 года при сохранении двух других министерств (секретариатов) — по польским и еврейским делам — министерство Одинца упразднили. А вскоре, 28 апреля, сама Рада была разогнана германским командованием, а ее депутатам было без лишних церемоний предложено отправляться «нах хаузе». Министерский опыт Одинца был, таким образом, весьма мимолетен. Мог ли он подумать, что через двадцать с лишним лет эпизоды его киевской жизни всплывут в необычном контексте — в официальной беседе с представителем Третьего рейха.

В 1920 году профессор Одинец оставил город, в котором пережил революцию и гражданскую войну, и ушел на Запад через прозрачную тогда границу.

Чужие страны встречали российских ученых по-разному. И работа была разная, выбирать не приходилось: если

в Белграде в 1920 году Дмитрий Михайлович работал директором гимназии, а в Варшаве год спустя работал в составе русской школьной комиссии, открывавшей русские школы (а тогдашнее правительство Польши, не в пример, скажем, правительству Чехословакии, без всякого восторга смотрело на эту затею), то характер своих занятий в первые два парижских года Одинец спустя десятилетия охарактеризует скупо: «физический труд».

В середине 20-х годов Париж постепенно становится «столицей» российской эмиграции, отобрав этот титул у Берлина. Как грибы росли в Париже российские общества, союзы, кружки, издательства, школы, даже вузы — их в 20—30-е годы в городе было не менее семи. Наконец педагогический талант и знания Оди́нца были востребованы: он становится профессором французского лицея «Он», ряда российских вузов — Русского народного университета, Франко-русского института; 25 лет — с 1923 по 1948 год — Дмитрий Михайлович был профессором Сорбонны, преподавал и на так называемых «русских отделениях» Парижского университета — самых престижных и лучших по качеству преподавания русских вузовских отделений в эмиграции.

Кто только не преподавал в 20-е годы в русских вузах Парижа! Какие имена! Во Франко-русском институте коллегой Оди́нца был П. Н. Милюков, возглавлявший совет института. В Сорбонне на русских отделениях читали лекции философы Л. Шестов, А. Карташев, критики, литераторы и филологи Г. Лозинский, К. Мочульский, историки С. Сватиков, С. П. Ремизова-Довгелло (жена А. Ремизова, сам Ремизов, а также другие светила русской литературы и поэзии — К. Бальмонт, И. Бунин, И. Шмелев, А. Куприн, Д. Мережковский и другие — тоже почитали за честь прочесть публичную лекцию на русском отделении). На естественных отделениях Сорбонны подвизались В. К. Агафонов — будущий составитель первой в истории Франции почвенной карты, С. И. Метальников — исследователь фа-

гоцитоза, Д. П. Рябушинский — светило отечественной аэродинамики, С. Н. Виноградский — знаменитый бактериолог, и многие-многие другие. Дмитрий Михайлович окунулся в привычный ему академический мир.

Но кроме преподавания, много сил и энергии Одинец посвящал «Тургеневке». В 1925 году российские эмигранты в Париже доверили ему свое сокровище: в год 50-летия библиотеки, которое пышно отметили в Сорбонне, Одинец стал ее директором, точнее — председателем правления библиотеки. Последним директором «Тургеневки».

Пятнадцать лет работы в библиотеке были наполнены не только вечными заботами, но и открытиями, книжными находками, подарками судьбы — например, в 1937 году «Тургеневка» получила все книжное собрание русской библиотеки имени Герцена в Ницце, не справившейся с финансовыми трудностями, в этом же году возникла идея создать при библиотеке Русский Литературный Архив (с архивами писателей), дело возглавил И. А. Бунин, передавший первым часть своего архива. С началом второй мировой войны этот отдел в структуре библиотеки стал своего рода убежищем для бумаг, рукописей, документов многих эмигрантов: все это отдавалось в «Тургеневку», чтобы уберечь от случайностей военной поры.

Но спустя месяц после оккупации Парижа, в сентябре 1940 года, судьба «Тургеневки» явилась к Одинцу в образе некоего Гельмута Вайса, эмиссара немецкого министра Розенберга. Вайс заявил Одинцу, что рейх покупает библиотеку. И получил ответ: библиотека не может быть продана в соответствии с параграфом ее Устава: она не может принадлежать ни государству, ни какой-либо организации, партии. «Тургеневка» — общественная, она принадлежит всем россиянам в Париже. Вскоре, 23 сентября, Вайс вновь посетил Дмитрия Михайловича — уже на его квартире — и вновь получил отказ, несмотря на намеки, больше похожие на угрозы, о том, что рейх информирован о его «антигерманских настроениях» «еще со времен гет-

манской Украины». Не раз и не два приходил Гельмут Вайс к профессору Одинцу, но Дмитрий Михайлович стоял на своем, хотя хорошо представлял, чем может обернуться его «упрямство».

В конце концов Одинец обратился за помощью в спасении библиотеки к префекту департамента Сены в Отель де Вилль. Вот как описывал много лет спустя этот визит реэмигрант Н. Кнорринг: «Во время его разговора с префектом в кабинет вошел секретарь Риве, в свое время много сделавший для Тургеневской библиотеки, и взволнованным голосом что-то зашептал на ухо префекту. Тот побледнел и потом сказал Одинцу, что у кабинета стоят четыре немецких военных, которые ожидают выхода Оди́нца. И действительно, когда Оди́нец вышел, он был остановлен Вайсом. От имени германского военного командования Вайс заявил, что деятельность Тургеневской библиотеки прекращается, и потребовал ключи от помещения. После этого Одинцу было предложено подписать бумагу, в которой значилось, что: 1) объявлен приказ о прекращении деятельности Тургеневской библиотеки, являющейся частным достоянием и не состоящей ни в какой юридической связи ни с французским, ни с советским правительством (выделено мной — С.М.), и что 2) ключи переданы доктору Вайсу»¹.

Библиотека была закрыта. Но никто — ни французы, ни российские эмигранты, — не ожидал того, что последовало потом: «Тургеневку» постигла судьба трех других общественных и пятидесяти частных библиотек Парижа, вывезенных оккупантами. 13 октября 1940 года, в воскресенье, парижскую эмиграцию облетела весть: увозят «Тургеневку», заколачивают в ящики! (Всего будет 900 ящиков, невывезенными останутся книги отдела иностранной литературы, книги, хранившиеся в подвале и на руках у чита-

¹ Кнорринг Н. Н. Гибель Тургеневской библиотеки в Париже // Простор., 1961. — № 8. — С. 150.

телей и сотрудников, а также архивы российских писателей.)

Известная писательница Н. Берберова в одной из своих книг вспоминала, что в то утро прибежала с этой вестью к В. А. Маклакову (российский политик, думец, кадет, бывший посол Временного правительства в Париже). Маклаков дозвонился до Одина. Дмитрий Михайлович решил использовать последний шанс. Идея, вероятно, была подсказана формулировкой немецкого документа о закрытии библиотеки: власти оккупированной Франции не могли защитить общественную библиотеку российских эмигрантов, но ее могла взять под защиту советская сторона. На СССР тогда многие эмигранты смотрели чуть ли не как на союзника Германии, да к тому и были веские причины — не только недавние советские договоры с Германией — о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года, о ненападении от 23 августа 1939 года, — но и публичные официальные заявления в советской печати, выгораживавшие Германию, такие, например, как советская интерпретация 1939 года начала второй мировой войны: «... не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну...». Итак, Одинац отправился в советское посольство на улице Гренелль за защитой с заранее заготовленным аргументом: «спасите библиотеку, потому что в этой библиотеке в свое время много работал Ленин». Но это магическое имя не произвело никакого впечатления на советских представителей. Германские эмиссары увезли библиотеку безо всяких препон и осложнений.

Упрямого директора «Тургеневки» взяли позже — 22 июня 1941 года в 8 часов 30 минут по парижскому времени, когда были интернированы сотни российских эмигрантов в Париже. Н. Берберова считала, что их арестовывали по спискам российских масонских лож, предоставленным оккупантам российскими же национал-социалистами. Вероятно, использовались списки многих эмигрантских органи-

заций, а не только масонские, так как далеко не все арестованные были масонами. Сам же Одинец, по сведениям той же Берберовой (к которым, кстати, многие авторы относятся осторожно), принадлежал к известной российской ложе «Астрея» с 1917 года, в начале 20-х в Париже возобновил свое членство в ней, а в 1928 году перешел в «Северную звезду».

Лето 1941 года Одинец провел в лагере для военнопленных № 122 в Компьене. Сохранилось несколько открыток из лагеря, отправленных жене Анне Кирилловне. Почтовые карточки — образцы немецкого «орднунга»: все продумано до мелочей — специальные бланки для «почты военнопленных», штампы, семь типографских строчек на каждое письмо — либо на французском, либо на немецком. В лагере организаторский талант Дмитрию Михайловичу не изменил, кроме того, с 4 февраля 1941 года он состоял членом Комитета помощи военнопленным мэрии 16-го округа Парижа, и помогал как мог, даже будучи одним из них. Свидетельство того — бережно хранимые им до самой смерти самодельные «грамоты» от товарищей по заключению, в которых воспевались его «энергичная деятельность и язвительный язык». На одной из них — около 30 подписей, на другой — свыше 160. И каких подписей! Среди них — автографы известнейших в России и эмиграции деятелей самых разных политических направлений, арестованных вместе с Одиным: бывшего министра внутренних дел в правительстве Деникина, секретаря Парижского союза русских писателей и журналистов В. Ф. Зеллера, члена ЦК партии эсеров, члена Учредительного Собрания, талантливого публициста и одного из соредкторов самого читаемого в эмиграции парижского журнала «Современные записки» И. И. Бунакова-Фундаминского, критика и литературоведа, писателя К. В. Мочульского, писателя и журналиста П. А. Бобринского, инженера и будущего известного участника Резистанса И. А. Кривошеина, графа Сергея Игнатъева, и даже родственника рос-

сийских императоров — князя В. Романовского-Красинского (сына Матильды Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича — двоюродного брата Николая II) и многих-многих других, чьи подписи сегодня уже трудно расшифровать. Дмитрия Михайловича судьба уберегла — его через несколько месяцев выпустили из лагеря. А многих его сокамерников ждала Голгофа, как, например, Бунакова-Фундаминского, погибшего в концлагере в Аушвице (Освенциме)...

Четыре военных года в Париже профессор Сорбонны Одинец жил частными уроками. С окончанием войны Дмитрий Михайлович вернулся к профессуре. Но он, как и многие россияне, пережившие вторую мировую войну в Европе, в первые послевоенные годы принимает решение ходатайствовать о предоставлении ему советского гражданства. Чего было больше в этих решениях — отзвуков эйфории от победы СССР над «коричневой чумой» и желания ощутить себя частью великой страны, победившей фашизм? усталости от положения человека без гражданства, чужака? естественной для пожилого больного человека тоски по родным осинам? Вероятно, было всего понемногу.

Как бы то ни было, 12 февраля 1945 года группа российских эмигрантов во главе с В. А. Маклаковым нанесла визит советскому послу А. Е. Богомолову, во время которого поздравила посла с победами советского оружия и пила за здоровье И. В. Сталина. Визит этот наделал много шума в эмиграции, бурно обсуждался и комментировался. Эмиграция отнеслась к нему неоднозначно: возмущалась и негодовала, приветствовала и одобряла... В официальных сообщениях прессы о визите группы Маклакова в советское посольство второй шла фамилия Д. М. Одинца — как председателя «Союза советских патриотов». Позже, получив советское гражданство, Одинец стал активным деятелем возникшего из этой организации «Союза советских граждан» во Франции, заведовал его учеб-

ным отделом, а в конце 1947—начале 1948 года и возглавлял «Союз», работал ответственным редактором парижской газеты «Советский патриот».

В первые послевоенные годы поток реэмигрантов в СССР был велик, особенно после Указов Президиума Верховного Совета 1945—1948 годов о восстановлении в советском гражданстве. Несколько лет работал Одинец в союзах возвращения, помогая вернуться или получить советское гражданство тем соотечественникам, которые к нему обращались. Несколько таких писем-просьб сохранилось в бумагах Одинца, например, письмо от профессора-экономиста А. Маркова, посланное уже в СССР. Марков, долго проживший во Франции, работал тогда — в августе 1949 года, в Институте экономики Болгарской Академии наук в Софии. В его письме указана еще одна причина, по которой просоветски настроенные эмигранты стремились покинуть Францию: они по понятным причинам оказались под пристальным вниманием французских властей и спецслужб и со дня на день ожидали высылки. Эти опасения были не беспочвенны: рано утром 25 ноября 1947 года во Франции были арестованы и депортированы в советскую зону оккупации Германии 24 советских гражданина из числа бывших эмигрантов. Среди них были участники Спротивления, в том числе и награжденные французскими и другими иностранными орденами и медалями. В этом списке значились Н. С. Качва — председатель Центрального правления «Союза советских граждан», его заместитель А. К. Палеолог, будущий автор известных в СССР воспоминаний «На чужбине» Л. Д. Любимов и многие другие. Вслед за этим французскими властями была закрыта газета «Советский патриот», постановлением французских властей от 16 декабря 1947 года прекращена деятельность «Союза советских граждан», а потом были высланы члены последнего состава правления «Союза»: 17 марта 1948 года вечером на квартире профессора Д. М. Одинца были арестованы одиннадцать советских

граждан во главе с ним самим. В официальном коммюнике французского министерства внутренних дел, опубликованном по этому поводу, они обвинялись в нелегальном воссоздании запрещенного «Союза советских граждан» и организации его собрания (правда, французская газета «Се суар» утверждала, что арестованные просто приходили навестить уже неделю болевшего профессора Одинца). Так, в 1948 году, через 28 лет, Д. М. Одинец вернулся в Россию.

Как правило, реэмигрантам предлагалось на жительство весьма ограниченное количество городов, и, конечно, в их список редко входили «русские столицы» — Москва и Ленинград. (Как вспоминал Олег Лундстрем, прибывший в те же годы со своим знаменитым потом оркестром из Шанхая, при их распределении по городам в порту Находки эти ограничения им объясняли «чертой разрухи», а не какой-либо другой ограничительной чертой.) Одинца, как и некоторых других эмигрантов, например, будущую известную писательницу Наталью Ильину, Олега Лундстрема с его оркестром, приехавших тогда из Шанхая, приняла Казань. Два года — до своей смерти 10 мая 1950 года — Дмитрий Михайлович работал профессором кафедры истории СССР Казанского университета. В том же 1948 году в Казани поселился его друг еще по Парижу, тоже высланный в марте в составе «группы одиннадцати», — Георгий Феофилович Шеметилло, долгие годы потом преподававший французский язык в медицинском институте. Поколение моих родителей хорошо помнит и того, и другого, их рассказы об эмиграции и ее выдающихся представителях (Шеметилло, например, знал Бунина). Но кто же тогда запоминал или записывал их рассказы, от них даже отмахивались, подшучивали над ними. Кто тогда думал, что с их смертью навсегда уйдут и нерассказанные страницы истории российского зарубежья!

Эти два казанских года Дмитрий Михайлович вел в университете специальные курсы по истории Киевской Ру-

си и Московского государства 14—16 веков. Но много болел, на заседаниях кафедры появлялся редко, да и настороженно относились к нему — «человеку из прошлого». После его смерти протоколы кафедры опасливо не зафиксировали ни слова в память о нем, как говорится, «отряд не заметил потери бойца». Лишь спустя месяц, 7 июня 1950 года, заведующий кафедрой профессор В. И. Писарев в сообщении о распределении учебной нагрузки на следующий год произнес фразу, которую при большом напряжении фантазии и приняв во внимание советскую привычку к эзопову языку можно принять за некролог: «Ввиду отсутствия специалиста по феодализму ректорат объявляет конкурс на замещение этой должности...» Некролог Оди́нца, опубликованный 12 мая в «Красной Татарии» Казанским университетом, был также сух и краток.

После смерти Д. М. Оди́нца его вдова, раздав часть книг и вещей, уехала из Казани. Архив Оди́нца, его наследие было передано Казанскому университету, его отделу редких рукописей. А наследие это действительно интересно. Подавляющее большинство эмигрантских работ Дмитрия Михайловича не издано — свыше 50 работ, черновиков, записей хранятся в его архиве. Среди них — статьи и наброски по самым разным вопросам истории России, хронологический разброс огромен — от родовых знаков князя Владимира Святославича до истории внешней торговли СССР в 30-е годы. Оди́нца интересовало все: история Древней Руси, национальный вопрос в России, история петровских реформ, спор западников и славянофилов, возникновение крепостного права, история народного представительства в России и многое другое. Всем этим работам, написанным на протяжении двух десятков лет (некоторые из них были изданы в чешских научных журналах, опубликованы Русским научным институтом в Белграде, изданы в «Трудах» съездов русских академических организаций за границей и так далее), предстояло стать кирпичиками в стройном здании — в задуманной

Одинцом монографии «История России». Ей не суждено было увидеть свет: Дмитрий Михайлович успел закончить лишь 21-ю главу. Семьсотстраничную рукопись «Истории России» (от древнейших времен до эпохи Смуты) вряд ли можно назвать новым словом в науке. Но помимо того, что одинцовская «история» — одна из немногих после М. Н. Покровского и Н. А. Рожкова попыток историков в одиночку написать тысячелетнюю историю страны, эта книга — добросовестный компендиум сведений, почерпнутых из русских, западных, восточных источников по истории России, из трудов российских исследователей многих десятилетий, это еще и увлекательное чтение, написанное хорошим языком, вполне достойное того, чтобы быть изданным и даже используемым в качестве учебного пособия. Эмигранты высоко ценили труды Одинца по истории Отечества, и не только безвестные любители истории из Шанхая, приславшие Одинцу восторженное письмо, «ценными и интересными» его труды считал известнейший в России юрист, член ЦК партии кадетов, бывший член Юридического Сопещения при Временном правительстве, эмигрант Б. Э. Нольде, его труды высоко ценили и другие юристы, историки права, историки-эмигранты А. Н. Грабар, А. В. Маклецов, Л. М. Савелов-Савелков и другие. Известный советский историк-феодалист В. Т. Пащуто в своей книге об историках-эмигрантах, которая не могла увидеть свет свыше 20 лет и вышла уже после его смерти в начале 90-х годов, назвал Одинца «наиболее авторитетным» среди историков права — эмигрантов.

Университет после смерти профессора Одинца пытался узнать мнение Академии наук о его наследии. Сохранился ответ — отзыв на рукописи Одинца старшего научного сотрудника Института Истории АН СССР И. Будовница от 27 мая 1952 года. «Работа Д. М. Одинца (имелась в виду рукопись «Князь и земля в Древней Руси». — С. М.) не самостоятельна, крайне устарела, основана целиком на

старой буржуазной литературе предмета и методологически неприемлема,— писал Будовниц.— Я заранее предвидел, что она чужда марксистско-ленинской методологии и неминуемо построена на идеалистических основах... она, помимо всего прочего, носит компилятивный характер...». Этим приговором на наследии Одинца был поставлен крест, а рукописи его погребены в тиши библиотеки Казанского университета.

...Как рассказывают знающие люди, после смерти Одинца и отъезда его вдовы, книги из библиотеки профессора, многие из которых он бережно пронес через страны, революции, войны,—долго лежали под окнами бывшей одинцовской квартиры во дворе университета. Люди боялись разобрать по домам библиотеку опального профессора. Интереснейшие издания рвал ветер, покрывала пыль, заливали майские дожди.

ХАДИ АТЛАСОВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Депутат Государственной Думы и историк, мулла и член эсеровской партии, член ЦК партии «Игтифак» и ректор новометодного «медресе», знаток немецкого языка и драматург — к этим сторонам деятельности, сделавшим имя Хади Атласова одним из самых популярных в мусульманских регионах России в начале XX века, можно добавить и многие другие, но и сказанного достаточно, чтобы иметь представление об интеллектуальной мощи этого человека. Впрочем, природа вообще была щедра к нему и не поскупилась ни на что, в том числе и на физическую силу. Хорошо знавший его в детстве великий художник Баки Урманче (его отец Идрис-мулла был приятелем шакирда Буинского медресе Хади) рассказывал, что когда на сабантуях близлежащих аулов появлялся этот атлетически сложенный, рослый юноша, лица местных батыров становились унылыми — «опять все главные призы борцов «уплывут» в Буинск».

В сложных перипетиях гражданской войны Атласов прошел сложный и противоречивый путь, характерный для многих представителей национальной интеллигенции. Он приветствовал свержение самодержавия, ставшего главным препятствием на пути развития национального движения народов России и возлагал большие надежды на новую демократию в лице Керенского и его «команды». Затем увлечение идеей национальной и культурной автономии мусульманских народов, переросшей в четкие контуры республики «Идель—Урал». Хади Атласов вместе с такими видными представителями интеллектуальной элиты татарского народа, как Садри Максуди, Галимджан Шараф, был избран в состав Комиссии Мухтариата — высшего органа, призванного руководить самоопределением мусульман России. Известно, что все эти планы были похоронены в огне гражданской войны, а деятели мусульманского национального движения размежевались и примкнули к противоборствующим лагерям. Лишь отдельные из них попытались сохранить своеобразный нейтралитет и не участвовать в наиболее жесткой фазе гражданской войны. Среди немногих был и Атласов. Во время пребывания в Бугульме Х. Атласов был активным деятелем местного самоуправления воссозданного властями «учредивовского», а затем «сибирского» правительства. В период, когда большевистские и пробольшевистские элементы города преследовались властями, он неоднократно легально и нелегально брал под защиту ряд из них. Впоследствии, зная о «жестком» отношении красных к лицам классово чуждым и тем более участвовавшим во властных структурах белых, Атласов покидает Бугульму и в течение года находится в Азербайджане — столице демократической республики, с рядом лидеров которой (М. Э. Расул-Заде, Хан-Хойский и др.) он поддерживал дружеские отношения еще с «думских времен». После падения Азербайджанской республики Атласов был арестован в сентябре 1920 г. и содержался в Баиловской тюрьме вместе с Расул-Заде. В судьбе его

принимали участие видные деятели советского режима и в том числе Нариман Нариманов, в то время, пожалуй, самый видный лидер Азербайджана, пользовавшийся доверием Москвы. Его резолюция на деле гласила: «ускорить дело и освободить на поруки». Однако отдел ЧК Каспийского военного флота не торопился выполнять это указание, ссылаясь на свое подчинение только военным органам. Из Казани пришло отношение из тамошних органов о необходимости передать арестованного в Бугульму в связи с имеющимися там материалами о сотрудничестве его с белыми в период «колчаковщины». Это было время, когда причудливые хитросплетения людских судеб приводили к неожиданным поворотам. Казалось бы, сопряжение имен Сталина и Атласова фантастично. Но не будем торопиться. Осенью 1920 года состоялась длительная инспекционная поездка члена Политбюро и наркомнаца на Кавказ. Главной целью было посещение Баку, с которым у Сталина было немало связано еще в дореволюционные годы — подполье, аресты, встречи с лицами, вошедшими потом в новую советскую элиту и, в частности, с молодым юристом Андреем Вышинским. В Баку Сталин приказал освободить из тюрьмы Расул-Заде, в свое время спасшего его от ареста, а возможно, и смерти. На обратном пути Сталин задержался на четыре дня в Дагестане и в Темир-Хан-Шуре приветствовал делегатов съезда народов Дагестана, съехавшихся туда по случаю объявления автономии. Пребывание Сталина в Дагестане продолжалось три дня — с 12 по 15 ноября. И здесь у него состоялась встреча с Османом Токумбетовым — фигурой весьма крупной в национальном движении, в недавнем прошлом одним из лидеров «Шуро». Ему вместе с Ахметбеком Цаликовым, на которого Ленин первоначально делал ставку как на кандидата в просоветские лидеры национального движения, приписывали заслугу «разложения» готовившейся к броску на Петроград «Дикой дивизии» генерала Багратиона, состоявшей в основном из кабардин-

цев, осетин, ингушей и чеченцев. После встречи с лидерами «Шуро» (о большевиках ингуши и чеченцы знали только понаслышке) дивизия отказалась выполнять приказы Корнилова и Крымова о захвате Петрограда, что в обстановке паники и неразберихи, царившей в столице, было вполне реальным. И еще неизвестно, как бы после этого развернулись события в стране¹. В разговоре со Сталиным в числе других вопросов Токумбетов коснулся и судьбы Атласова, дав ему характеристику как одному из самых крупных мусульманских деятелей, настроенному просоветски и ставшему жертвой ведомственной неразберихи. Судя по более поздним документам, Сталин благожелательно отнесся к просьбе и обещал высказать свое мнение властям Татarii, куда был отправлен Атласов после освобождения из бакинской тюрьмы. Суд над Атласовым, состоявшийся не в Бугульме, а в Чистополе — и это тоже говорило о многом, — признал его невиновным ввиду того, что «свидетели» отказались от первоначальных показаний. А один из них, Шангареев, даже заявил, что многие просоветски настроенные бугульминцы обязаны Атласову жизнью. Очевидно, в этом была и некоторая доля преувеличения, но по сути обвинение в «пособничестве белым контрразведкам» было снято. Но решающую роль, очевидно, сыграло все-таки заступничество Сталина и письмо к нему Нариманова и Токумбетова с повторной просьбой освободить Атласова. Это было время, когда такие жесты еще делались. Вспомним хотя бы прием Сталиным в Кремле в декабре того же года направившихся к нему прямо из Бутырской тюрьмы Ильяса Алкина и Убайдуллы Ходжаева — тоже видных деятелей национального движения.

¹ Делегация «Шуро» — Цаликов, Кугушев и Токумбетов, несмотря на сопротивление командования, встретилась 29 августа с солдатами и младшими офицерами «Кавказской туземной дивизии», после чего была избрана делегация, направленная в Петроград. Она была принята Керенским и завершила правительство, что отказывается повиноваться приказам Корнилова. См. «Революционный Восток». № 3, 1926, с. 306.

Двадцатые годы для Хади Атласова были временем надежд и разочарований. Работа в школах юго-востока Татарии — Бугульме, Шугурове, Зай-Каратае давала возможность воочию увидеть процессы, происходящие в духовной сфере общества. Они были противоречивы. С одной стороны, борьба за всеобщую грамотность, стремление государства дать минимум знаний широким массам, с другой, усеченность этих знаний, замена религиозных догм не менее догматическими марксистскими, да еще в провинциальном варианте, особенно жестком и примитивном. Как мыслитель, обогащенный трагическим опытом гражданской войны, он не мог не задумываться о перспективах развития нового общества и приходил к неутешительным выводам. Не будучи религиозным фанатиком, Атласов считал, что без веры общество ожидает нравственное одичание и господство худших инстинктов. Не радовало его и инспирированное сверху движение за «яналиф», т. е. переход на латинский алфавит. Это, по его мнению, вело к отрыву татар от своей многовековой культуры, а в конечном счете к потере языка и самобытности. Возможно, в таких «апокалиптических» прогнозах была и доля преувеличения, но вектор начавшегося процесса был определен правильно. Его результаты мы «преодолеваем» до сих пор. В этом Атласов был солидарен со своим бывшим политическим противником Галимджаном Ибрагимовым — писателем, политическим деятелем, достигшим высоких ступеней государственного признания, но на определенном этапе усомнившимся в ряде постулатов партийной политики в области культуры. В подготовленной работе «Последний бой Галимджана Ибрагимова» автор попытался показать читателю неизвестные до сих пор драматические страницы его борьбы против нивелировки татарской культуры. В те же годы Атласов продолжает работать над крупномасштабным трудом по истории татарского народа на фоне мировых событий. К середине 20-х было написано более тысячи листов. Но надежд на

издание не было. Такая крупная политическая фигура, как Хади Атласов, постоянно находилась в поле зрения «органов». Он был окружен осведомителями, регулярно докладывавшими о высказываниях ученого и оценках им событий. Этот «интерес» был многогранен. Во-первых, Атласов идеально подходил на роль духовного руководителя контрреволюционной организации в случае, если бы поступила «команда» отыскать такую. Во-вторых, его взгляды, учитывая не только огромный интеллектуальный потенциал, но и самые широкие связи с татарской духовной элитой как внутри страны, так и за ее пределами, служили своеобразным «мониторингом» общественных настроений. Были попытки использовать его и как прямого осведомителя о настроениях татарской интеллигенции, но тут произошла осечка: поблагодарив за доверие и обещав подумать, Атласов практически ничего не сделал в этом направлении. Хотя не исключено, что в списки его все же занесли. Лестно было отчитаться о вербовке такой крупной фигуры. Как и во всяком «закрытом» обществе, тема «кто являлся секретным агентом» всегда вызвала самые разноречивые слухи. Не исключено, что и сами «спецслужбы» допускали и «утечку» информации, и прямую «дезинформацию» в своих оперативных целях.

Но в те времена все оперативные действия были подчинены заранее заданной идеологической схеме, и любые высказывания Атласова фиксировались для априорного доказательства его контрреволюционности. Хотя власти и не жаловали Атласова, он не прекращал своих попыток поделиться с ними своими наблюдениями о жизни страны и республики, справедливо полагая, что его многолетний опыт общественной деятельности дает ему на это право. В ряду этих документов значительный интерес представляет его обращение к Председателю Татцика Шаймарданову. Хотя по реальной власти эта должность была чисто декоративной, однако ее обладатель обязательно входил в состав бюро обкома и хотя бы поэтому мог напрямую

довести информацию до тех, кому она была адресована. Письмо было написано Хади Атласовым 11 июня 1927 года.

В начале письма Атласов отмечает тревогу, царящую в обществе, разочарование крестьян в политике Советской власти. Немалое число крестьян, и не только зажиточных, полагает, что вскоре начнется война с западом и при всех ее тяготах она будет иметь и положительные последствия — падение или глубокое изменение сущности Советской власти. Однако эта война приведет, по мнению автора письма, к резкому обострению национальных отношений и разгулу шовинизма, в частности, на примерах Бугульмы цитируются наиболее агрессивные антитатарские высказывания. Атласов напоминает высокопоставленному адресату, что еще год тому назад писал, что даже в случае «отступления» коммунистов от своей политики в области образования и культуры он будет оставаться на этой позиции. Касаясь взаимоотношений с местным ГПУ, Атласов выражает недоумение по поводу усиленного «внимания» органов к татарской интеллигенции, постоянно подозреваемой в национализме и безразличии к шовинистическим и антитатарским выпадам ряда лиц, служащих в советских учреждениях. Особый интерес и определенные ассоциации с современностью вызывают его размышления о взаимоотношениях партии и рядовых людей; огромный разрыв между громковещательными пропагандистскими кампаниями и истинными настроениями в обществе. Коммунисты претендуют на всезнание и всепроникновение, а народ обманывает их внешней покорностью, не меняя своего отрицательного отношения к происходящему, властям надо прислушиваться к людям, которые, возможно, и критически относятся к ряду мер, но их высказывания и действия дают объективную информацию. Впрочем, все это было гласом вопиющего в пустыне — власть не была заинтересована в правде. Конец письма звучит пророчески — война или внутренний кризис, полагает Атласов, при-

ведут к распаду страны на многочисленные национальные образования, «пойдут убийства на национальной почве. СССР из государства братства превратится в государство врагов, и его захлестнет волна мятежей, убийств и грабежей». От этого пострадает в первую очередь интеллигенция, которой не простят сотрудничества с коммунистами, особенно татарской. «Мы погибнем вместе с вами, мулла Шаймардан»,—заканчивает это письмо-предупреждение Хади Атласов. К сожалению, прогнозы ученого, возможно, и не буквально, но сбылись. Многие из того, что происходит сейчас, напоминают сценарий, набросанный почти семьдесят лет тому назад. У Советского государства и правящей партии было достаточно времени для критического анализа и корректировки своей политики, в том числе и в области национальной. Однако это не было сделано. Предупреждал, разумеется, не только Атласов. Однако в реальности мы отделялись громковещательными и пустопорожними лозунгами вроде «учение всеильно, потому что оно верно» и оказались не в силах принять вызов времени и новые реальности, принесенные научно-технической революцией, и бойкими политическими деятелями, разыгравшими «демократическую» карту. Может быть, Маркс и не гений, но в наблюдательности и здравом смысле ему не откажешь, в том числе и тогда, когда он предупреждал, что история не прощает ни обществу, ни женщине растерянности, которой может воспользоваться любой проходимец. В случае с обществом последствия особенно тяжелы.

Вот на такие размышления наводит это давнее письмо ученого и политического деятеля, не услышанное и невостребованное тогда...

Коротко о дальнейшей судьбе Хади Атласова. О ней я писал еще в 1990 году, а затем очерк был включен в книгу «Мирсаид Султан-Галиев. Первая жертва генсека», вышедшую в свет в 1991 году. К ней я отсылаю читателя, желающего более подробно узнать о последнем десятиле-

тии Атласова. Однако за прошедшие четыре года стали доступны новые факты из биографии этого замечательного человека, в том числе и воспоминания людей, находившихся вместе с ним в камерах тюрем ОГПУ и НКВД и в Соловецком лагере особого назначения. О некоторых из них следует рассказать.

В 1929 году на волне борьбы с «султангалиевщиной» Атласов был арестован, доставлен в Москву и после короткого пребывания в Бутырской тюрьме осужден на 10 лет лагерей. Впрочем, никаких его связей с Султан-Галиевым и его соратниками даже с помощью натяжек и фальсификации доказать не удалось. Причем Атласов с искренним возмущением отверг саму мысль о вхождении в группу, возглавляемую Султан-Галиевым, ибо тот, по его мнению, не обладает качествами лидера и теоретика, и Атласов считал бы для себя унижительным идти у него на поводу. Да и вообще, заявил Атласов, «после выхода из Думы политикой больше не занимался». Наказание отбывалось на Соловках. Там был сосредоточен цвет национальной интеллигенции многих народов СССР. Учитывая возраст и состояние здоровья, к тяжелым работам Атласова не привлекали. В одном из писем Султан-Галиев, встречавшийся с ним в лагере, не без иронии писал, что Хади-абзы научился хорошо плести лапти для лесорубов и скотников, сам же автор, ухаживавший за лошадьми в лагпункте Анзер, не преминул заметить, что дело это знает с детства.

В 1933 году Атласов по состоянию здоровья освобождается из лагеря почти в одно время с Султан-Галиевым.

После приезда в Бугульму, а затем в Казань Х. Атласов попадает в положение политического изгоя. Работа в школах перемежается с увольнениями без объяснения причин, хотя как педагог, преподающий географию и немецкий язык, изученный им в совершенстве, он был великолепен. Мне пришлось встречаться с теми, кому посчастливилось учиться у него в школе, слушать разовые лекции в педагогических учебных заведениях. И покойный теперь

профессор П. Абрамов, и видный педагог-методист Валиага Хазиев подчеркивали огромную эрудицию Атласова, его умение просто и доступно говорить о самых сложных вещах, остроумие и образность речи. Контакты с татарскими интеллигентами были сведены к минимуму. Люди были охвачены страхом и подозрениями. Общение с человеком, дважды судимым Советской властью и невесте за что отпущенным с Соловков, не сулило ничего хорошего. Правда, к Атласову тянулась молодежь. Люди самые разные: от «сексотов», имевших задание выявить крамольные высказывания и нередко провоцировавших его умело заготовленными на «Черном озере» вопросами, и до молодых поэтов, видевших в Атласове выдающегося знатока литературы как мировой, так и восточной, наставника, внимательного слушателя... и нелицеприятного критика, могущего прямо сказать: «...а это у тебя, энэм, бездарно и отдает графоманией». Впрочем, за критику не обижались, хорошего говорилось тоже немало, особенно восходящей «звезде» татарской поэзии Сирина, по мнению многих, в скором будущем способным встать в один ряд с Тукаем, Бабицем и Дэрдмендом¹.

Тем временем тучи над головой Хади Атласова сгущались. В недрах НКВД спешно прорабатывались новые операции, призванные задушить любые проявления инако-

¹ Жизнь Батыршина Сирина (Сирий) сложилась трагично. Его стихи, эпиграммы и поэма «Мать», в которой рассказывалось о трагедии татарской деревни в период раскулачивания, были известны широким кругам интеллигенции в рукописях. Написана была им и эпиграмма на Сталина. По доносам секретных осведомителей и добровольных помощников НКВД из числа коллег по перу Сирий в числе 6 молодых литераторов был приговорен в 1936 г. к 5 годам Сиблага. Кроме того, фронт, тяжелое ранение. Известный писатель и критик Рафаэль Мустафин, встречавший Сирина в 60-х, рассказывал, что тот был погружен в заботы о «хлебе насущном» и пасеке и очень удивился вопросу о литературе... Поэт в нем умер... хотя Батыршин Сирий... еще жил. Он дожил до 74 лет, но, сломанный лагерем и ранениями, не смог сделать того, что мог бы по своему таланту.

мыслия в обществе. Особенно усилились они после загадочного убийства Кирова, использованного как «детонатор» для нового витка репрессий. Важную роль в этой системе террора против своего народа играли операции, направленные на ликвидацию многих представителей национальной интеллигенции тюркских народов и, в первую очередь, татарской как наиболее развитой и многочисленной. Волей судьбы Хади Атласов оказался одним из немногих оставшихся в стране крупных татарских интеллигентов, выдвинувшихся на авансцену общественно-политической деятельности еще до 1917 года. Поэтому к нему и Ильясу Алкину было приковано сугубое внимание «органов». В 1936 году в одном из директивных документов, разосланных на места начальником Особого отдела ГУГБ НКВД СССР комиссаром Госбезопасности 2-го ранга Гаем утверждалось, что «Японской и германской разведке удалось насадить массовую шпионско-диверсионную агентуру среди татарского и башкирского населения, внедриться через нее в военную и оборонную промышленность и на железнодорожный транспорт...» Вот так одним росчерком пера сразу два народа были обвинены в пронизанности диверсионно-шпионской агентурой. Не такие ли документы даже после смерти их авторов (Гай был расстрелян как изменник в 1937 году) помогали теоретически обосновывать необходимость выселения целых народов, начавшегося, кстати, не в 1941 году с немцев Поволжья, как принято считать, а еще в довоенные годы на Дальнем Востоке¹.

¹ К сожалению, роль активных участников создания теоретических предпосылок для «наказания» целых народов, а затем оправдания этих бесчинств играли и представители исторической науки. Вот некоторые примеры. Некий П. Н. Надинский сочинил целый опус о том, что «устойчивость пережитков капитализма в сознании крымских татар привела их к измене советскому государству во время Отечественной войны». Есть и более близкие примеры: в свое время М. Г. Худякова обвинили в том, что он назвал «протекторат» Москвы над Казанью унижительным. Впрочем, этот печатный навет 60-х для Худякова был безопасен, его расстреляли еще в 1937 году.

Хади Атласов был арестован 27 июля 1936 года. Санкцию на арест подписал начальник 2 отделения ОО УГБ Управления НКВД по ТАССР Ахметов (он же проводил обыск), утвердили ее начальник Особого отдела капитан Покалюхин (он в свое время ликвидировал руководителя крестьянского мятежа Антонова) и начальник управления НКВД старший майор госбезопасности Гарин. Подчеркивая эти детали, хочу сказать, что с самого начала Атласову придавалось особое значение как «будущему руководителю шпионско-диверсионной организации», ибо Особый отдел рассматривал дела, связанные с подрывом обороноспособности заговорами и организованным терроризмом на политической базе. Дело, очевидно, было напрямую привязано к уже известной директиве Гая. О том, что Атласова предполагалось использовать для крупного процесса в масштабе страны, говорит и тот факт, что несколько позднее для допросов прибыли из Москвы работники центрального аппарата НКВД: помощники начальника 7-го и 2-го отделений Особого отдела Айзенберг и Ратнер. Первый из них был одним из главных «создателей» дела Султан-Галиева в 1928—29 году. Такая «честь» оказывалась немногим из казанских «врагов народа».

Однако первые допросы были обескураживающи для следствия. Перед следователем Особого отдела Карповым, начавшим первый допрос (потом перед Атласовым пройдет целая череда следователей и некоторые из них, в том числе и ст. майор ГБ Гарин, будут арестованы еще до завершения дела), предстал не запуганный интеллигент, со страхом глядящий на допрашивающего, а опытный, хорошо разбирающийся во всех хитросплетениях дела человек, за плечами которого уже были аресты, «политзек», прошедший «школу» Соловков. Кстати, этот арест был уже четвертым — первый был еще в далеком 1909 году. Саратовская судебная палата дала тогда несколько месяцев за антиправительственную брошюру. Затем Баиловская тюрьма в Баку в 1920-м и 10 лет лагерей по двум пунктам

58-й — «оказание помощи международной буржуазии и призыв к свержению Советской власти». Но тогда все это ему «обошлось» в три года соловецкой отсидки. Теперь же следователи особого отдела, «подгоняемые» летящими из Москвы указаниями искать у татар, «пронизанных» шпионско-диверсионными террористическими группами крупные заговорщические организации, предъявили обвинения намного более серьезные. Как правило, многие интеллигенты тогда «отделывались» пунктом 10-м — «пропаганда контрреволюционных идей и призывов», по которой можно было осудить даже за анекдот. Рассказывали же, что во время пика репрессий 37 года одна молодая ткачиха получила срок именно по 10-й за взволнованный рассказ утром в цеху о том, что во сне видела, как «занималась любовью», так сейчас это называют, с самим Ворошиловым, да еще с подробностями. Формулировка осуждения была четкой до двусмысленности — «за компрометацию члена Политбюро». Но высшую меру по этой статье давали все же редко... Так вот Атласову предъявили, по выражению опытных политзэков того времени, «большой букет» — куда, кроме уже известных пунктов 10-го и 4-го, добавили «расстрельные» 2-й и 11-й, означавшие «подготовку вооруженного восстания, помощь во вторжении в страну войск империализма, а также руководство созданием подпольной контрреволюционной организации для осуществления этих целей».

Протоколы допроса Атласова в части его ответов — своеобразная трагическая энциклопедия судеб татарских интеллигентов. Он охотно рассказывал о дореволюционной общественной жизни. Называл десятки имен писателей, журналистов, ученых, общественных деятелей из татар, башкир, азербайджанцев, казахов, выходявших на авансцену в те годы. Давал характеристики их общественных взглядов, трудов и взаимоотношений. Более сдержанно, но достаточно подробно говорил он и о первых годах после гражданской войны. Не скрывал своих симпатий и

антипатий к действующим лицам истории... Его характеристики четки, афористичны и проливают новый свет на некоторые исторические события. В частности, на встрече Токумбетова и Музафарова в 1918 году с Гинденбургом и татарами-военнопленными под Берлином. Представляет определенный интерес и рассказ о встречах Атласова с лидерами Азербайджана в 1919—1920 гг. О характере обмена мнениями о происходящем на территории бывшей империи дает представление упрек Юсуфбекова — премьер-министра республики — «вы, татары, смотрите на мир глазами русских». Однако как только перед обвиняемым ставились конкретные вопросы — «Кто входит в террористическую группу? На какие разведки вы работаете? Где прячете оружие? Где планы захвата СССР мятежниками?» и подобные им фантастические предположения, ответ был многословен и четок — «Никакой организации нет и не было, с разведками связи не имел, Советскую власть признаю, хотя восторга от ее отдельных шагов не испытываю». Ну, а исторических экскурсов для предъявления обвинения по инкриминируемым статьям было мало даже по тем временам. Да и лица, называемые Атласовым, находились в эмиграции и давно потеряли связь, а некоторые и интерес к тому, что происходило на Родине. Из оперативных материалов и агентурных данных следовало, что никаких серьезных улик, позволяющих говорить о «зарубежном следе», в деле Атласова не существовало. Дело тянуло максимум на 58-10, с расплывчатой формулировкой «антисоветские настроения и высказывания» и больше 10 лет не сулило. Осведомители, в их числе были и близкие люди, и даже связанные с ним родственными отношениями, пока, кроме уже известных фактов осуждения Атласовым «яналифа», недовольства делением республик на союзные и автономные, высказываний о том, что коллективизация — это «кол, который воткнули мужику в известное место», после чего тот потерял способность производить хлеб, двух-трех анекдотов, впрочем, общеиз-

вестных и не затрагивающих достоинство вождей, каких-то новых сведений, могущих хотя бы с натяжкой квалифицироваться как попытки создания заговорщических групп, не давали. Время, когда по приговору «тройки» расстреливали на основании краткой справки следователя, еще не наступило. Оно придет в конце 1937 — начале 1938 года. Была, правда, надежда усилить обвинения, привязав к нему «поношение вождя». В одном из донесений сексота отмечалось, что Атласов одобрил эпиграмму Сирина на Сталина, которая в подстрочном переводе выглядела так: «...соловей, забудь все свои песни и трели, а хвали теперь Сталина и будешь «народным соловьем СССР». Это, конечно, не мандельштамовское про «широкую грудь осетина» и тычки, раздаваемые вождем своим «тонкошеим соратникам» и пр., но все же крамола. Однако при изучении информации оказалось, что эпиграмму слышали многие, Атласов же ее не одобрил, правда, с точки зрения качества стихосложения. Время шло, однако никаких признаний от Атласова не поступало. Уже был снят и отправлен в Москву (как оказалось, на расстрел) нарком внутренних дел Гарин, на его место назначен комиссар безопасности П. Рудь. Напор, как тогда говорили, следствия возрастал, все чаще в протоколах звучали фразы: «вы продолжаете упорствовать», «вы обманываете следствие», «следствие имеет доказательства вашего шпионажа» и т. п. Ответы Атласова были лаконичны — в предъявленных обвинениях невиновен, готов отвечать за отдельные непродуманные высказывания, вызванные обидой на преследования со стороны власти. Очевидно, где-то осенью 1936 года начинается «физическое воздействие» на подследственного. Это совпало и с приездом двух представителей Особого отдела из Москвы, о котором мы уже упоминали. Судя по всему, чекисты убедились, что создать большой процесс «татарской шпионско-диверсионной» организации во главе с Атласовым, действие которой распространялось бы на значительные территории СССР, не удастся. Причины могли

быть разные, но свою роль сыграло и упорное сопротивление подследственного. Осенью и в конце лета начались аресты ряда учителей юго-востока Татарии, в основном из Бугульмы, Альметьевска, Шугурова и некоторых других интеллигентов из тех же краев. Очевидно, было решено придать суду над Атласовым местный характер и ограничить его «контрреволюционную деятельность» Татарией. Судя по накапливающимся материалам «свидетелей», многие из которых были просто штатными осведомителями, обвинения, носившие вначале политический характер,— например, один из доносов гласил, что Атласов на уроках говорил о том, что права автономных республик ущемлены, а Татария по своему потенциалу должна быть союзной и это неоднократно было обещано Лениным и Сталиным,— становятся все более зловещими. Так, экономист С., проживавший по улице Сафьян, в заявлении в НКВД сообщил «о желании как честного советского человека» раскрыть контрреволюционную сущность Атласова. Этот «честный советский человек» заявил, что Атласов дал ему задание выяснить объем продукции завода № 40 (порохового) и почему-то дополнил это задание просьбой выяснить состояние экономики Узбекистана... Такие, выражаясь языком следователей того времени, «романы» составляли большинство обвинительных материалов. Для вящей убедительности в группу Атласова были «включены» два учителя, в годы мировой и гражданской войны бывшие в плену у немцев и поляков. А это уже позволяло говорить о завербованности для шпионской и диверсионной деятельности. Сохранились воспоминания выживших политзеков того времени, видевших Атласова и находившихся с ним в одной камере. П. В. Аксенов, чей потрясающий дневник печатал в свое время журнал «Казань», вспоминает, что этот ученый и писатель, человек огромной духовной силы сокрушенно говорил, что его удивляет примитивность следователей и их обвинений. Но он уже устал от такой жизни и готов ко всему.

К лету 1937 года длившийся почти год трагический фарс — следствие над «террористической группой» Атласова из 24 человек, подошел к концу. Хотя менялись следователи и начальники отделов и уже второй нарком, занимавшийся этим делом, был арестован и увезен в Москву на расстрел, заведенное дело медленно близилось к роковому завершению. Атласов признал почти все обвинения, кроме шпионажа и диверсий. Дело предполагалось пропустить через военную коллегия Верховного суда СССР, и ее состав в лице Камерона, Рутмана и Кандыбина (последний был начальником Тат. ОГПУ в конце 20-х гг.) принял его к производству в августе 1937 года. В сентябре неожиданно решение было изменено, и дело передано военному трибуналу Приволжского военного округа. Мотивы этого неизвестны, но скорее всего связаны с тем, что широкомасштабное дело не получилось. Суд происходил в клубе имени Менжинского, ставшем в те годы последним «полустанком» перед уходом в небытие для сотен и сотен людей. Обвинение было предъявлено 24 лицам, материалы на 62 человека, в той или иной степени связанных с обвиняемыми, были переданы «для дальнейшей разработки», и ряд из них был осужден позднее. В списке свидетелей значились 27 человек, на суд были вызваны 16. Мне пришлось беседовать недавно, пожалуй, с последним из живых свидетелей на этом суде. Однако, сославшись на возраст, а он действительно глубоко преклонный, она сказала, что ничего уж не помнит, кроме того, что суд происходил в клубе НКВД.

Председателя суда Микляева, членов Тулина и Кутушева не интересовало выяснение истины. Они обрывали обвиняемых, требовали от официального переводчика (им был назначен секретарь Бауманского райкома Улунбеков) краткости, детали их не интересовали. Свидетели послушно подтвердили свои показания, правда, некоторые были вынуждены признать, что ошибались в деталях. Кстати,

члену этого суда Кутушеву предстояло вскоре самому занять место подследственного и чудом избежать расстрела.

В последнем слове большинство обвиняемых вину не признали и заявили, что они жертвы оговора и «воздействия» следователей. Хади Атласов категорически отверг обвинения в шпионаже и диверсиях, заявив, что он сторонник создания эволюционным путем тюрко-татарского государства на Волге, и если это квалифицируется как контрреволюция, то он не возражает. 28 октября в 18 час. 30 минут был оглашен приговор, а заседание, судя по протоколу, закрыто в 18.45. Этих 15 минут хватило, чтобы 9 человек узнали о предстоящем им расстреле, а остальным была «дарована жизнь», 5—10 лет которой предстояло провести в лагерях и тюрьмах. Половина из них погибла уже там. Потянулись дни томительного ожидания. Кассационные жалобы и письма на имя Сталина, Калинина и Ежова, как обычно, действия не возымели. 15 февраля 1938 года стал последним днем жизни для Хади Атласова и восьми его товарищей по трагедии. Дальше начала свой отсчет история. В 1958 году этот приговор был отменен «за отсутствием состава преступления», и немногие из оставшихся в живых узнали, что были невиновны. Но имя Атласова еще долгое время оставалось под подозрением, и в исторической литературе сопровождалось нелестными комментариями...

Название очерка «Хади Атласов предупреждает» вначале было выбрано автором в связи с его письмом 1927 года. Однако это понятие в ходе работы над очерком стало шире. Дело Атласова и его трагическая судьба — это предупреждение всему обществу, ибо общество и государство, не приемлющие инакомыслия, не ценящие своих талантливых людей, в какой бы области они ни появлялись, обречены на прозябание и в конечном счете на крах. Уроки последнего десятилетия — тоже подтверждение этой в общем-то простой мысли.

«ПИСЬМА ИЗ СТАМБУЛА» И РАСПЛАТА ЗА НИХ

В конце сентября 1937 года в экстренном порядке было завершено уголовно-следственное дело арестованного 5 августа по месту жительства, в Черкизово, на окраине Москвы, преподавателя турецкого языка в Институте востоковедения Ф. Г. Каримова. Обвинение предъявлялось по самым «расстрельным» подпунктам зловещей статьи 58-й Уголовного кодекса РСФСР — оно гласило, что Фатых Карими уличен в шпионаже, подготовке террористических актов против вождей партии и лично тов. Сталина и создании подпольной контрреволюционной организации. В общем, как говорили в то время, «полный букет», далее — только расстрел. Мы коснемся позже очевидной нелепости обвинений, даже по тем лихим временам. Обвиняемый на заседании военной коллегии Верховного суда СССР, состоявшемся 27 сентября 1937 года, от подтверждения своей вины отказался и заявил, что его признания на следствии были вынужденными и являются самооговором «под физическим воздействием». Впрочем, это никакого значения уже не имело, да и сам «приговор», очевидно, давно уже был подписан. В тот же день выдающийся мыслитель, блестящий знаток Востока, писатель и просто обаятельный человек, один из великих сынов татарского народа XX века, представитель семьи, давшей ряд выдающихся деятелей культуры и политики, был казнен. Жизнь Фатыха Карими была оборвана на 68-м году жизни, вместившей в себя столько событий, что их хватило бы на десяток биографий.

Родился Фатых в 1870 году в д. Миннибаево неподалеку от Альметьевска в семье человека незаурядного, явно выделявшегося из общего ряда духовных лиц. Отец его, Ахун Гильман Карими, был одним из любимых учеников

великого Марджани. Повлияло на него и общение с удивительной русской женщиной Ольгой Лебедевой, женой казанского городского головы, ставшей известным востоковедом, чьи заслуги по ознакомлению турецкого народа с русской литературой были отмечены высшим имперским орденом «Шефакат», а имя ее звучало в Турции как «Гульнар-ханум». Именно по ее совету Гильман-ахун резко меняет свою судьбу и, переехав в Оренбург, становится крупным издателем, журналистом, не оставляя, впрочем, окончательно и духовного сана.

Трагическая смерть от удара молнией во время летней грозы под Оренбургом оборвала его жизнь. Начавшиеся было пересуды о божьей каре за отход от религиозной деятельности были прерваны братом его жены Магсумы, выдающимся исламским деятелем, ученым Риза-казы Фахретдиновым и его друзьями — предпринимателями и меценатами братьями Шакиром и Закиром Рамеевыми, младший из которых был сам выдающимся поэтом. Риза-казы во время пятничной молитвы заявил, что деятельность Гильмана-ахуна на новой стезе была тоже угодна Аллаху, и напомнил один из заветов ислама о том, что чернила на пере ученого так же почтенны, как кровь мученика за веру...

Дети Гильмана-ахуна (у него было три дочери и три сына) каждый по-своему оставили заметный след в духовной жизни татарского народа. Скажем только, что Мухамед-Гариф после 1917 года стал одним из лидеров сопротивления большевизму, ближайшим сотрудником Гаяза Исхаки и закончил свою жизнь в 1934 году в Варшаве, как гласила официальная версия, «выбросившись из окна»... Точные обстоятельства его гибели вряд ли станут когда-либо известны, но молва приписала это агентам НКВД. Учитывая общественную активность Мухамеда-Гарифа и то, что во время пребывания Исхаки на Дальнем Востоке в его руках сосредоточилась вся организационная деятельность «Идель-Урала», нужно при-

знать, что такая версия, очевидно, тоже имеет право на существование¹.

Автор вернется к истории семьи Карими еще не один раз, а сейчас, очевидно, необходимо рассказать о наиболее крупной фигуре из них — Фатыхе Карими, с гибели которого в 1937 году мы начали очерк.

После смерти Гильмана-ахуна преемником его издательских дел стал Фатых, обладавший к этому времени весьма разносторонней и фундаментальной подготовкой. Назовем только некоторые ее этапы. Во время пребывания в Стамбульском университете (1892—1896) он углубляет полученные ранее в Чистопольском медресе познания в области литературы, истории, филологии и экономики и свободно говорит и пишет не только на родном татарском и языке обучения — турецком, но и арабском, фарси и французском языках. Русский для него был известен с раннего детства, и говорил он на нем почти без акцента.

В конце 90-х, пожалуй, главным очагом мусульманского модернизма и приобщения к европейской культуре для мусульман России на некоторое время становится Крым. Это связано с незаурядной личностью Измаила Гаспринского — человека неординарного, получившего блестящее образование в элитарных российских учебных заведениях, городского головы в бывшей столице ханов Бахчисарае. Он стал одним из «отцов-основателей» джадидизма — модернистского общественного движения мусульман. Фатых Карими преподает в открытых Гаспринским «новометодных» национальных школах. Вскоре он становится директором учрежденной в 1898 году в Бахчисарае учительской семинарии.

¹ Профессор КГУ Я. Я. Гришин — крупный специалист в области польской истории и, в частности, истории ее татарского населения, сообщил автору, что надгробие М. Г. Карими сохранилось на одном из кладбищ Варшавы.

Неизгладимое впечатление оставило у него совместное путешествие по Европе с владельцем золотых приисков Шакиром Рамеевым в качестве компаньона и переводчика. Удачливого предпринимателя в первую очередь интересовали новинки технического прогресса в области горного дела и переработки золотой руды. Во время посещения Германии, Бельгии, Франции, Италии и некоторых других европейских стран Рамеев встречался с видными инженерами, учеными, владельцами фирм и приобрел ряд машин и технических устройств. Неоценимую помощь в переговорах оказал ему Ф. Карими. Ритм путешествия был необременителен, и у молодого гуманитария оставалось достаточно времени для знакомства с выдающимися памятниками культуры, очагами науки и просвещения в этих странах, которые он мечтал увидеть еще со студенческих лет. Впоследствии все эти дорожные впечатления и размышления легли в основу весьма интересной книги «Путешествия по Европе», ставшей в 1902 году своеобразным татарским «бестселлером» начала века.

Уже в первое десятилетие XX века Фатых Карими, являясь редактором ряда газет и журналов (наиболее известным из них стал «Вақыт», издававшийся в Оренбурге), уверенно входит в число наиболее популярных литераторов. Его произведения отражают серьезные конфликты в татарском общественном сознании, борьбу между, условно скажем, фундаментализмом и модернизмом (в татарском варианте — «кадимизмом» и «джадидизмом»). Многие годы в исторической литературе эта борьба искусственно упрощалась и примитивизировалась, нередко она сводилась к борьбе буржуазной и демократической идеологий, хотя здесь было много нюансов.

Являясь сторонником модернизма, Ф. Карими в ряде своих произведений пытается «озвучить» персонажи, принадлежащие к различным направлениям, не жалея при этом красок для сатирического изображения кадимистов. В рассказе «Шакирд и студент» и других противники джа-

дидизма изображены с чертами, вызывающими брезгливость. Впрочем, такая публицистичность способствовала популярности произведения. В некоторых из них, написанных в годы общественно-политического подъема в России, затронувшего и татарский народ, Карими весьма остро и иронично подмечает новые типы людей в среде татарской интеллигенции — депутатов, проводящих время в бесконечных дебатах и давно забывших о нуждах избирателей, циничных журналистов, обслуживающих сильных мира сего. Многие его персонажи оказались «живучими», и образы, нарисованные писателем, вызывают подчас современные ассоциации. Перо Карими не щадит и весьма популярных деятелей, включая Г. Исхаки и Ф. Туктарова.

Очевидно, надо специально остановиться на уникальной книге Ф. Карими, не имевшей аналога в российской литературе того времени, да, пожалуй, и в европейской. Речь пойдет о «Стамбульских письмах», изданных в 1913 году. Немного истории. В 1912—13 гг. на Балканах разразился ряд войн, в которые оказались втянутыми Турция, Болгария, Греция, Италия. Это была своеобразная репетиция грянувшей вскоре мировой войны. Ф. Карими, являясь корреспондентом газеты «Вақыт», почти год находился в этих, как сейчас говорят, «горячих точках»¹. Знание языков и давние связи по университету помогли ему в контактах с самыми различными людьми — генералами и солдатами, учеными и писателями, бизнесменами и муллами, учителями и ремесленниками². Эти встречи и наблюдения легли в основу печатавшихся в издании «Вақыт» по нескольку раз в неделю корреспон-

¹ Российское посольство заняло по отношению к Ф. Карими явно недоброжелательную позицию, и чиновники отказали ему в доступе на его территорию. В одной из своих заметок Карими саркастически заметил по этому поводу: «боятся, наверное, что бомбу принесу».

² Одновременно с ним в Турции находился брат — Гариф Карими. Он сражался в рядах турецкой армии и был дважды ранен.

денций. Всего их было около 70. Собранные воедино, они составили том в 450 страниц, и были изданы уже в 1913 году.

Эта книга стала своеобразной энциклопедией жизни Турции перед мировой войной. Не скрывая своих симпатий к этому государству, с которым его связывали студенческие годы и многочисленные друзья в самых различных сферах общества, писатель отмечает, что причина военных неудач Турции кроется не в силе противника, а в слабости самой страны. Нельзя не согласиться с Карими, когда он пишет, что для победы нужны не только пулеметы и пушки, но и освобождение от мракобесия в политике, экономике и религии. Лидеры, могущие вывести Турцию из кризиса, придут, по его мнению, только вместе со свободой. Он пророчески называет Энвера-пашу и Кемаля-пашу деятелями, которые смогут восстановить величие Турции. В отношении Кемаля он оказался прав.

В книге подчеркивалось, что стабильные отношения с Россией — один из факторов процветания Турции. Отвечает Карими и на искусственно раздуваемые в России анти-мусульманские настроения. Идею объединения под эгидой Турции мусульман России или Ирана, пишет он, большинство турок считают бредом. Хотя лидеры духовной жизни татар Тукай и Амирхан нередко подмечали слабые стороны творчества Карими и, случалось, делали весьма едкие замечания по некоторым его рассказам, «Стамбульские письма» вызвали у них одобрение. Тукай назвал их даже «духовной пищей» для размышления. Видный русский тюрколог В. Гордлевский, внимательно прочитав книгу Карими, писал, что этот «взгляд со стороны» помог турецкому обществу лучше увидеть свои недостатки. Отвечая на обвинения в болгаро- и сербофильстве (были и такие), Карими еще раз подчеркнул, что народ, знающий свои недостатки, легче их преодолет. Но Турции, как и другим участникам мировой войны, пришлось пройти через ее

кровавое горнило, чтобы познать правоту этих слов¹. Издательский почерк Карими отличался масштабностью и систематичностью. Многие его издания были энциклопедичны, но популярны и рассчитаны на самые широкие слои общества.

Чем-то он напоминал знаменитых издателей Сытина и Павленкова, сделавших хорошую книгу массовым явлением в России. То же самое делал Карими для тюркоязычных мусульман, ибо многие изданные им книги читали и в Средней Азии, и в Закавказье. Вот только один из осуществленных им крупномасштабных проектов. Известный историк и географ поляк Фелициан Пуцекевич написал десятки брошюр о различных народах мира. Образный язык и добротные сведения завоевали им популярность во многих странах. Карими мечтает перевести и издать на татарском языке 42 брошюры. До 1914 года читатель получил 26 из них. В некоторых брошюрах той серии издатель выступает в качестве автора предисловия, в котором рассматривает актуальные для татарского общества проблемы.

В первой брошюре, изданной в конце 1904 года и посвященной Японии, Фатых Карими пишет, что, хотя уже в течение нескольких месяцев идет война, среди татар нет не только понимания причин ее возникновения, но многие просто не имеют представления о том, где эта страна находится и кто ее населяет. Ходят, продолжает автор, самые фантастические слухи, вплоть до того, что якобы японцы — правоверные мусульмане, хотят сделать такими же китайцев, а вот Россия этому мешала, отсюда и война...

Закljučая брошюру, посвященную арабам, Карими пишет, что после изучения родного языка и языка, на кото-

¹ Вплоть до 1917 г. Ф. Карими находился под неослабным вниманием российских спецслужб. Заведующий российской агентурой в Турции сообщал, например, в январе 1913 г. о том, что Ф. Карими пользуется уважением фронтовых офицеров турецкой армии.

ром написан священный Коран, сразу же надо овладевать русским языком.

Широко образованный интеллигент с европейским кругозором, Карими был непримиримым противником национальной ограниченности. Как и многие мыслящие люди того времени, он отдавал дань модным в то время социалистическим идеям и, не будучи правоверным сторонником догм, помогал в издании книг и брошюр самых различных демократических направлений. Эта деятельность вызывала раздражение властей, и в ряде случаев и издателя Ф. Карими привлекали к судебной и административной ответственности. Впрочем, все, как правило, кончалось штрафом, который платили его покровители, или, пользуясь теперешним модным словом, спонсоры — братья Рамеевы. Эта помощь семьи Рамеевых продолжалась и после трагической смерти под колесами поезда в 1912 году старшего из них Шакира, бывшего добрым гением для многих начинаний Фатыха. В предвоенные годы Ф. Карими принимает все более активное участие в политической жизни как на общероссийском, так и на региональном уровне. В марте 1914 года он вместе с рядом других авторитетных деятелей Поволжья и Кавказа встретился с депутатами-мусульманами IV Государственной Думы. Участвовавшие во встрече деятели весьма критически оценили деятельность депутатов, обвинив их в пассивности, робости перед властями, увлечении мирскими благами... Упреки, звучащие весьма современно. Одним из наиболее острых было выступление Ф. Карими.

После свержения самодержавия, когда на развалинах империи шли активные поиски новых форм государственного и национального устройства, Фатых Карими становится одним из лидеров мусульманского движения. В мае 1917 года в числе 12 наиболее авторитетных деятелей мусульманского мира России он избирается в президиум Всероссийского съезда. Фатых Карими был среди наиболее активных сторонников федеративного устройства новой

России с максимальным предоставлением прав народам, ее составляющим. В одном из своих выступлений он подчеркнул, что необходимо помочь народам окраин использовать исторический шанс догнать цивилизованные регионы. Нельзя, заявил он, смешивать Тамбовскую губернию с Туркестаном, имея в виду особые условия Востока. На этом же съезде он был единогласно избран в состав Совета (Шуро) российских мусульман. Сохранил он свои позиции одного из наиболее авторитетных лидеров на втором мусульманском съезде в Казани, где его наряду с такими крупными деятелями, как Садри Максуди, Хади Атласов, Ибниамин Ахтямов, избирают в состав мухтарата, призванного осуществить планы создания республики «Идель — Урал».

В годы гражданской войны Фатых Карими не принимает прямого участия в ее наиболее ожесточенной фазе. Впрочем, судя по всему, действия большевиков и вообще социалистические идеи вызывают у него сочувствие. До 1925 года он работает в ряде учебных заведений Оренбурга, принимает участие в создании новой системы народного образования. В числе его заслуг — реформирование медресе «Хусаиния», которое позволило этому широко известному учебному заведению сохранить свой статус в качестве советского учебного центра подготовки педагогов. Он вместе с муфтием Р. Фахретдиновым участвует в передаче верующим Средней Азии Корана Османа, одной из священных реликвий мусульман.

Переехав в 1925 году в Москву, Фатых Карими работает в ряде издательств и становится ведущим преподавателем турецкого языка в Институте востоковедения, носившем в то время имя Нариманова. В том же году выходит в свет сборник избранных трудов и рассказов Карими. Однако как семейные, так и общественно-политические обстоятельства не способствуют активной литературной работе. Время от времени в периодической печати появляются отдельные рецензии и небольшие статьи.

Сделанного Карими в первую четверть века вполне бы хватило для того, чтобы его имя было вписано в историю культуры и общественной мысли тюркских народов. В последние годы он начал работать над своими воспоминаниями, действующими лицами которых являлись многие выдающиеся личности мусульманского мира. Однако довести их до конца было не суждено. Если первый пароксизм разгрома национальной интеллигенции, связанный с делами Султан-Галиева и организацией «Идель — Урал», Карими коснулся только косвенно, и НКВД ограничилось несколькими допросами, то 1937 год с его грандиозными разоблачительными процессами и ликвидацией тысяч и тысяч людей стал для него роковым.

В 1936 году было инспирировано огромное дело «Идель — Урал», в преамбуле которого было заявление о том, что татары и башкиры пронизаны вражеской агентурой — как запада, так и востока. В отличие от ранних процессов, вроде «Шахтинского» или «Промпартии», органы теперь не особенно заботились о хотя бы внешнем правдоподобии предъявляемых обвинений. Например, престарелый московский мулла (друг Ф. Карими) Абдулла Шамсутдинов был обвинен в том, что ...по заданию гестапо собирался взорвать в Москве три завода, четыре моста и несколько железнодорожных вокзалов. Даже в годы войны все немецкие спецслужбы вместе взятые не могли сделать в Москве и десятой доли того, что якобы обещал мулла. Такие вот «романы» писались следователями в это лихое время. Фатых Карими, очевидно, был обречен. Да и фигура его для создания очередного дела была весьма соблазнительной. Зная его биографию, можно было предвидеть основные обвинения. Учился в Турции — значит, завербован тамошней жандармерией еще в 1894 г. «Шефом» от турецкой разведки ему «определили» известного педагога Губайдуллу Бобинского, руководившего тогда землячеством учащихся татар в Стамбуле. Ну, а уж пребывание на балканских войнах в качестве корреспон-

дента журнала «Шуро» и газеты «Вақыт» прямо вписывалось в выполнение шпионских заданий. Неизвестно только чьих. В деле забыли указать. «Агентами» Ф. Карими на стезе шпионажа и подготовки диверсий были названы весьма известные личности — Ильяс Алкин, Шамиль Усманов, Кави Наджми и уже расстрелянный к этому времени мулла Шамсутдинов. Были названы и зарубежные «резиденты», на которых работал Карими: Шакир-паша, Юсуф Акчурин и Г. Идриси.

Пусть читатель не удивляется столь пестрой «шпионско-диверсионной группе» — это в основном были люди, которые или посещали в Москве по литературным делам ветерана издательского дела, или же были известны ему до революции. Все это вызывало бы улыбку, если бы за этим не стояла трагедия людей. И каких — лучших представителей интеллектуальной элиты, которые рождаются далеко не каждое десятилетие! Правда, служба наружного наблюдения не зафиксировала подозрительных встреч Карими с иностранцами, во время которых он мог передать шпионские сведения. Но в конце концов нашли неожиданное решение... По версии следствия, в 1936 году Фатых Карими передал якобы секретные сведения об оборонных заводах и вооружении Красной Армии... руководителю приезжавшей в Москву турецкой футбольной команды Керим-бею!

Нет надобности рассказывать, какими методами выбивались тогда показания и признания... Были выбиты они и из Фатыха Карими... В тот день, когда состоялось заседание военной коллегии Верховного суда, с приговора которого начинается наш очерк, рассматривались дела еще нескольких татар. В их числе был Хаджи Габидуллин — бывший премьер Татарии, впоследствии заведующий кафедрой народов Востока МГУ, и Муса Муртазин — башкир, комдив, один из сподвижников Заки Валиди, а затем лихой красный кавалерист, наводивший страх вместе со своей бригадой на денкинцев и поляков. Их также расстреляли в тот же день.

А потом начался скорбный путь возвращения из небытия. В 50-е годы — реабилитация. О ней узнали сыновья Ибрагим и Фарид, правда, по инструкции того времени им солгали — годом смерти был назван 1945-й. Продлили, так сказать, жизнь на восемь лет. В 70-х, наконец, сказали правду, и в книге «Татар эдиплэре» незабвенного Мухаммед-ага Гайнуллина, много сделавшего для восстановления истинного вклада в духовную культуру многих забытых и оклеветанных людей, уже назван год 1937, как веха, после которой имя Фатыха Гильмановича Карими стало достоянием нашей истории.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ГАЛИМДЖАНА ИБРАГИМОВА

В глубине Архангельского кладбища в Казани установлен надгробный памятник Галимджану Ибрагимову, человеку уникальной судьбы. Политику, писателю, депутату Учредительного собрания, разогнанного большевиками, члену Татарского ЦИКа, соратнику Сталина и Вахитова и многих других крупных исторических личностей, вынесенных на поверхность российской жизни бурной революционной волной...

В биографии его много загадочных страниц, некоторых из них мы коснемся в этом очерке, а другие, наверное, не будут раскрыты никогда. Время стирает следы, да и людей. Особенно тех, кто чересчур много знал. Да и сама могила его загадочна... Под памятником нет тела писателя... Это, как говорили древние, «кенотаф» — памятный знак на месте предполагаемого упокоения. Именно в этом углу кладбища в обширные и постоянно удлинявшиеся ямы сбрасывали трупы тех, кто расстрелян был в лихие годы массового террора 30-х, сюда же попадали и те, кто умирал, не выдержав пыток или болезней в тюремных условиях. Где-то здесь нашли свой последний приют мно-

гие из тех, кто сейчас поминается в торжественных случаях, и те, кто остался в памяти только своих близких: депутат Думы, выдающийся историк Хади Атласов и потомок старого купеческого рода, морской офицер Абдул-Хамид Апанаев, забытые насмерть писатель Шамиль Усманов и профессор Сулейман Еналеев и казенная как троцкист-террорист настоятельница женского монастыря Ангелина Алексеева, политические лидеры Татарстана... и люди, обвиненные в уголовных преступлениях. Всех объединила эта земля около Кабана. И давно бы надо поставить всем им здесь хотя бы скромный обелиск, куда в горестную дату смерти от пули в затылок в тюремных подвалах могли бы принести цветы или просто постоять в горестном молчании уже их дети, внуки и правнуки... А мы все суетимся в заботах о мемориальных досках на домах для благополучно проживших и умерших в чести... Нужно и это, конечно, и нет их вины в том, что они умерли в собственных постелях. Но все же, все же, все же, как писал о подобной нравственной ситуации Твардовский — «обнаженная совесть нашего общества». Дело здесь за городскими властями, ибо и Комитет госбезопасности и прокуратура республики сделали все от них зависящее для восстановления этой горькой памяти, но материализовать ее они не в силах. Думаю, что над этим должны подумать и наши бойкие депутаты, радеющие о нуждах народных, особенно перед очередными выборами, не грех бы принять в этом участие и нашим состоятельным людям... Зачтется это им, если уж не на этом свете, так на том.

Вот где-то здесь и был захоронен умерший в тюремной Плетеневской больнице 21 января 1938 года Ибрагимов, за три месяца до этого привезенный полуживым, в последней стадии туберкулеза, из Ялты.

Вынесенное в заголовок название «Последний бой...» не относится к сказанному выше. В 1937 году «боя» уже не было. Безнадежно больной человек нужен был скорее

как своеобразное «вещественное доказательство». Ибо в большинстве дел по обвинению крупных государственных деятелей почти обязательно присутствовала фамилия Ибрагимова. И у его друзей, и у его врагов. Ведь «сажали» и тех и других, а бороться между собой политические деятели той поры умели беспощадно. Когда секретарь обкома Лепя затянул выдачу санкции на арест Ибрагимова и некоторых других видных работников и вообще как-то пытался сдержать страсти хотя бы из чувства личного самосохранения, один из ретивых разоблачителей «врагов народа» заявил на партийном активе, что секретарь назвал еще не всех врагов и нужно их разоблачать дальше. Лепя, пытаясь сдержать этого воинствующего партидеолога, напомнил, что «с левыми эсерами мы революцию делали», судя по всему, тот намекал именно на эту категорию. Не спасло это ни секретаря, ни его оппонента — оба были расстреляны в числе десятков других представителей партийной верхушки в мае 1938 года. Не называю фамилию этого разоблачителя, одного из «идеологов» того времени, на совести которого многие сломанные жизни, в том числе и видных татарских интеллигентов, не потому, что его самого расстреляли... Много, к сожалению, было подобных... Великолепная психологическая характеристика этих «неистовых» ревнителей дана в выстраданных всей жизнью книгах «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и публикуемом в журнале «Казань» дневнике Павла Аксенова. Кстати, упоминаемый Гинзбург «черный Мотеле» — секретарь партколлегии Татарского обкома Бейлин, недогнувшей рукой отправивший ее, как сотни других коммунистов, в подвалы НКВД, был тоже арестован в начале 1938 года. Но выжил и даже после 20-го съезда писал письма с просьбой привлечь к суду Алемасова, наркома НКВД, затем секретаря обкома... верным сообщником которого был и сам. Такие вот гримасы нашего прошлого.

Ситуация напоминала трагический анекдот того времени: когда трое заключенных расспрашивают друг друга,

кто за что сел,— один заявил, что за то, что в свое время ругал любимца Сталина Радека. Другой сказал: за то, что хвалил этого треклятого Радека... а третий усмехнулся и промолвил: «Я — Радек!»

Изучая многие дела и документы, начинаешь острее ощущать горькую истину, высказанную как-то Александром Яковлевым, многие годы возглавлявшим процесс реабилитации жертв террора. Он писал, что самое страшное в том, что из сознания уходят образы незапятнанных людей. Грань между палачом и жертвой, между разоблачителем и разоблачаемым была зыбкой. И даже зная о горькой участи многих из тех, кто беспощадно клеймил своих товарищей по партии, а затем пополнял ряды арестованных, без всякого злорадства думаешь: а ведь за что боролся — на то и напоролся. И, наверное, это было самым страшным в той системе, которая создала тоталитарное государство и породила его главного архитектора Сталина, многократно углубившего и развившего все, что было намечено его предшественником. Внедряемая «сверху» политическая лютость, полное забвение нравственных норм, помноженные на стремление выжить «во что бы то ни стало», еще на свободе готовили людей к звериным нравам, царившим в камерах и зонах¹. Когда-то Шварц в своей гениальной пьесе «Дракон» дал четкую нравственную оценку этой ситуации: один из героев оправдывает содеянное им зло тем, что он научился этому в школе дракона, а в ответ услышал: «в ней учились все, но кто

¹ Еще в 1928 году, наблюдая общественные нравы, один из самых блестящих «партийных диссидентов» того времени Карл Радек писал из ссылки другому оппозиционеру: «Одичание всеобщее является результатом политической борьбы последних лет». Но даже Радек с его острым аналитическим умом, столь ценимым Сталиным в свое время, не мог, наверное, представить себе «беспредел» середины 30-х. Его самого «пощадят» в 1937 году за «помощь следствию» во время политического процесса Пятакова и других. Он получит «всего-то» 10 лет и будет казнен руками уголовников уже в 1939 году, как и другой «пощаженный» Х. Раковский.

же тебе, мерзавцу, велел быть в ней первым учеником». Тоталитарная система способствовала созданию подобных первых учеников, да и выгодно было это «до поры до времени». Недавно я читал трагическое письмо Виктора Абакумова, любимца Сталина, блестящего контрразведчика, генерал-полковника и министра МГБ, человека, в руках которого многие годы была безраздельная власть над жизнью и смертью десятков тысяч людей. Кстати, именно он решал и судьбу шведского дипломата Валленберга, которая сфокусировала многие трагические противоречия времени... Так вот Виктор Семенович Абакумов, брошенный по приказу Сталина в результате интриг Берии в Лефортово, избитый там до полусмерти и загнанный в особую камеру — «холодильник», пишет членам Политбюро, что он даже не представлял, насколько ужасны условия в этом застенке. Наверное, действительно, было невозможно даже этому физически хорошо развитому и, очевидно, не трусливому человеку испытать на себе тогдашние методы получения «улик». Но не верится все же, что не знал обо всем этом Абакумов, когда властвовал на Лубянке.

Сказанное выше не имеет прямого отношения к герою этого очерка. Но когда мы пройдем с вами по некоторым жизненным этапам Ибрагимова, возможно, увидим, как складывалась подобная бесчеловечная система, одной из многочисленных жертв которой стал и этот талантливый человек — одним из первых перешедший на позиции безговорочной поддержки большевиков еще в далеком январе 1918 года, когда вместе с ними одобрил разгон Учредительного собрания, на которое возлагалось тогда столько надежд.

Речь в основном пойдет о середине 20-х годов. К этому времени за плечами Ибрагимова был уже огромный политический опыт: тесное сотрудничество со структурами Наркомнаца; участие в ожесточенной политической борьбе против попыток создать альтернативную большевистской модели национально-государственного устройства; успеш-

ное руководство переходом татаро-башкирских левых эсеров, признанным лидером которых он был, на большевистские позиции; участие в агитационно-пропагандистском обеспечении победы в гражданской войне — это только некоторые наиболее значительные вехи деятельности Г. Ибрагимова в период с 1917 до начала 20-х годов. Его деятельность по большевизации национального движения поддерживалась Сталиным. Известно, что в состав руководящих органов, избранных на 2-м съезде коммунистических организаций народов Востока, он был кооптирован по личному указанию руководителя Наркомнаца. В политической жизни, тем более в такое переломное время, очевидно, неизбежны конфликты по причинам как принципиальным, так зачастую и по личным мотивам, из-за столкновения амбиций, стремления к лидерству. Ими также богата политическая биография Ибрагимова. Еще в марте 1918 года ввиду раскола в татаро-башкирском комиссариате, где он был вторым лицом после Вахитова, и конфликта из-за этого со Сталиным — он вместе с большинством его членов подал в отставку. И возвращается только после бурного объяснения с вождем. По инициативе Ибрагимова был арестован и не согласившийся с ним по ряду вопросов будущего развития национального движения Шариф Манатов, член Учредительного собрания, вместе с ним и Вахитовым, после встречи с Лениным, создававший первые структуры комиссариата. Сложен и до сих пор неясен и механизм перехода уфимских левых эсеров в ряды большевистской партии. Они на долгие годы уже после гражданской войны оставались под подозрением, хотя многие из них занимали руководящие посты. Вызывало споры и само определение партийного стажа их лидера, есть в биографии Ибрагимова и несколько загадочных эпизодов, допускающих различные толкования. Скажем только о двух из них. Широко известна его «эпопея» в колчаковском тылу летом 1919 года. По официальной и выдвинутой самим Ибрагимовым версии, он в

течение четырех летних месяцев перемещался в тылу белых на Урале и Западной Сибири. Говорится даже о «специальном задании» Красной Армии. Полагаю, что мотивы этого ухода в тыл врага все же намного сложнее, и вряд ли была необходимость использовать такую крупную и широко известную личность в качестве разведчика-осведомителя. Да и сам «боец невидимого фронта» особенно не таился и встречал там, судя по его же воспоминаниям, многих своих политических противников, включая и людей, которых он в Уфе «сдавал» в ЧК. Как бы там ни было, никто в белогвардейском царстве ему тем же не ответил, и он благополучно соединился с частями Красной Армии в Челябинске. Вскоре он выступал на митингах и в газетах со своими впечатлениями. Его наблюдения были метки и образны и, очевидно, с выводами об обреченности режима, который не мог и не хотел решить самые насущие вопросы, волновавшие людей, включая и национальный, можно было согласиться.

Другая, еще более неясная история, о которой автор уже писал в очерке о бакинском друге Сталина, первом руководителе Азербайджанской республики Мамед-Эмине Расул-Заде. Сталин во время пребывания в Баку в октябре 1920 г. спас Расул-Заде от расстрела в подвалах ЧК и увез с собой в Москву. Возможно, он распылился за то, что тот делал в 1907 году, скрывая Сталина от полиции в мечети своего отца и на его даче. Однако Расул-Заде не прижился в советских условиях и нелегально перешел границу с Финляндией (по некоторым источникам, с помощью настоятеля Петроградской мечети известного богослова Мусы Бигиева) и вскоре очутился в Турции. В своем письме Сталину из Константинополя он подробно объяснил причину своего «ухода». Он, в частности, отмечал, что «...волею судеб очутившаяся у власти партия коммунистов, отступая на всех фронтах от своей идеологии, приходит к идее восстановления старой российской империи...» добавив при этом такой вот пассаж — самосто-

тельность Кавказа при царских наместниках была не меньше, чем «при нынешних секретарях Кавказского крайкома», но процесс ликвидации независимости теперь идет быстрее, чем при царе¹. Такая вот сравнительная оценка клейменного как душитель свободы самодержавия и свободоносного советского режима. Вскоре в Турции вышла небольшая книга о трагической судьбе Азербайджана, захваченного советскими войсками при помощи их марионеток. Очевидно, она серьезно задела и лично Сталина, ибо уже в сентябре он проводит секретное совещание лидеров всех трех закавказских республик и ставит перед ними задачу: немедленно ответить Расул-Заде. Причем в архиве сохранились развернутый план этой книги и написанное Сталиным напутствие в конце: «если будете следовать этому плану, то Расул-Заде получит достойный ответ на свою реакционную брошюру». Очевидно, не случайно Сталин, несмотря на занятость, придал такое значение небольшой книжке, ставившей под сомнение всю национальную политику коммунистов и разоблачающую на конкретных примерах ее лживость. К написанию этой «отповеди» приступил Председатель ЦИК Азербайджана Мусабеков, однако что-то не ладилось — то ли знаний и таланта не хватило, то ли должного усердия. Именно в это время, в начале 1924 года, — причем даже с указанием месяца выхода в свет (февраль) — появилась небольшая книжка Ибрагимова «Кара маяклар», посвященная разоблачению татаро-башкирских эмигрантов, осевших в Турции, Германии и Франции, вскоре переведенная на русский язык. Речь шла о Г. Исхаки, Ф. Туктарове, С. Максуди, крымско-татарских лидерах, и появился неожиданный па-

¹ См. «Источник», 1994, № 6(13), с. 83—84. Любопытная деталь: письмо датировано 1 января 1923 г. Автографы Сталина, Молотова и Куйбышева с пометками о чтении датированы 3-м января. Нет сомнения в том, что письмо было передано в совполпредство и, очевидно, доставлено срочно нарочным. Возможно, даже самолетом. Ничем иным столь быструю доставку письма объяснить невозможно.

раграф о Расул-Заде и его «реакционной брошюре». При чем аргументы разоблачения были весьма похожи на те, которые рекомендовал Сталин в своей инструкции закавказским деятелям — Кирову, Ахундову, Мусабекову и др. Автор исключает тут личный инструктаж Сталина. Очевидно, эти идеи «носились в политическом воздухе» того времени, но, возможно, кто-то из закавказских деятелей мог и поделиться с Ибрагимовым информацией о совещании у Сталина. С тем же Мусабековым он был хорошо знаком и не только политически. Данный эпизод наводит на новые размышления, но это тема специального исследования. Могу сказать только одно: знакомство с личным архивом Сталина дает основание полагать, что Сталин намного больше знал о татарских делах и занимался ими, чем может показаться. Вплоть до специального инструктажа вновь назначенного секретаря обкома партии Живова по методам борьбы против правительства Татарстана во главе с К. Мухтаровым, ведущего, по мнению вождя, националистическую политику... Да и категорический отказ Сталина приехать на татарскую партийную конференцию в конце 1921 года, на чем, кстати, настаивал Ленин, тоже о многом говорит.

Полагаю, что и то небольшое, о чем узнал читатель, позволяет судить о политическом весе Ибрагимова и о том, что он был «лично известен» вождям. Вместе с тем нельзя забывать и о двух факторах, которые, на мой взгляд, серьезно ограничивая его политическую активность, не позволяли уйти в нее целиком. Первый вызывает сожаление — серьезная болезнь, туберкулез легких, все время держала его в напряжении, временное облегчение сменялось новыми обострениями. Эпоха антибиотиков, позволившая бороться с этим страшным недугом, одолевшим многих выдающихся деятелей культуры, еще не пришла. А второй, наверное, должен по прошествии времени еще раз заставить порадоваться за Галимджана Ибрагимова. Никакая политическая активность не могла полностью

оторвать его от главного своего жизненного предназначения — литературы. Общеизвестны его произведения, отвечавшие на самые злободневные запросы жизни, делавшие это с огромной художественной силой. Но эта тема достаточно подробно изучена литературоведами, хотя она и не исчерпана полностью.

В середине 20-х Галимджан Ибрагимов становится руководителем Академцентра Татарской республики. Полагаю, что история этого своеобразного научно-практического учреждения, выполнявшего функции и Министерства культуры, и Академии наук и другие, то, чем сейчас занимаются многие организации, заслуживает специального изучения, а возможно, и диссертационного исследования. Ни до, ни после Ибрагимова во главе Академцентра не было столь авторитетной и творческой личности. Не касаясь его многообразной деятельности на этом посту, напомню только об одном эпизоде, имевшем крупные политические последствия и ставшем началом «последнего боя», о котором гласит название очерка. По роду работы в Академцентре Ибрагимову приходилось заниматься и религиозными вопросами. И если в годы гражданской войны и в первые годы после нее он занимал весьма жесткие позиции и даже упрекал Султан-Галиева в определенном попустительстве духовенству, то по мере углубления деятельности в Академцентре он начал с большим пониманием относиться к религиозным деятелям. В 1925 году он несколько раз встречается во время приезда в Казань с муфтием и выдающимся деятелем культуры, ученым-историком Ризой Фахретдиновым. Сохранились его совершенно секретные докладные записки в обком партии, без разрешения которого он не мог встретиться с муфтием, о характере и содержании бесед. Они касались многих проблем духовной жизни татар, развития школ и др. Ибрагимов особенно выделял слова муфтия о том, что в Татарстане нарушаются даже те ограниченные юридические возможности деятельности мулл и мечетей, ко-

торые определены законом, и соседний Башкортостан в этом смысле мог бы быть примером. Оставаясь на атеистических позициях, Ибрагимов считает недопустимыми систематические беззакония по отношению к духовенству, полагая, что это только укрепляет его позиции. В числе других злободневных проблем он называет усиленную пропаганду отказа от арабской графики и перехода на латинский алфавит под лозунгом приобщения к мировой культуре и подготовки к такой же революции. Здесь их точки зрения во многом совпадают, причем Ибрагимов, не возражая против длительной и тщательной подготовки внедрения «яналифа», которая практически покажет плюсы и минусы этого шага, полагает, что форсированный переход только порвет связь масс со своей многовековой культурой, не дав ничего пока взамен.

Напомню кратко предысторию этого вопроса. Споры в мусульманском обществе о недостатках арабской графики велись уже давно. У нее, действительно, есть ряд недостатков, присущих, впрочем, почти всем алфавитам. Одним из главных считалось изменение начертания букв в зависимости от того, в какой части слова они расположены. Впрочем, настоящих и мнимых пороков арабской графики было не больше, чем, допустим, у китайской или японской. Причем в начале XX века были внесены существенные изменения, позволяющие упростить обучение чтению и письму. Тот же Ибрагимов еще в начале 20-х докладывал на заседании Секретариата ЦК об успешных работах по упрощению графики и созданию даже пишущих машинок, основанных на ней.

Однако вскоре спорам об арабском и латинском алфавитах стало придаваться политическое значение. Попытка навязать латынь русским, предлагавшаяся неистовым прожектером Луначарским, была встречена иронически. Не поддержали сию новацию и руководители Грузии и Армении, заявив приблизительно следующее: при всем несовершенстве алфавитов этих народов они обслуживают

культурные нужды и духовный мир населения уже тысячелетия, и надобности в подобной замене нет.

В Татарстане и особенно в Азербайджане, Председатель ЦИК которого Агамалы-Оглы был самым главным апостолом латинизма, и даже заявил, что Ленин в беседе с ним назвал переход на латынь новой и окончательной революцией на Востоке, это движение набирало силу и влияло на другие тюркские народы¹. Среди ведущих ревнителей «яналифа» в Татарстане были такие темпераментные публицисты, как Шамиль Усманов, Фатых Сайфи и др. В эти дискуссии и споры были втянуты центральные научные учреждения, и они постепенно становились известными и партийным кругам. О позиции Ибрагимова читатель уже знает — ее можно назвать «осторожная сдержанность». Именно в это время в научных кругах центра и провинции возникает идея проведения тюркологического съезда. Судя по документам Секретариата ЦК, и, в частности, докладной записке работника агитпропа Диманштейна, многие годы занимавшегося национальными проблемами, в партийном штабе не возражали против такой идеи. Правда, специально подчеркнули, что подобный съезд не должен носить директивный характер. Создается впечатление, что в самом руководстве ЦК не было в 1925 году сколько-нибудь четкой позиции о перспективах внедрения «яналифа», т. е. латинского алфавита, в языки тюркских народов. Съезд, судя по всему, должен был стать своеобразной «разведкой боем» и выяснить соотношение сил среди самой общественности республик.

Съезд состоялся в Баку с 26 февраля по 6 марта 1926 года. По масштабу проблем и по созвездию участников он был уникальным, и последующие попытки повторить

¹ Заявление Агамалы-Оглы не находит подтверждения в известных работах Ленина. Впрочем, сказанное в беседе можно ведь интерпретировать по-разному. Одним из «козырей» латинистов было утверждение, что через латинский алфавит идеи революции легче проникнут в массы.

его ни по научному уровню привлеченных лиц, ни по общественно-политическому резонансу не смогли даже приблизиться к нему. Не ставя себе задачу дать анализ съезда и его решений,—это может стать темой отдельной книги,—автор очерка попытается коротко рассказать только об одной из проблем съезда—новом алфавите для тюркских народов и роли в ее обсуждении делегации Татарстана во главе с Галимджаном Ибрагимовым. По официальному списку делегатами съезда были 131 человек, не считая многочисленных приглашенных. Они представляли почти все регионы СССР, а также ряд зарубежных научных центров. В числе участников были академики Бартольд и Ольденбург, Крымский, видные тюркологи Ашмарин, Малов, Самойлович, Томашевский, Миллер, Яковлев, Жирков и др. Зарубежную тюркологию представляли такие «звезды» востоковедения, как Юлиус Мессарош, Теодор Менцель, Пауль Виттек, Гусейн-Заде, Радебольд, Кепрюлю-Заде и др.

Делегация Татарстана была самой многочисленной и насчитывала 10 человек, несколько татар входили в делегацию других республик и областей. Выдающийся татарский историк Газиз Губайдуллин на этом съезде представлял Азербайджан. Среди представителей Татарстана наряду с видными учеными—Г. Алпаровым, Нигматом Хакимом, Г. Шарафом, стоявшими на позиции реформирования арабской графики, были и ярые ревнителю немедленного перехода на «яналиф»—журналисты и литераторы Ш. Усманов, С. Атнагулов, С. Гафуров.

Председатель Академцентра Г. Ибрагимов в период подготовки к съезду подробно доложил руководителям обкома и Совнаркома о состоянии дел в области реформирования алфавита и получил письменное указание не принимать никаких обязательств по практическому переводу татарского языка на латинскую графику. В ходе разгоревшейся ожесточенной дискуссии, начавшейся на третий день съезда после обсуждения общеисторических и

чисто научных проблем, выявилось несколько точек зрения на судьбу арабской графики у тюркских народов — от немедленного форсированного перехода на латинский алфавит и до требования оставить все как есть с небольшими косметическими изменениями. Г. Ибрагимов весьма дипломатично построил свое выступление, стараясь не дать разгореться страстям, в том числе и среди татарской делегации. Основной мотив звучал так — в принципе переход на латинский шрифт возможен, особенно у тех народов, которые практически не имеют еще развитой литературы и письменности, однако для татар, имеющих уже тысячелетнюю традицию использования арабской графики и огромный пласт литературы и письменных источников на ней, такой переход нецелесообразен, хотя эксперименты могут быть продолжены. Наиболее тщательный анализ сравнительных достоинств и недостатков предлагаемой реформы был сделан Г. Шарафом, пришедшим к выводу о том, что проводимая реформа арабской графики сводит на нет мнимые преимущества «яналифа». Однако дискуссия все более принимала политический характер, чему способствовал и председательствовавший на заседаниях глава республики Агамалы-Оглы, «главный латинист СССР», как его почтительно называли соратники. В некоторых выступлениях сопротивление немедленной «латинизации» приравнивалось к политическому консерватизму и даже идеологической реакционности. Термин «враг народа» еще не был пущен в оборот, но шли усиленные поиски «образа врага». Наиболее радикальным из татарской делегации было выступление Шамиля Усманова, заявившего, что только немедленный переход на «яналиф», вопреки мнению Г. Ибрагимова, «в корне разрешит все вопросы».

Хотя резолюция съезда по внедрению нового алфавита была выдержана в духе поддержки «яналифа», благодаря сопротивлению Ибрагимова, Байтурсуна и ряда других делегатов в ней отсутствовала рекомендация немедленного осуществления этой меры и содержалось только предложе-

ние приветствовать проделанную работу и внимательно изучить опыт Азербайджана и других республик и областей «для возможного проведения у себя этой реформы». Татарстан не был даже упомянут в числе республик, где такая работа велась, к большому конфузу местных латинистов. Опытный политик Ибрагимов, заручившийся поддержкой такой позиции со стороны обкома, мог быть удовлетворен. Еще 25 февраля, за день до начала заседаний, он получил шифровку — «сообщается для руководства постановление бюро обкома: считать невозможным переход на латинский шрифт в условиях РТ, отсекр. обкома Хатаевич». Ответная телеграмма 7 марта, направленная в Казань, была также лаконичной: «Казань. Хатаевичу. Выполняя директиву обкома, заявили, в ТР латинизация не будет проводиться». Итак, запомним, в марте 1926 года Татарский обком партии был категорически против введения «яналифа» в республике в обязательном порядке и рассматривал это движение как одно из общественных явлений, не влекущих необходимости государственных решений. В истории Татарстана и воспоминаниях активных участников политической жизни республики 20-х годов имя Менделя Хатаевича упоминается неоднократно. Фигура сложная, противоречивая, как и само время. Он пришел к власти в республике после «смутного времени» 1922—24 гг., когда политическая, а нередко и просто личная борьба за власть привела к «секретарской чехарде», постоянной смене лидеров и сделала Татарию, пожалуй, самой нестабильной для руководителей «вотчиной». Волевым, пользовавшийся большим влиянием в ЦК, где он работал одним из руководителей кадрового отдела, «чулак», — так, обыгрывая его физический недостаток (не было одной руки), называли его татарские активисты, — сумел крутыми мерами добиться определенной стабильности. Однако в середине 1928 года он тоже был вынужден покинуть республику после так называемой «забастовки наркомов». По отношению к Ибрагимову и ревнителям «яналифа» он

сыграл в этот период стабилизирующую роль, и, не допустив в 1926 году немедленной отмены арабской графики и срочного введения «латиницы», не поощрял и гонений на сторонников «яналифа».

Со стороны могло показаться, что после тюркологического съезда и решения обкома, одоббившего позицию на нем Председателя Академцентра, сторонники «кавалерийских» наскоков на культуру потеряли шансы на успех. Бой за «спокойный» путь развития народного образования и культуры, без ломки вековых традиций и бездумных экспериментов был вроде бы выигран Ибрагимовым. И он после бакинских «баталий» начинает работу по теоретическому осмыслению социалистического пути формирования татарской культуры с максимальным использованием традиций духовной жизни, сложившихся веками, с учетом, разумеется, реальностей, принесенных революцией. Однако политическая атмосфера в стране становилась все более напряженной, появлялись все новые и новые признаки зловещих перемен. Внутри партии назревала решительная схватка за лидерство, покоившаяся на личных амбициях, как правило, прикрываемых политическим «камуфляжем». К середине 1926 года в основном определились главные действующие силы. Троцкий дружными усилиями «зикаси», так он едко назвал союз Зиновьева, Каменева и Сталина, был вытеснен на «политическую периферию», сохранив декоративный сан члена ПБ, а затем Сталин, взявший к этому времени в руки аппарат партии, начал поход против своих недавних соратников при помощи Рыкова и Бухарина, чей черед взойти на политическую гильотину тоже не заставил себя долго ждать. Все это было покрыто густым дымом политических баталий с употреблением марксистской терминологии в самом высшем градусе. Читатель уже знает, что когда этот «политический дым» рассеялся к концу 30-х годов, то страна увидела обыкновенную жесткую диктатуру, где ее лидер пользовался безраздельной властью в области и теории, и практики. Ква-

зидемократические формы привлечения масс к советской и партийной работе носили декоративный характер, а любое сомнение в верности избранному пути жестоко каралось.

Все это не могло не сказаться и на проблемах национальных республик, их политической и культурной жизни. Именно к этому времени мы относим события в жизни Г. Ибрагимова, названные последним боем.

В идеологической жизни республики, а точнее в той ее части, которая была связана с культурой, наиболее ожесточенные споры вызывали прогнозы путей ее интеграции в общесоветское строительство, которое было объявлено одной из приоритетных задач партии. По определению самого Ибрагимова, точку зрения которого читатель уже знает, существовали еще два течения, которые при их господстве могли нанести ущерб татарской социалистической культуре. Пусть читателя не смущает постоянно встречающаяся в прошлом приставка «социалистический», ибо без нее ни одна отрасль ни духовной, ни политической, ни экономической жизни не могла быть легитимной. Политизация терминологии доходила до абсурда и на уровне пока еще публицистов и ловких приспособленцев от науки поговаривали уже о «социалистической физике», химии или математике... Во всяком случае, автор в одной из стенограмм научной дискуссии начала 30-х годов читал и вот такой пассаж: один уважаемый академик, выступая против классовости точных наук, неосторожно заявил, что это также нелепо, как говорить о «цвете» меридиана, на что его оппонент из молодых красных профессоров злоеуще заметил: «Это надо еще внимательно посмотреть, какого цвета ваш личный меридиан; боюсь, что он не красного». Такая вот «дискуссия».

Поэтому и Г. Ибрагимов вполне в обычаях того времени обильно уснащает свои размышления марксистско-социалистической терминологией, соблюдая правила игры, хотя они были далеки от узкого партийно-сектантского подхода.

Подробный анализ позиции Ибрагимова, изложенной в его брошюре, сделан исследователем творчества писателя М. Хасановым, и мы отсылаем читателя к этой интересной книге¹. В нашем очерке мы попытаемся рассмотреть лишь политический аспект этой дискуссии и взглянуть на самого Ибрагимова глазами его оппонентов. В предисловии к брошюре автор полагает, что те, кто в 1918—20 гг. выступал против создания национальных республик в Поволжье и Приуралье, перенесли свою неприязнь и на развитие национальной культуры в них. Среди них он называет «русификаторов» Атнагулова, Альмухамедова, Муртазина и «латинистов» Сайфи, Каримова и др. Сразу оговоримся, что дискуссия тех времен, даже научная, велась в довольно резких формах, и ряд оценок надо воспринимать с коррективами. Впрочем, за многие годы «дрейфа» в другую сторону мы вообще отвыкли от научной критики и нередко хвалим бездарные и неграмотные вещи. Любую попытку высказать критические замечания считаем личным выпадом против автора и его «команды».

В конце 1926 года тезисы Ибрагимова, оформленные чуть позже в брошюре «По какому пути пойдет татарская культура», выпущенной на татарском языке и переведенной на русский, стали достоянием широкой общественности. О ней спорили и в кабинетах высокопоставленных функционеров, и на кафедрах вузов, и в редакциях, и в учительских... Автору пришлось достаточно много работать в архивах РТ и РФ, и могу сказать, что ни одно произведение литературы и общественно-политической публицистики не вызвало такого подъема общественной активности и разброса диапазона суждений. А ведь это время было богато на острые перья и хлесткие суждения. Ибрагимов задел самые чувствительные струны общест-

¹ Хасанов М. Х. Писатель, ученый, революционер. М., 1987.

венного сознания. В конце января и середине февраля 1927 года в областном комитете партии происходит широкое совещание по проблемам развития национальной культуры. Стержнем его стало обсуждение взглядов Ибрагимова и его главного оппонента в то время Атнагулова, также представившего свои тезисы. Тон обсуждения был задан М. Хатаевичем, заявившим, что Ибрагимов выступил с тезисами по поручению обкома, но это не означает, что он выражает мнение обкома. Среди ошибок Ибрагимова он выделил две: в брошюре ряд руководящих татарских работников сравнивался с дореволюционными «мурзами», которые ради привилегий отказывались от родного языка и культуры, и даже ввел хлесткий термин «совмурзачество», и, во-вторых, критикуя «левых» и называя их «национальными нигилистами», он совершенно умалчивает о «правых». Такая оценка была весьма настораживающей. Не забудем, шел 1927 год с его крайним обострением политической борьбы, закончившейся «разгромным» 15-м съездом партии, когда были исключены из ее рядов не только крупные оппозиционеры, но и впервые в ее истории члены Политбюро. Хатаевич — бывший работник ЦК, хорошо знающий политическую кухню, неслучайно перевел разговор в ее категории. Однако в феврале он еще не получил необходимых команд из Москвы и занимал выжидательную позицию. Первыми слово получили противники Ибрагимова, названные им лидерами двух наиболее опасных для татарской культуры течений — Атнагулов и Сайфи. Оба, кстати, уфимские в прошлом работники и близкие к Ибрагимову по взглядам в 1918 году. Сайфи особенно обидело брошенное ему в брошюре обвинение в «русификаторстве». Он назвал оппонента сторонником «культурно-национальной автономии», недооценивающим пролетарский интернационализм, и усомнился в правомерности сравнения татарской культуры с отрядом каравана, идущего к социализму. Еще более резким было, как и следовало ожидать, выступление Атнагулова, обвинившего

Ибрагимова в том, что тот — сторонник шовинистической, националистической культуры. Сторонниками ее он назвал Г. Максудова и Тагирова. Их попытки распространить влияние Академцентра на татарскую диаспору были квалифицированы как националистические выверты. Из наиболее откровенных противников «тезисов», выступивших на первом заседании 25 января, можно назвать Муслимова, Измайлова, Бургана. Первый из них, в частности, заявил: «Тезисы Ибрагимова — политическая конфетка, выброшенная на рынок и рассчитанная на Забулачье». Хотя прошло уже десять лет после попытки создать республику «Идель — Урал», но политические страсти не утихли, а точнее — постоянно «подогревались», и в подтексте многих выступлений звучало: «А где вы были, когда мы громили Забулачку и арестовывали ее лидеров?». Однако большинство выступавших тезисы оценило положительно. Пожалуй, наиболее серьезным в теоретическом плане было обобщение создавшейся ситуации, сделанное Председателем СНК Хаджи Габидуллиным. Он, в частности, указал, что ссылка Атнагулова на Ленина некорректна, ибо взято высказывание 1913 года, когда шла борьба против бундовских взглядов на культуру. После 1917 года Ленин приветствовал развитие национальной культуры. Совещание было прервано, ибо многие его участники выразили желание более внимательно прочитать работу Ибрагимова, которая должна была вот-вот выйти уже в виде типографского издания, причем и на русском языке. Изъявили желание отпечатать свои тезисы, хотя бы в гектографированном виде, также Атнагулов, Сайфи и Бурган.

Следующие заседания этого беспрецедентного в истории татарской партийной организации совещания прошли 12 и 15 февраля. К этому времени на руках участников была уже брошюра Ибрагимова и ее русский перевод. Судя по неполной стенограмме двух завершающих заседаний и заявлению самого Ибрагимова, его противники были разгромлены, и соотношение «за» и «против» точки

зрения Ибрагимова было 96% к 4%. Впрочем, не будем особенно доверять статистике, особенно политической. Но с выводом о том, что позиция Ибрагимова, хотя и с оговорками, была поддержана партийным активом, можно, пожалуй, согласиться. Не получила поддержки и активная деятельность «латинистов» и ее лидера Сайфи.

На завершающих заседаниях сам Ибрагимов, очевидно, не участвовал ввиду обострения застарелой болезни. Однако совещание не решило и не могло решить принципиальных вопросов, ибо они во многом зависели от позиции Москвы. Там тоже разгорелась нешуточная борьба вокруг проблем культуры. Дискуссию вызвала книга известного партийного публициста Тер-Ваганяна, посвященная проблемам развития социалистической культуры, расцененная как образец нацигилизма. По рукам среди партийного актива ходила и платформа «левой оппозиции» Зиновьева и Каменева, в которой содержался и специальный раздел, посвященный национальному вопросу¹.

Хотя после февральского совещания по национальной культуре не происходило каких-то событий, которые бы ставили под сомнение его основные выводы, — правоту Ибрагимова по основным вопросам, на потаенной политической кухне, очевидно, изменения произошли. В апреле в обком поступают написанные в довольно-таки агрессивном тоне письма Бургана, Атнагулова и Сайфи, в которых снова содержатся обвинения Ибрагимова. Наиболее характерно одно из них, где его обвиняют в том, что он «плетется в хвосте исторических событий», является защитником исламской культуры, теории «искусства для искусства», но самое тяжелое припасено под конец — «защитник арабских иероглифов». В другом делается заключение о

¹ Партколлегия ЦКК и ОГПУ вели активные поиски автора национального раздела платформы оппозиции. Подозревали Султан-Галиева, отказавшегося выступить против Зиновьева и Г. Мансурова. В деле Султан-Галиева есть собственноручное письмо Г. Сафарова, подтверждающего свое авторство.

том, что Ибрагимов — рупор «лояльной к соввласти интеллигенции «печен базара»¹. На обострение ситуации повлияли и субъективные факторы. Из заявления Ибрагимова на имя члена бюро обкома и завоцделом пропаганды Гарифуллина мы узнаем, что перевод книги на русский язык, сделанный работником отдела печати Губайди, неудовлетворителен и искажает мысли автора. В конце заявления есть приписка: «Я сам не узнаю своих мыслей. Обсуждение моей книги по данному переводу я, как автор, считаю недопустимым. 19 апреля 1927 г». Думаю, что главным здесь было, конечно, не качество перевода. Ибрагимов понимал, что в изменившейся ситуации и при обострении аппаратной борьбы в ЦК его подходы к развитию культуры не вписываются в новые реалии. А самое главное — «вверху», очевидно, принято политическое решение в поддержку «яналифа». Свою версию причин такого решения ЦК — читай: Сталина, — автор выскажет несколько позднее. В «коридорах кремлевской власти», очевидно, происходили медленные, но необратимые изменения по отношению к «медлительности» Татарстана в переходе на «яналиф». Уже в конце 1926 года на заседании СНК РСФСР заместитель его председателя Рыскулов упрекнул руководителей республики в потакании муллам и саботировании введения «яналифа». По мнению Рыскулова, введение «яналифа» и отказ от арабской графики являются одним из главных факторов борьбы с религией. Между ним и Председателем СНК Татарстана Габидуллиным состоялся весьма резкий обмен репликами. Хотя СНК России не принял в то время решения, обязывающего ускорить замену алфавита, очевидно, соответствующие материалы были представлены в ЦК. Тот же Рыскулов в докладной записке в Оргбюро ЦК ВКП(б) обвинил СНК

¹ С «легкой руки» Тукая «печен базар» (Сенной базар) в Казани стал синонимом оголтелого и тупого национализма. Что-то вроде «охотнорядцев».

ТР в потакании «пантюркизму», аргументировав это опять-таки медлительностью в «яналификации» республики. Лидеры республики получили серьезное внушение в ЦК.

Перелом в самой Татарии наступил, очевидно, где-то в конце апреля. На состоявшемся в мае III пленуме обкома Хатаевич, до этого весьма сдержанно относившийся к идее «сплошной яналификации», выступил весьма агрессивно. Он заявил, в частности, что Татарстан и так отстает в переходе на «яналиф» от других республик, и нельзя в этом вопросе «оставаться на позиции, занимаемой наиболее реакционными и консервативными элементами тюркских народностей». Было сделано серьезное предупреждение «партийцам-арабистам», сидящим в Академцентре и тормозящим дело. Это был уже прямой удар по Галимджану Ибрагимову. Таким образом, введение «яналифа» было приравнено к выполнению партийных обязанностей, сочувствие к нему стало расцениваться как «национал-уклонизм», а отсюда было недалеко и до самого страшного в то время обвинения в «султангалиевщине». Это был уже полный проигрыш Ибрагимовым своего последнего боя. Не без его ведома была предпринята отчаянная попытка как-то замедлить ликвидацию арабской графики, найти компромисс. В начале мая 1927 года большая группа беспартийных татарских интеллигентов обратилась с письмом к И. Сталину, III пленуму Татарского обкома и инструктору ЦК Пшеничному, курировавшему татарскую организацию. Письмо подписали 82 человека. Среди них были писатели, ученые, педагоги, агрономы, врачи, инженеры, художники, артисты, студенты различных вузов. По некоторым воспоминаниям, текст письма принадлежал Г. Шарафу, по другим — Х. Исакову, брату писателя, журналисту и переводчику. В письме ставилась под сомнение необходимость форсированного перевода на латынь татарской письменности, и особо подчеркивалась опасность отрыва народа от своих духовных корней и

созданной за многие века культурной традиции, нанесения ущерба исторической памяти. Аргументы были те же, которые уже использовались год тому назад Г. Ибрагимовым в Баку. Трудно судить, был ли знаком Ибрагимов с текстом письма. Зная его осторожность и понимание того, что он находится в зоне особого внимания «органов», вряд ли он читал этот документ. Впрочем, и надобности в этом не было. Позиция бывшего руководителя Академцентра была всем известна, равно как и аргументы. У меня в архиве есть магнитофонная запись беседы с Баки-ага Урманче. Выдающийся художник и мыслитель, был, наверное, последним из доживших до наших дней «подписантов» «письма 82-х». Его подпись стоит под номером 55, за лихим росчерком — социальный статус — «свободный художник Баки Урманче». В ответ на мой вопрос о ситуации, в которой рождался столь необычный документ, Баки-ага вспоминал: «Мы думали, что гонение на арабскую графику — дело рук местных «кызыл аузлар» — краснобаев — и верили, что товарищ Сталин разберется и устранил этот перегиб». Оба письма, направленные в Москву, пришли обратно, причем, надобности в них и не было: один экземпляр и так был адресован обкому. Решение Пленума обкома, на которое надеялись авторы письма, было кратким и зловещим: «По существу вопроса суждения не иметь, считая вопрос разрешенным. Факт подачи подобного заявления является показателем роста активности буржуазно-националистических элементов, направленной против ВКП. Поручить бюро обкома сделать выводы и провести соответствующие и необходимые общественно-организационные и разъяснительные мероприятия». Выводы сделали, «мероприятия» провели. Вскоре многие из подписавших письмо стали группами и индивидуально спешно снимать свои подписи. Делалось это с широкими публикациями в печати и публичными покаяниями на собраниях. Да и попробуй не покайся, если документ был квалифицирован как «направ-

ленный против ВКП». Думаю, нет смысла объяснять, чем это грозило тогда. Позже, в середине 30-х сам факт подписи, даже снятой, стал поводом для самых серьезных обвинений, нередко заканчивавшихся репрессиями. В Казани прошли торжества по поводу «падения Порт-Артура арабизма», как назвал столицу республики приехавший на них Агамалы-оглы. «Яналиф» ввели ускоренными темпами. Хотя на словах предостерегали от поспешности. В общем, по классической формуле уже наших дней: «хотели как лучше, получилось как всегда». Но многие и тогда понимали, что «яналиф» — это только полустанок перед кириллицей, что и случилось в 1939 году, без всяких споров и дискуссий. Выступили два профессора, опубликовали письмо передовой учительницы и решение педагогического совета училища. Все они неопровержимо доказали преимущество кириллицы перед «яналифом». На том и порешили. Был издан Указ Верховного Совета ТАССР, узаконивший этот переход...

Галимджану Ибрагимову было еще отмерено судьбой после проигрыша своего последнего боя десять лет жизни. Он их провел в основном в Крыму. Боролся с болезнью. Пытался писать в периоды улучшения состояния. Внешние почести ему оказывались. Приезжали писатели. Материально не нуждался. Даже незадолго до своего ареста секретарь обкома Лепа подписал постановление о новом увеличении материальной помощи писателю. Но она уже не понадобилась. Остальное известно...

ЗАГАДКА ПОЭТА-СВЯЩЕННИКА ЯКОВА ТУРХАНА

В недалеком прошлом мы весьма настороженно относились к людям, успешно совмещавшим профессиональное служение Богу и связанные с этим пастырские обязанности с заметными достижениями и в других областях

жизни. Наиболее яркий пример тому — судьба блестящего хирурга, автора знаменитых «Очерков гнойной хирургии» профессора Войно-Ясенецкого, бывшего архиепископом в ряде епархий. Вот ведь какой парадокс: и «опиум» распространял, и одновременно спас от неминуемой смерти тысячи людей, в том числе и воинов Советской Армии. Вплоть до 70-х годов мы предпочитали умалчивать об этой духовной ипостаси профессора. А ведь это был не только виртуоз-хирург, но и великолепный оратор, мастер проповеди. Где-то в середине 50-х мне посчастливилось услышать страстную проповедь архиепископа Таврического Луки в Ялтинском кафедральном соборе... по рекомендации секретаря горкома Медунова, не без гордости сказавшего: «А ведь наш архиерей даже Сталина консультировал». Впечатление было потрясающим.

Может быть, и не в таких масштабах, но сказанное выше о талантливых людях, преуспевающих в разных сферах, относится и к Якову Турхану, священнику Серафимовской церкви, что была на ул. Достоевского, арестованному 10 марта 1936 года в Казани, и проживавшему, судя по ордеру, по улице Красная Позиция (Клыковка). Старожилы еще помнят одноэтажные домики, протянувшиеся вдоль железной дороги, однообразие которых вплоть до середины 50-х нарушало только здание общежития университета, построенное еще до войны. В одном из них и жил Турхан.

В наиболее авторитетном издании в области литературы — «Краткой энциклопедии» — в статье о чувашской литературе есть упоминание о том, что «Я. В. Турхан (1874—1938) на фольклорном материале создал поэму «Варуси (1905)». Еще несколько лет тому назад, когда я работал над статьей о репрессиях против духовенства в секретных фондах, мне встречалось это имя среди наиболее уважаемых священников из чуваш. Однако его вторая ипостась — поэтическая — стала мне известна несколько позднее из разговора с А. Е. Никифоровым — преподавателем

КХТИ, расспрашивавшим у меня о судьбе необычного священника. Я узнал, что о творческом наследии Турхана идут до сих пор споры, и если бы удалось найти его рукописи, возможно, они дали бы ответ на некоторые щекотливые вопросы.

Итак, в чем же обвинили священника, судя по подготовительным материалам, не вошедшим в следственное дело? Предварительно замечу, что после большого «дела» по обвинению нескольких десятков лиц в контрреволюционной деятельности (в их числе были и профессора Казанской духовной академии, и епископы, и монахи, и рядовые прихожане) других ширококомасштабных дел, связанных с духовенством, после 1930 года в Татарии не было. Хотя отдельных священнослужителей всех вероисповеданий на основе агентурных разработок, а то и списка подозрительных лиц, репрессировали. В основном через Особое совещание НКВД СССР, где не требовалось убедительных доказательств и решение принималось по заключению местных органов безопасности. Новая волна репрессий нахлынет позднее — в 1936—1938 годах, когда тысячи священнослужителей всех конфессий в числе других жертв пополняли ряды узников ГУЛАГА и штабеля трупов расстрелянных и умерших.

Дело Турхана было «обычным» и его не связывали с какой-то очередной мифической организацией. Предварительное обвинение — по статье 58, пункт 10. Означало сие — «контрреволюционная пропаганда» и каралось тюремным заключением сроком не менее шести месяцев, а в особо тяжелых случаях — расстрелом. Впрочем, по этому пункту высшая мера была крайне редка и «болтунам», как называли осужденных по 10-й в зонах (ибо обвинения в основном базировались на рассказанных где-то анекдотах или неодобрительных замечаниях о Советской власти, могли причислить даже реплику о пьянстве председателя колхоза или сельсовета), давали обычно до 37 года 3—5 лет лагерей. Обвинения строились, очевидно, на «агентурных»

данных, а, попросту говоря, доносах. Самым серьезным из них было распространение слухов о Сталине и его жене — сестре Кагановича. Личная жизнь вождей и любые сведения о ней были под запретом, но, судя по многочисленным прочитанным мной агентурным материалам, действительно, разговоры о том, что после смерти Аллилуевой Сталин сблизился с Розой Каганович, активно циркулировали с начала 30-х и фиксировались вездесущими «ушами». Мог об этом сказать где-то и Турхан. Кроме этого, в предварительных материалах указывалось, что он чувствует католичество и чуть ли не сам стал католиком. И, наконец, единственное, пожалуй, верное утверждение — близость к архиепископу Уфимскому Андрею Ухтомскому, который был связан с Казанью многими годами службы, и общение с клиром. Впрочем, когда начиналась дружба сельского священника — отца Якова — с крупным казанским иерархом, это не было крамолой, а, наоборот, свидетельствовало о высоком профессиональном уровне.

Но вернемся в прошлое, откуда было почерпнуто последнее обвинение. Родился Турхан в 1874 году в деревне Карабаево, ныне Яльчикковский р-н Чувашии (правда, в делах есть и другие дата и место рождения). Он поступил в Казанскую учительскую семинарию во время деятельности Ильминского, создавшего систему просвещения и русификации инородцев и в первую очередь чуваш и марийцев. Идут постоянные споры о месте Ильминского в духовной жизни народов Поволжья. Оценки самые разные, но надо признать, что человек он был весьма эрудированный, великолепно знавший языки, историю и быт многих народов России от Северного Кавказа до Сибири. Учили в семинарии весьма капитально и особенно в области словесности. Поэтический дар Турхана раскрылся еще в годы учения и был замечен педагогом. После окончания семинарии и недолгого учительства Турхан заканчивает миссионерские богословские курсы при Казанской духовной Академии и становится сельским священником в чу-

вашских деревнях Казанской губернии. Можно по-всякому относиться к этим сельским попам, бывали среди них люди самые разные, но большинство из них хорошо знало жизнь крестьян и оставило добрый след в душах прихожан. Турхан, очевидно, отличался еще и демократизмом, и в предреволюционные годы, когда он служил в деревне Чутьево, на него поступали жалобы и светскому, и епархиальному начальству за крамольные высказывания. К этому времени относится и его дружба с епископом Андреем, который в 1907—08 годах возглавлял в Казани братство Святителя Гурия — организацию, призванную укрепить христианскую религию в Поволжье и противостоять распространению ислама. В этот же период Турхан вполне профессионально занимался литературой, а его поэма «Варуси» известна и до сего времени.

После 1917 года он, как и многие священники, претерпел тяготы, но не был арестован. Во время раскола в православной церкви, связанного с преследованиями патриарха Тихона и попыткой государства через «обновленцев» и «живую церковь» подчинить себе религию, Турхан, очевидно, придерживался взглядов Ухтомского, отвергавшего компромиссы и осуждавшего митрополита Сергия Страгородского за полное послушание властям. Впрочем, особой активности не проявлял. В начале 30-х годов Ухтомский, обладавший большим влиянием среди иерархов Поволжья, даже предлагал ему сан епископа в Чувашии. Осторожный и наученный горьким опытом священник отказался от него, но дал согласие на переезд в один из отдаленных приходов Чувашии... В разгар этих приготовлений он и был арестован. Во время обыска у него были отобраны три рукописные книги, 15 общих тетрадей и блокнотов с записями на чувашском языке, очевидно, среди них находилось немало текстов литературного характера. Все они исчезли в недрах НКВД, скорее всего были сожжены, как и тысячи других материалов, отбираемых при арестах интеллигенции. Чего уж говорить о рукописях,

когда даже полный комплект газеты «Урал» — ценнейшей большевистской реликвии, — отобранный при обыске у редактора этой газеты знаменитой Хадичи Ямашевой, бесследно пропал в те же годы. Тогда же был рассыпан уже набранный «Коран» в одной из типографий Казани. Дело Турхана с точки зрения НКВД не представляло особой сложности. Священник охотно отвечал на вопросы, не видя в своем поведении какой-то вины. Напомним, что это было в 1936 году и физическое «воздействие» в таких изощренных и жестоких формах, каким оно станет через два года, еще не применялось. В мае дело было направлено на рассмотрение ОСО НКВД СССР, имевшего право назначать наказание вплоть до 8 лет заключения в лагерях и тюрьмах. В начале августа пришел приговор — высылка сроком на три года в Северный край. По тем временам наказание довольно мягкое. Однако на свободу Турхан не вышел, срок его наказания кончился в мае 1938 года — это время расстрельного беспредела зловещих «троек», приговаривавших к смерти за одно заседание сотни людей.

Для нас так и остается загадкой, что же содержали конфискованные рукописные материалы. Не исключено, что это были новые поэмы и стихи. Полагали, что Турхан пробовал свои силы и в прозе, но это уже вопрос, на который нет ответа... Сейчас совместно с Архивным управлением РТ готовится документальная выставка «Судьба духовенства», посвященная всем конфессиям. Полагаю, что найдет место в ее экспозиции и судьба Якова Турхана, учителя, священника и поэта.

ГОЛГОФА КАЗАНСКОГО МИТРОПОЛИТА

Духовный христианский мир Казани за годы существования православной общины не был обделен яркими личностями. Назовем хотя бы первосвятителей Гурия и Германа, протодьякона Гермогена, ставшего затем патри-

архом и принявшего мученическую смерть в смутное время в Москве, и др. Но и на их фоне выделяется духовной мощью и высоконравственным обликом Константин Илларионович Смирнов — Кирилл, коему судьба определила стать последним казанским митрополитом, и одним из самых реальных кандидатов в патриархи. Хотя служение Кирилла в Казани продолжалось недолго, — с перерывами для «отсидки» что-то около двух лет, но облик мужественного человека, не согнувшегося под тяжестью самых тяжелых испытаний, остался в сознании казанцев на долгие годы, обрстая легендами... Уважительно вспоминали его и мусульмане Казани... «Ак калфак» — «белый клобук» — был окружен почтительным вниманием татар, ибо меч репрессий обрушился на все конфессии. По «этапам» шли и муллы, и попы. Перед ЧК все были равны в своей мученической участи.

Несколько слов об обстоятельствах, которые предшествовали появлению Кирилла в Казани. В конце 1917 года в сан митрополита Казанского и Свияжского был возведен архиепископ Иаков, правивший епархией с 1910 года. Человек преклонного возраста, с плохим зрением, он отдавал много времени мирским увлечениям — занимался литературой и астрономией и, очевидно, просто устал от забот и тревог смутного времени. Во время «великого исхода» из Казани в сентябре 1918 года, боясь расправ со стороны красных, город покинули десятки тысяч его жителей, в основном интеллигенции. Среди них находились Иаков и другие священнослужители. Город был безлюден, и зловещая реплика одного из главных мастеров расстрельного дела и теоретика «красного» террористического беспредела чекиста Лациса о том, что Казань опустела и расстрелять-то некого, в какой-то мере отражала действительность. Однако Лацис быстро преодолел «дефицит», и чекисты без дела не остались. Впрочем, по законам гражданской войны с ее ожесточением с обеих сторон обвинения духовенству предъявить было легко: постоянно служились молебны во

всех приходских церквях о даровании победы христоролюбивому учредилловскому воинству, завершившиеся на Ивановской площади всенародным молебном с участием митрополита Иакова... При взятии Казани под горячую руку были расстреляны все 11 монахов Зилантова монастыря во главе с архимандритом Сергием, в Свяжске был арестован и расстрелян находившийся долгие годы на покое престарелый епископ Амвросий...

Казань практически оказалась без священнослужителей, и только в конце сентября вернувшийся из Москвы с Поместного Собора ректор Казанской Духовной академии епископ Анатолий (Андрей Григорьевич Грисюк) приступил к восстановлению церковных приходов. Центром церковной жизни стали монастыри, постепенно возвращавшиеся священники снова возглавили ряд приходов.

Близившееся окончание гражданской войны несколько смягчило ограничения на церковную жизнь, хотя власти и держали ее под неослабным негласным контролем. Известны драматические события, связанные с избранием и дальнейшей трагической судьбой патриарха Тихона. В начале 1920 года еще до наступления пика противостояния с властями патриарх предпринимает эффективные меры по оживлению епархиальной жизни в крупнейших регионах России, направляя в них наиболее преданных вере и авторитетных иерархов. Ввиду отказа Иакова вернуться в Казань из Сибири, куда его занесло военное лихолетье, митрополитом в эту крупнейшую епархию в Поволжье, имевшую сотни приходов, более 15 обителей, в том числе два ставропигиальных монастыря и Духовную академию, был назначен Кирилл¹. До этого он был архиепископом Тамбовским и очень недолгое время митрополитом Кавказским (местопребывание в Баку) и пользовался полным доверием Тихона, видевшего в нем одного из своих бли-

¹ Иаков стал митрополитом Томским и Алтайским. Ставропигиальный — подчиненный непосредственно Синоду и Патриарху.

жайших сотрудников. Назначение состоялось в конце апреля, однако в силу целого ряда причин нецерковного свойства разрешение на въезд в Казань было дано только в июне. Первая встреча верующих с митрополитом была весьма впечатляющей: когда крестный ход в честь иконы Казанской божьей матери — одной из главных святынь России, — возглавляемый Анатолием, приблизился к входу в Казанский монастырь, на паперти собора его встретил величественный седой старец. Это был Кирилл, приехавший за несколько часов до этого и прямо с вокзала проследовавший в монастырь. Новый митрополит буквально вдохнул жизнь в угасавшую епархию. Будучи весьма требовательным и подчас суровым, в общении с прихожанами он был прост и доступен. Умел без ущерба для достоинства тяжущихся улаживать конфликты. При нем состоялся ряд новых назначений, в частности, архимандрит Иосаф Удалов был возведен в архиереи с наречением в епископа Мамадышского. Настоятелем Раифского монастыря стал Феодосий, ранее бывший настоятелем Макарьевской пустыни. Во время ежедневного утреннего хождения Кирилла из Казанского монастыря, где была его келья, в Ивановский, на хорах которого временно находилось епархиальное управление, к нему безвозбранно обращались прихожане. Митрополит появлялся на улицах в скромном духовном одеянии, и о его высоком духовном сане свидетельствовали только нагрудная панагия и белый клубок.

Вскоре после прибытия в епархию над митрополитом начали сгущаться тучи. Это были и мимолетные замечания доброхотов, не советующих очень уж активно общаться с прихожанами, и осторожные напоминания некоторых иерархов об опасности постоянного именованя патриарха «отцом нашим духовным», и многое другое. Сейчас трудно без внимательного анализа следственного дела судить о том, насколько Кирилл привлекал внимание местных чекистов, и насколько это «внимание» предопределялось

печально знаменитым церковным отделом ВЧК, возглавляемым Гучковым. Полагаю, что активность Кирилла беспокоила местные власти, но решение об его аресте принималось в связи с делами более масштабными, и, в первую очередь, связанными с патриархом.

Арест митрополита произошел в ночь на 8 августа в покоях Казанского монастыря. Через день он был в сопровождении двух конвоиров отправлен в Москву и водворен в Таганскую тюрьму, где тогда концентрировалось духовенство. Судя по всему, шло «изъятие» из епархий наиболее авторитетных и преданных Тихону лиц. Это вскоре облегчило временное торжество «обновленцев», «живоцерковников» и иных «репильных» по отношению к властям церковных группировок, некоторых участников которых приходская молва считала прямыми агентами ЧК. Судя по воспоминаниям дочери одного из крупнейших общественно-церковных деятелей России А. Д. Самарина, бывшего обер-прокурором Синода, а затем кандидатом в патриархи (кандидатура Тихона, судя по ряду источников, прошла с перевесом весьма небольшим), рядом с камерой ее отца находилась и «тюремная келья» Кирилла. Практически никто из заключенных не знал ни точной формулировки обвинения, ни предполагаемого срока. Администрация ограничивалась расплывчатыми формулировками — от «до конца гражданской войны» и «до победы мирового пролетариата над мировым империализмом». Это было еще начало формирования советской «пенитенциарной» системы, тюремные условия и нравы в Москве, особенно когда это касалось крупных деятелей, были сравнительно либеральны. Таганскую тюрьму посещали различные делегации, в том числе и зарубежные. Происходили в связи с этим и комические эпизоды. Когда у заключенных священнослужителей одна из прогрессивных зарубежных дам осведомилась о сроках и узнала, что «до победы мирового пролетариата над мировым же империализмом», она недоуменно спросила: «А когда же это

будет, месье?». Увы, ни Кирилл, ни другие узники не смогли дать любопытной француженке исчерпывающий ответ. Дало его уже наше время, через 70 лет тревог и мучений народа. С помощью надежных лиц (в том числе и из персонала тюрьмы) митрополит поддерживал постоянную связь с епархией. Доходили до него и вести от патриарха. В Казани обстановка осложнялась, на епархию обрушились новые удары. Самым болезненным из них был арест в апреле 1921 года управлявшего в отсутствие Кирилла епархией архиепископа Анатолия. Всю недюжинную энергию после практического закрытия духовной академии, ректором которой он был, Анатолий отдавал делу устройства приходов. В феврале он совершил поездку по сельским приходам Мамадыша, Кукмора и Лаишева, по его инициативе были основаны в Казани богословские курсы, на которых преподавали профессора и доценты академии. Все это серьезно обеспокоило местные власти. Архиепископа обвинили в попытке восстановить духовную академию¹. В начале мая и Анатолий пополнил ряды «бутырских сидельцев». И митрополита, и архиерея волновали неутешительные вести из Казани. Подозрительную активность развили в городе «обновленцы». Отрешенный патриархом от пензенской епархии за проступки, несовместимые с саном, Андрей Путята сделал попытку самочинно провозгласить себя главой казанской епархии. Были различные версии «набега» Путяты — от прямого задания ЧК до обыкновенного авантюризма. В июне во время встречи на Ивановской площади чудотворной иконы на процессию наехал автомобиль. Правда, жертв не было, но духовенство обвинили в провоцировании беспорядков. В конце лета епархия понесла новые невосполнимые утраты — из Казани были высланы близкие к епархиальным

¹ Особое раздражение властей вызвало избрание находившегося под арестом Кирилла почетным профессором КДА. Это решение было утверждено патриархом Тихоном.

делам и заступники церкви руководитель Главархива профессор И. Стратонов и ректор университета профессор А. Овчинников. Стратонову, кроме близости к Кириллу, припомнили активное участие в спасении от конфискации местными властями сокровищ, имеющих огромную культурную ценность, находившихся в кафедральном соборе. После обращения в Москву группы профессоров во главе со Стратоновым и Дульским ценности собора по указанию Луначарского были переданы в музей. Тем временем, наконец, объявили приговор Кириллу — ссылка на север «до окончания гражданской войны». Однако митрополиту Кириллу было еще раз суждено увидеть Казань.

В конце 1921 года Кирилл был освобожден досрочно в связи с очередной амнистией по случаю 4-й годовщины Октября. Очевидно, включая его в список амнистируемых, власти посчитали, что митрополит отойдет от активной церковной жизни, да и возраст, близившийся к шестидесяти, не располагал, как предполагали в ЧК, к ней. Был освобожден почти одновременно и Анатолий. Однако в Казань он не вернулся и был направлен Тихоном в Самарскую епархию.

В отличие от первого приезда, о возвращении Кирилла стало известно заранее, и встреча была торжественной... Приехавшего в ночь с 4 на 5 января 1922 г. митрополита встретили колокольным звоном и крестным ходом из Богоявленской церкви. Вскоре на него обрушились новые заботы и тревоги. Теперь уже общеизвестны потаенные причины бурной кампании по изъятию церковных ценностей, прошедшей в стране в начале 1922 г. Из многочисленных документов, в том числе и писем Ленина и Троцкого, известно, что помощь голодающим была не самой главной причиной ограбления храмов. В Казанской епархии благодаря мудрости и умению идти на компромиссы без ущерба для веры, проявленному митрополитом, изъятие ценностей обошлось без эксцессов и жертв. Не было поводов и для арестов духовенства. Потери были однако

значительные: только в кремлевских храмах были изъяты серебряные царские ворота, серебряные ризы и лампы, кресты и панагии. Всего же по республике было сдано около 400 пудов церковного серебра. Однако главные исторические ценности к этому времени уже находились под присмотром комиссии по охране памятников, и не подлежали конфискации.

В мае на церковь обрушились новые удары, начавшиеся с ареста патриарха Тихона. В провинцию были направлены целые «десанты» из «живоцерковников» и «обновленцев», призванных разрушить старые церковные структуры и облегчить низложение патриарха. В июне с помощью местных властей и ГПУ был организован в актовом зале университета диспут о судьбах церкви с участием одного из лидеров «живой церкви» Пельца. В своем вступительном слове Пельц громил патриарха, призывал к радикальным реформам, включая и разрешение на женитьбу высшим иерархам монашеского чина (архимандритам и архиепископам), заявив при одобрительных репликах части зрителей: «человеку нельзя без женщин, и давайте вводить это явочным порядком». После эмоционального призыва ученого священника А. Никифорова к присутствующим не участвовать в этом позорном балагане, бросающем тень на церковь, зал почти опустел, и диспут практически сорвался. Никифорову во избежание неприятностей посоветовали тайком покинуть город, что он и сделал.

В июле был объявлен новый диспут в Красноармейском театре на Лядской. На этот раз он был подготовлен более серьезно: от «живой церкви» выступал местный священник Варлаамовской церкви Степан Спиринов, его оппонентом — отец Александр Лебедев из кафедрального собора Казанского монастыря. Дискуссия была корректной, и оскорбительные выпады в адрес патриарха не допускались. Исход диспута предрешило появление в зале Кириллы. При этом все присутствующие и верующие, и атеисты — встали и почтительно молчали, пока митрополит за-

нял свое место в ряду. Митрополит все более активно участвует в восстановлении церковных структур: с его участием при самом широком стечении народа происходит встреча чудотворной иконы в Кремле, возобновляется постройка в иночество в Ивановском монастыре. Широкий резонанс вызвало участие Кирилла в обряде венчания дочери казанского профессора с американцем из миссии АРА, принявшим православие. Обряд происходил в Варваринской церкви при большом стечении народа. Становилось ясно, что при огромном нравственном авторитете главы казанской епархии никакие марионеточные течения в православии успеха здесь иметь не будут. В мае был арестован патриарх Тихон, и власти узнали, что Кирилл был назван им как один из наиболее вероятных кандидатов в патриархи в случае его ухода из жизни. Кандидатура Кирилла, судя по информации, представленной ГПУ в Политбюро и Сталину, могла встретить поддержку большинства иерархов православной церкви. Все это вместе взятое, вероятно, предопределило судьбу митрополита. Ровно через два года после первого ареста, в августе 1922 года, Кирилл был арестован снова, и через два дня занял уже привычное место на Таганке. Шел 1922 год, меры наказания были уже «кодифицированы», и формулировки типа «до окончания войны» или «до победы мировой революции» отпали. Постановление судебной коллегии ОГПУ при НКВД РСФСР по делу К. И. Смирнова (он же Кирилл) гласило: выслать за антисоветскую агитацию в Коми-Зырянскую автономную область». Срок в первой редакции приговора указан не был. Но устно было сообщено: «не менее трех лет». Так началось для митрополита «зырянское изгнание». Из активной церковной жизни был выведен, пожалуй, наиболее влиятельный и авторитетный иерарх, в котором угасавший патриарх видел своего «местоблюстителя» и преемника. Человек, который мог пойти на определенные компромиссы с властями, но только до четко очерченного предела, за которым уступок не суще-

ствовало. Во всяком случае, «свидетельствовать» перед мировой общественностью о полном благолепии в церковной жизни и мироволении властей к ней Кирилл, очевидно, не стал бы. Ни в случае избрания патриархом, ни в случае «местоблюстительства». Дальнейшая земная жизнь Кирилла не связана с Казанью, хотя во время его мученического пути многое о ней ему напоминало.

Известно, что после обработки со стороны властей, и видя скорбный путь тех, кто не соглашался на компромиссы, похожие на капитуляцию, некоторые оставшиеся на свободе или выпущенные на нее православные иерархи подписывали документы о положении религии в СССР, мягко говоря, несколько приукрашивающие действительность. Впрочем, это была участь всех конфессий без исключения—и мусульман, и иудаистов и др., и бог им судья, не мы.

Имя Кирилла как наиболее достойного кандидата (вторым патриарх называл митрополита Агафангела) снова появляется на устах после кончины Тихона. Однако власти предпочли видеть местоблюстителем освобожденного из ссылки митрополита Сергия Страгородского. Фигуру сложную и противоречивую, вызвавшую неоднозначные отклики в церковной среде. Нет единства в оценке его позиции и среди историков, как «мирских», так и церковных. Диапазон расхождения мнений велик: от «спасителя церкви» до ее «разрушителя».

Об отношении «князей церкви» к митрополиту Кириллу можно судить по уникальному документу. К 1926 году Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОИ) стал местом наибольшей концентрации высших иерархов православной церкви. Причем, наиболее принципиальных и непримиримых к «воинствующему безбожию». Их неофициальным главой был архиепископ Троицкий Илларион, член Поместного Собора, избравшего Тихона патриархом. Один из самых молодых архиепископов (он был возведен в этот сан в возрасте 33 лет в 1920 г.) Илларион сохранял

верность Тихону и после его кончины, заявив в личном разговоре: «Сгнию в остроге, но патриарху не изменю». В ночь на 7 июля 1926 года в ветхом кладбищенском храме Св. Онуфрия на Соловках состоялась первая и последняя заутреня в лагере. Службу возглавил Илларион, присутствовали на ней более 500 духовных лиц и несчетное количество мирян-заключенных. После заутрени собравшиеся на ней епископы осуществили путем подписей избрание патриарха и сформулировали свою позицию в документе, направленном властям, полное название которого «Памятная записка соловецких епископов, представленная на усмотрение советского правительства» — в популярной литературе его обычно именуют «Послание соловецких архиереев». В этом трагическом документе с достоинством и непримиримостью к творимым властями бесчинствам по отношению к церкви говорилось — «В задачу настоящего правительства входит искоренение религии... За последние годы не было ни одного судебного процесса, на котором были бы доказаны политические преступления клира. Несмотря на это, многочисленные епископы и священники томятся в тюрьмах, ссылках и на принудительных работах... Причиной этого является задача искоренения религии...» В письме содержалось обращение ко всем епископам «избрать на патриаршество Преосвященного Кирилла, томящегося в Зырянском изгнании»¹. В числе подписавших это письмо мы видим и известного нам по Казани Анатолия (Грисяка), ставшего после Самары митрополитом Херсонским и Одесским...

Почти все подписавшие это послание погибли в 1937—38 гг.

Кириллу, находившемуся в ссылке в Устье-Сысольске, было ясно, что он обречен, о чем он неоднократно говорил собратьям по несчастью. Хотя ему и предлагали облегчить

¹ См.: Ильинская А. Соловки. Документальная повесть. Лит. учеба, март-апрель 1991.—С. 70.

свою участь путем поддержки позиции митрополита Сергия, Кирилл отказался пойти на сделку с совестью, сказав, что отдает жизнь в руки Бога. Вместе с тем есть версии, говорящие о том, что в последние годы он с большим пониманием относился к позиции Сергия, стремившегося в период тотального террора спасти хотя бы «островки веры» в бушующем море агрессивного атеизма, инспирированного государством. Дальнейшая жизнь, если можно назвать ею мученический путь митрополита, протекла в тюрьмах и ссылках без единого хотя бы кратковременного перерыва. В 1927 году, по истечении срока высылки, по тому же обвинению Особое совещание при коллегии ОГПУ высылает его еще на три года в Сибирь. В 1934 году последовала ссылка в Казахстан на те же три года. Срок истекал осенью 1937 года. Это было время расстрельного беспредела, когда от наплыва смертников захлебывалась, не успевая рассматривать даже фальсифицированные дела, машина репрессий — военные трибуналы, военные и спецколлегии, Особые совещания. О масштабах их «работы» можно судить хотя бы по такому примеру: 9—10 мая 1938 года выездная коллегия Верховного Суда СССР под руководством Матулевича приговорила в Казани к расстрелу более 100 человек из Татарии, 18 из Марийской республики, несколько десятков получили от 10 до 25 лет. Для еще большего ускорения были введены «тройки» в областях и республиках, которые за одно заседание по справке НКВД из трех-четырёх строк приговаривали к расстрелу без всякого вызова на заседание, за один «присест» по сто и более человек.

20 ноября 1937 года в Чимкенте постановлением подобной «тройки» УНКВД по Южно-Казахстанской области за «участие в контрреволюционной организации церковников» был приговорен к расстрелу Константин Илларионович Смирнов. Расстрелян в тот же день. Так закончился земной путь митрополита Казанского и Свияжского Кирилла, а лет ему было тогда 74.

Истории православной церкви не суждено было иметь патриархом Кирилла. Работники архива ФСБ РФ, которые с пониманием отнеслись к моей просьбе немного приоткрыть некоторые неизвестные страницы жизни Кирилла после Казани, передали и фотографию, которую вы видите... Снимок сделан где-то перед отправкой в Казахстан. Когда видишь этот одухотворенный суровый облик человека, за спиной которого почти пятнадцать лет заточения, вспоминается Аввакум. А может быть, смотря в объектив, Кирилл уже провидел скорый конец земной юдоли. Этот портрет займет достойное место на выставке документов «Судьба духовенства», которую готовят работники архивов РТ и энтузиасты общества историков-архивистов. Она расскажет о драматической судьбе и мулл, и попов, и священнослужителей других конфессий.

Полагаю, что меня не обвинят во вмешательстве в дела «веннадлежащие», и хотел бы сказать, что сейчас, когда православная церковь называет имена новомучеников, пострадавших за веру, в их числе достойно было бы упомянуть и имя митрополита Казанского и Свияжского Кирилла, не вступившего в сделку с гонителями веры.

СИРИН: ПРЕРВАНЫЙ ВЗЛЕТ

Впервые я узнал о нем, изучая следственное дело Хади Атласова. Это не означает, что фамилия его была для меня неизвестна. Готовясь к лекциям о культурном строительстве, неоднократно перелистывал справочник «Писатели Советского Татарстана», где в числе других малоизвестных поэтов была и справка о нем: «Б. Сирина (Батыршин С. Х.). Родился в 1896 г., дальше обычная биография крестьянского парня, учителя, чей литературный талант реализовался уже в Казани... Довольно частые для конца 20-х — начала 30-х публикации: вышло 10 сборников. Последний — «Фруктовый сад», — читатели увидели в 1933 го-

ду... Затем перерыв почти в тридцать лет, до появления сборника в 1959 году». Было также сказано, что воевал, был контужен. После армии работает рядовым колхозником и «пишет стихи, воспевая в них красоту и величие социалистической Родины, счастье советских людей». Не стал бы упрекать автора за столь гладкое и оптимистическое изложение биографии поэта. Шел 1970 год, сталинизм, получивший, казалось бы, сокрушительный удар на XX съезде, снова реанимировался в идеологической сфере, и те крохи правды, которые прорывались в начале 60-х, начинали забываться, и даже горестные даты смерти от пули в подвалах НКВД в годы большого террора «трансформировались», согласно официальной инструкции, в гладкие справки «умер от болезни», причем, как правило, указывался год, далекий от истины... Не отсюда ли мифы и легенды о том, что видели кого-то в лагерях, хотя он уже несколько лет как лежал в безымянной могиле.

Но вернемся в делу Атласова. Во время одного из многочисленных допросов этого выдающегося татарского мыслителя и ученого 25 октября 1936 года ему зачитали донесение секретного осведомителя, подтвержденное свидетелями. Из него следовало, что в феврале 1935 года поэт Сирин на квартире Атласова прочитал антисоветские стихи «Ана», «Анама», «Поднимайте бокалы» и какую-то эпиграмму на Сталина. Ниже мы подробнее расскажем об этих стихах, а вот насчет эпиграммы информаторы и свидетели говорили сдержанно, всячески подчеркивая, что плохо расслышали ее. Тоже вполне понятно. Попробуй заяви, что слушал, да еще запомнил! Сразу же последует вопрос: а почему сразу же не сообщил «кому следует»?

Атласов заявил, что смутно помнит этот эпизод. А вот Сирина знает и считает его самым выдающимся из молодых поэтов, но его увлечение футуризмом не одобряет. У следователей не было желания втягиваться в литературоведческий спор о том, хорош или плох футуризм, и эпизод о чтении Сирином стихов в деле Атласова заметно-

го места не занял. А текст эпиграммы на Сталина был ими получен из неожиданного источника. Но об этом тоже чуть позже.

Итак, что же произошло в жизни Сирина-Батыршина между 1933 и 1959 годами. О фронте уже известно. Честно отвоевал, был не единожды контужен. Но до этого ему пришлось пройти испытания, перед которыми блекнут не легкие фронтовые годы.

Начнем с краткой характеристики общественно-политической ситуации в стране и, естественно, в нашей республике. Репрессии против интеллигенции, начавшиеся в организованном порядке с «шахтинского дела» и процесса «Промпартии» в конце 20-х — начале 30-х гг., практически не прекращались вплоть до их резкого, взрывного взлета в 1937 году, получившего название «большой террор». В Татарстане, кроме дела «султангалиевцев», ставшего своеобразным прологом «большого террора», в начале 30-х репрессировали большие группы духовенства всех конфессий, были созданы дела «Госиздата», «Яңа китап», «сагидуллинщина», «джидигян» и другие, в ходе разработки которых арестовывались многие видные интеллигенты, писатели, ученые, журналисты, издатели и др. Правда, нравы в следственных изоляторах были еще сравнительно сносные: избиения практически не применялись, если не считать несколько «тычков» сгоряча. Но угрозы ареста близких, ухудшение режима содержания, различные провокации были достаточно эффективным методом ломки сопротивления. Террор усилился после убийства Кирова, одного из самых загадочных в XX веке. Если даже не доказана прямая причастность Сталина к этой «разборке», политическую выгоду, позволившую еще более ужесточить режим, он, конечно, получил.

Вот в этой ситуации, когда политическая атмосфера была буквально предгрозовой, и за свою судьбу дрожали и высокопоставленные функционеры, и рядовые граждане, в августе 1935 года в Казани была арестована группа, как

сказано в следственном деле, «литературных работников». Хотя не все они будут фигурировать в нашем дальнейшем рассказе, назовем их поименно: Батыршин Сирин, Айдаров Асгат, Ризванов Габдулла, Кулеев Ибрагим и арестованные чуть позже Хакимов Исмагил-Энгельс и Якубов Ахмет. В предварительных материалах оперативного характера они обвинялись в ведении антисоветской пропаганды, сочинении и распространении антисоветских и порнографических произведений. Впрочем, последнее было настолько «притянуто за уши», что в дальнейшем не фигурировало. При тогдашнем лицемерном «совпуризме» под эту рубрику можно было подвести все, что угодно. Вон даже Пушкина при переводе на татарский тогда подправляли, и знаменитые строфы «где-же кружка» уточняли: «с чаем». А вот с антисоветчиной дело было сложнее. Особенно опасно было положение Хакимова, который, судя по доносу одного из своих завистливых «коллег», выражал желание «убить Сталина». А Ризванов, судя по тому же «источнику», вел фашистскую пропаганду.

Вначале дело велось ускоренным порядком и, очевидно, представлялось работникам ОГПУ весьма простым. Тем более, все допрошенные свидетели охотно подтверждали полученные агентурным путем сведения, а некоторые даже кое-что прибавляли от себя. Как и следовало ожидать, основные обвинения были предъявлены Сирину как наиболее крупной и влиятельной фигуре в этой группе. Один из свидетелей заявил, что Сирина многие считают прямым наследником Тукая, Амирхана, Исхаки и Дэрдмента. И после смерти Такташа, пожалуй, все остальные поэты по сравнению с Сирином — второй эшелон. И это, добавил он, вызывает зависть и озлобление.

Если отбросить прямые наветы и сведения некоторыми «инженерами человеческих душ» из молодых личных счетов с арестованными, то вырисовывается довольно любопытная картина состояния татарской литературы и ее «табели о рангах», особенно в поэзии. Наше официальное

литературоведение приучило нас к тому, что в 30-е годы в Татарстане было всего несколько известных имен, которые и дальше вписывались в канонизированную историю литературы. Они были разные люди, со своими человеческими достоинствами и слабостями, да и поступками, некоторые из которых порядочными не назовешь. Но такова жизнь, и будем судить о них прежде всего по стихам и прозе. Для Сирина в этом официальном поминальнике места почти что нет. Ну, а в реальности? Полагаю, что по силе таланта, по бесстрашию и гражданской позиции, умению затронуть самые болезненные струны общественной жизни и человеческих судеб он был, пожалуй, до своего ареста наиболее значительной фигурой в татарской поэзии. Факты?— В 1934—1935 гг. его небольшая поэма «Ана» стала поэтическим реквиемом судеб тысяч и тысяч, загубленных коллективизацией. Никто ни до него, ни после не создал такую пронзительную вещь. Ее герой, молодой коммунист, видя страдания своих близких, односельчан, матери, бросает партбилет. Горечью пронизанны его последние слова: «Эх, Совет, почему это так!». Поэму он читал среди узкого круга, однако вскоре ее машинописный вариант, записанный по памяти одним из литераторов, оказался в ОГПУ. Критическими по отношению к существующей власти были сочтены стихи «Поднимайте бокалы», «Паганини» и ряд других. Верхом антисоветчины была сочтена эпиграмма на Сталина. Правда, там нет личной уничижительной характеристики вождя, как в известной эпиграмме Мандельштама, не обыгрываются ни тараканы усы, ни «широкая грудь осетина». Но с поэтической точки зрения она, пожалуй, даже более саркастична. Вот ее смысл по подстрочнику: «Соловей, брось привычные песни и слова, а в каждой трели хвали Сталина. Будешь замечен и станешь «заслуженным соловьем СССР». Едко, ничего не скажешь. Не в бровь, а в глаз некоторым тогдашним поэтам, в том числе и татарским. В разряд антисоветских были отнесены и дерзкие стихи о

привилегиях для начальства, обмане народа обещаниями коммунизма. Где-то Сири́н прибегал и к эзопову языку. В стихотворении о своем «выступлении» на международной конференции против фашизма он, критикуя другую страну, сделал ее черты и порядки весьма узнаваемыми — сквозь строки «просвечивал» Советский Союз. Разлом общественной жизни, тяготы коллективизации и индустриализации проходили через сердце поэта, его совесть не могла мириться с приспособленчеством многих собратьев. Отсюда — гневные строки, обращенные к собеседнику: «Не называй меня поэтом. Позор обманывать народ». Сказанное выше не означает, что поэт был только обличителем. Немало было у него и тонкой лирики, строф, навеянных родной природой. Но ОГПУ по вполне понятным причинам они не интересовали...

В различного рода оперативных данных, смахивающих на обыкновенные доносы, зафиксированы весьма откровенные оценки Сириным советской действительности. Если отбросить некоторые явно придуманные сведения, взгляды Сирина можно свести к следующему: коллективизация была начата преждевременно и проведена бездарно, убийство Кирова — это «махинация ОГПУ по приказу Сталина»; литература, выполняющая социальный заказ властей, — безнравственна; Советская власть, обещавшая социальную справедливость, практически восстановила новый капиталистический строй с классом господ. Много ли мы можем назвать литераторов, столь честно и бесстрашно оценивавших происходящее? Даже в общесоюзном масштабе. Не говорю уж о татарских.

Думаю, что сегодняшний читатель, привыкший к гласности, а иногда и к разнузданной безнаказанности современных оценок, может сказать: а что тут смелого? Мы наши власти сейчас и похлеще оцениваем... Но не будем забывать, что тоталитарное государство в 30-х стояло на прочном фундаменте страха граждан. Не только за прямую критику властей, но даже за весьма безобидные вещи

в те годы можно было получить 58-ю статью. И, конечно же, по тем временам Сири́н в своих высказываниях проявлял смелость, граничащую с безрассудством. Чего стоит их диалог с Атласовым, когда тот заявил, что под видом коллективизации мужику вбили дубовый клин в задницу, а Сири́н добавил, что видел тот клин, и долго мужик не вытерпит — «или — или».

Обвинения других членов группы были не так обширны, но тоже весомы. Наиболее серьезные из них базировались на доносах некоторых собратьев по перу. Вот только один пример: «Директору Таткнигоиздата от товарища ... Со слов писателя ... ваш служащий Хакимов Исмагил имеет намерение-желание убить тов. Сталина. Счел своим долгом довести об этом до вашего сведения. 3 мая 1935 г. Подпись». Это записка из дела. Правда, на очной ставке писатель, на которого ссылался автор записки, наотрез отказался от приписываемых ему слов и назвал того клеветником и подлецом. Но дело было сделано. Отсюда и обвинения Хакимова в намерении совершить теракт. Знакомая с материалами тех времен, с пониманием относишься к словам А. Н. Яковлева, долгое время возглавлявшего процесс реабилитации, о том, что самое страшное в моральном плане: уходят образы незапятнанных людей — грань между палачом и жертвой была зыбкой. Нередко тот, кто бестрепетной рукой отправлял в подвалы НКВД товарищей по партии, писателей, ученых, разоблачал их с трибуны, вскоре сам оказывался там же. Правдиво написал об этом в своих уникальных мемуарах бывший мэ́р Казани Павел Аксенов на примере ряда видных партийных идеологов и историков Татарстана. Сожалеть бы надо об их судьбе и роли, которую они сыграли, готовя идеологическое обоснование 37-го года, а не «гордиться», как это заявила недавно дочь одного из таких «боевиков» идеологического фронта. А гордиться без всяких кавычек могут дети и внуки таких, как Сири́н, Айдар и других, не лгавших и своею правдой вызывавших огонь на себя в те страшные годы.

Дело Батыршина и других было завершено в конце октября и 11 ноября в Москву фельдсвязью отослали следующий документ: «УГБ ТАССР направляет в СПО (секретно-политический отдел) ГУГБ НКВД СССР следственное дело по обвинению Батыршина Сирина, Хакимова по статьям 58-10-11,121 Ризванова, Кулеева, Айдарова — 58-10-11, Якупова — 58-12 на рассмотрение особого совещания НКВД СССР. Начальник СПО — Веверс, начальник 3-го отделения СПО — Марголин». Напомним, что приведенные подпункты статьи 58-й означали призыв к свержению Советской власти и создание контрреволюционной организации, и влекли за собой самые строгие меры, вплоть до расстрела. Однако ответ из Москвы, пришедший в начале декабря, был обескураживающим: суть сводилась к тому, что дело в таком виде не может быть рассмотрено. Нет веских доказательств фашистского терроризма обвиняемых и агитации за создание повстанческих групп. В переводе на общедоступный язык это означало: «допустили брак в работе, и на высшую меру, которую предусматривает обвинение, дело явно не тянет». Подписан документ заместителем начальника СПО ГУГБ НКВД СССР комиссаром госбезопасности Люшковым. Кстати, фигура, потом ставшая «знаменитой». В 1938 году депутат Верховного Совета СССР Г. С. Люшков, став начальником управления НКВД на Дальнем Востоке, сбегит к японцам, выдаст нашу агентурную сеть в Маньчжурии, и уже в 1945 году, накануне краха Квантунской армии, будет расстрелян новыми хозяевами. Слишком много знал...

Следствие было продлено, а татарский НКВД получил замечание за некачественную работу.

Весь декабрь и первую половину января 1936 года шли интенсивные допросы свидетелей и сослуживцев обвиняемых. Всего было вновь допрошено более 20 человек. Ничего нового они добавить не могли. Ни попытка совершения покушения на Сталина, ни организация повстан-

ческих групп доказаны не были, и в новый вариант обвинительного заключения не вошли. Это, еще раз подчеркну, были времена сравнительно «мягких» допросов. В 1937 году после зверских избиений и «выстоек» на ногах без пищи и сна признавали и не такие обвинения. Тех, кто не «признавался», забивали насмерть. А в 35-м можно было еще возражать следователям. Да и не только им. В деле есть трагикомический документ: младший надзиратель тюремной больницы, куда попал А. Айдар, пишет своему начальству рапорт — «Доношу до вашего сведения, что Айдаров во время моего дежурства обзывал меня всячески нецензурными словами, форооном, гадом и по матушке при всех в палате». Что уж там у них произошло, неизвестно, но через два года за «фороона» (фараон) можно было бы схлопотать дополнительный срок.

В начале февраля 1936 года из Москвы пришло решение Особого совещания. Оно гласило: за организацию контрреволюционной борьбы на литературном фронте приговорить: Кулеева И. В., 1885 г. р., к 3 годам ИТЛ в Карлаге, Ризванова Г. И., 1892 г. р., к 3 годам ИТЛ в Карлаге, Хакимова И.-Э. К., 1906 г. р., к 5 годам ИТЛ в Карлаге, Батыршина С. К., 1896 г. р., к 5 годам ИТЛ в Сиблаге, Айдарова А. Х., 1906 г. р., к 3 годам ИТЛ в Сиблаге, Якупова А. М., 1911 г. р., за недонесение о контрреволюционной деятельности к 1 году гласного надзора. Приговор по тем временам довольно «мягкий». В нем нет «террора» и «повстанчества».

Судьба «подельников» Батыршина сложилась по-разному. Кулеев умер в лагпункте Долинка около Караганды в 1937 году, Хакимова добил туберкулез там же в 1940 году. Батыршин и Айдаров после отбытия наказания участвовали в Великой Отечественной войне. Оба выжили, хотя неоднократно получали ранения, контузии и награды. Можно считать, что их судьба сложилась счастливо: дважды прошли по «сират купере», избежали гибели в бездне. Однако поэтическая судьба Сирина была сломана. Он жил

еще долго, но поэт в нем угасал. Видевший его в 60-х гг. Рафаэль Мустафин рассказывает, что пасечник Батыршин был весьма удивлен тому, что помнят еще поэта Сирина. Асгат Айдар после войны снова вошел в литературу, сохранил свой озорной нрав, но и Сиблаг, и ранения бесследно не прошли. Умер он в возрасте 53 лет.

Прочитанное вами — не только дань памяти талантливым сынам татарского народа, чей блестящий взлет был прерван репрессиями. Оно и предостережение. Мы сетуем на наши сложные дни, на наши неурядицы. Иногда даже слышны голоса: «а вот тогда был порядок». Да, был! Но какова цена этого порядка? Не надо думать, что в случае восстановления диктатуры и ликвидации суверенитета Татарстана, о чем некоторые тишком мечтают, жернова репрессий минуют вас, ваших детей и внуков. Разного рода Жириновские, Руцкие, Федоровы и иже с ними не пощадят никого. Колокол будет звонить по всем. Некоторые черты такого «будущего» с его «танкократией» и воинствующим шовинизмом мы увидели в трагедии Чечни. И надо бы нам поэтому ценить и наше время, при всех его сложностях, и то, что сделано в Татарстане его народом, депутатами и осуществляющим их волю Президентом.

РОКОВАЯ ОШИБКА ПЕРЕВОДЧИКА

Печатное слово, очевидно, неизбежно связано с ошибками и опечатками. Началось все это, наверное, с Гутенберга. И хотя с ними постоянно и упорно боролись и борются до сих пор, но особо видимых успехов не наблюдается. Что-то вроде борьбы с тараканами, перед которыми капитулировал даже Пентагон, отказавшись тратить миллионы на это бесполезное дело. Правда, у некоторых знаменитых издателей были попытки путем огромных затрат выпустить книги без единой ошибки. Но такое не получалось даже у Сытина. Современная система

компьютерного набора вроде бы уменьшает вероятность «огрехов». Но судя по тому, что читаем, только уменьшает. У книжных редакторов и наборщиков, корректоров и журналистов — а специфика труда газетчиков особенно благоприятна для списков и оговорок, — головная боль после очередного «разбора полетов» прекратится еще не скоро.

История печатного слова в Татарстане также богата подобными примерами. Вспомним хотя бы вышедшую в 1979 году книгу, подписанную Ф. Табеевым, в которой излагались достижения республики за годы Советской власти. Во всех публикациях, посвященных национальному вопросу, как правило, цитировался ответ Ленина на записку выдворенного из Татарии экс-премьера. В ней Саид-Галеев путем хитроумно поставленных вопросов, в том числе и о необходимости существования национальных республик, буквально подталкивал вождя на отрицательный ответ. Однако Ленин, лучше потерпевшего крах местного функционера видевший необходимость продолжения политики заигрывания с нацдвижением, ответил категорично, что республики нужны «еще надолго». И не случайно Саид-Галеев два года не показывал этот ответ никому. Так вот в этой книге ответ Ленина звучал «еще не долго». Не знаю, что случилось. Во всяком случае «табеевского умысла», как полагали некоторые, по-моему, тут, очевидно, не было. Скорее всего, наша родимая безответственность, а может быть, книгу набирали в «понедельник»... Но произошло это в 70-е, и дело ограничилось небольшим внушением без оргвыводов. Если бы такое произошло в 30-е, наверное, полетели бы головы многих. Ибо «контрреволюционная пропаганда» в печати путем умышленного искажения трудов классиков, партийных решений и лозунгов — формулировка, подпадавшая под юрисдикцию пункта 10-го, зловещей статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР о наказании за призывы к свержению Советской власти и антисоветскую пропаганду висела как «дамоклов меч» над всеми работниками печати — от авторов до по-

лиграфистов. В 30-е годы в стране возникло немало дел по этим сюжетам. Крамолу искали во всем. Даже в рисунках на обложках книг и школьных тетрадей мерещились силуэты Троцкого, Гитлера и свастика... А уж если автор книги или переводчик оказывался «врагом народа», то казнь ожидала и книгу. В Татарии, например, в эти годы только учебной литературы списали несколько десятков наименований, не говоря уже о политической. Органам НКВД вменялась в обязанность неукоснительная проверка всей печатной продукции, независимо от Главлита — цензуры. Ни одна книга не могла быть отправлена со склада издательства без предварительного просмотра оперуполномоченными «органов». Они также отвечали головой за недопущение крамолы. Однако «казусы» случались, и не всегда безобидные.

Об одном из них мы и расскажем сегодня. Тем более, что в нем были замешаны люди, занимавшие заметное место в духовной и культурной жизни республики. Но сначала немного о времени события.

Начало 30-х было пиком разгула воинствующего атеизма. Закрывались храмы, ссылались тысячи служителей культа. Эта чаша не миновала ни одну из конфессий. В Татарии, центре мусульманских традиций европейской части страны, особенно сильные удары обрушились на ислам. Безбожники-радикалы в своем рвении одним махом покончить с религией предпринимали шаги, которые вызвали опаску даже в Москве. Так, например, по указанию Сталина запретили массовые кампании по сдаче «Корана» в утиль, а ретивые авторы корреспонденции в «Кызыл Татарстане» под названием «Как свинья победила коран», положительно оценившие опыт одного из сельсоветов, разрешившего открытие свинофермы в здании мечети, получили даже взыскание. Речь шла, разумеется, не о защите религии. Просто рекомендовалось бороться с ней без чересчур уж радикальных методов, смахивавших на заурядное хулиганство. Ведь по утверждению главного «безбож-

ника» страны Ярославского одна из ближайших пятилеток должна была стать «пятилетней атеизма» с полным искоренением в ее конце религий. Поэтому в Татарии, как и везде, наряду с закрытием «по просьбам трудящихся» мечетей, церквей и синагог, молитвенных домов и монастырей, активизировалось идеологическое наступление на религию. Важная роль отводилась развешиванию деятельности общества воинствующих безбожников, изданию разоблачительных книг, статей, плакатов, постановке пьес и т. п. В их ряду особое значение было придано срочному изданию брошюры Тимофея Владимировича «Христианская религия, что это?» на татарском языке. Книга печаталась на латинском алфавите. Предисловие к ней написал известный журналист Г. Беляев, бывший редактор «Киняш», перешедший после его упразднения в «Кызыл Татарстан». Хочу сразу же предупредить вопрос, почему христианство обличалось на татарском языке. Книга предназначалась для крещеных татар, оказавшихся весьма упорными в своем нежелании вступить на тропу атеизма.

В подготовке книги к изданию участвовали известные литераторы и журналисты Мухамет Галеев, Исмагил Рамеев, Абдулла Ризванов и др. За ее издание персонально отвечал перед обкомом заместитель директора типографии имени Камилы Якуба Зариф Насыбуллин. Шел конец года. Издательство и типография стремились в лучших традициях социалистического соревнования отрапортовать о выполнении плана. Очевидно, и это наложило свой отпечаток на событие, повлекшее за собой ряд трагикомических последствий. Но вначале, читатель, взгляните в обложку этой книги. Тем более, что ее нет ни в одной библиотеке. Оформлена она в духе того времени, весьма броско в стиле соцконструктивизма. В центре значок общества безбожников с его аббревиатурой на татарском языке. А наверху расхожий лозунг того времени, растиражированный в книгах, вывесках, плакатах и листовках — «Борьба с религией — борьба за социализм». И вот тут и была

заложена политическая «бомба», взрыв которой потряс в начале 1931 года издательство и типографию и разнес многие людские судьбы. Еще раз вчитайтесь — «Борьба за религию (разрядка моя — Б. С.) — борьба за социализм». Можно представить, как в обстановке поиска политических противников во всем и везде, массового сыска и оголтелой антирелигиозной борьбы прозвучала эта ошибка. Не опечатка, не оговорка, не короткое русское «за», а полновесное татарское слово из четырех букв — «өчен». Это все равно, как если бы в заголовке газет вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» прочитали «разъединяйтесь!» В следственном деле не содержатся оперативные документы — то есть материалы слежки, наблюдения, а иногда и попросту доносы и другие документы из специфических каналов получения информации спецслужбами. Наверное, это правильно. И поэтому неизвестно, как об этом узнали в ОГПУ. Но узнали быстро. Уже 29 декабря были арестованы и допрошены М. Галеев и З. Насыбуллин. А сразу же после Нового года — 2 января 1931 года Исмагил Рамеев — заместитель заведующего производственным отделом Татиздата, известный в прошлом политический деятель, писатель и знаток истории литературы. Мы и сейчас восхищаемся его словарем литературы, рукопись которого многие годы служила источником эрудиции не одного поколения литературоведов, как правило, «забывавших» ссылаться на нее. Правда, теперь она опубликована Р. Мустафиним на страницах журнала «Татарстан», но стала библиографической редкостью. Возможно, стоило бы издать ее отдельной книгой. Весьма интересная вещь. Но вернемся к драматическим событиям начала 1931 года.

Дело о крамольном лозунге поручили Особому отделу Татарского ГПУ. Вели его оперуполномоченный Климашев и начальник 1-го сектора Якунин. То, что этой злощастной историей занимался отдел, в ведении которого находились (это видно даже из его названия) самые серь-

езные политические преступления, говорит о значении, приданном ему в ГПУ. Возможно, мерещился целый антисоветский заговор. Тем более незадолго до этого уже разразились политические скандалы вокруг некоторых изданий. Так, например, брошюра Али Рахима под редакцией Мухсинова «Как изучать деревню», в которой предлагались также элементы анкетирования и социологического исследования крестьянских хозяйств Татарии, была ошельмована как пособие для шпионов и антисоветчиков. Правда, авторы были пока оставлены на свободе, но книга была запрещена. Наверное, потому, что деревню после «великого перелома» мог объективно изучать путем анкетирования только политический камикадзе. Чего уж говорить об анкетах, когда через несколько лет изымут даже сборник арифметических задач, где из ответа одной из них следовало (в полном соответствии с реальностью), что корова единоличника давала больше молока, чем колхозная...

Итак, дело «идеологических диверсантов» из Татиздата набирало ход. М. Гали допрашивался 1 января 1931 года. ГПУ не жалело своего времени даже в первый день нового года. Гали повинулся сразу же — перевод принадлежит ему. Объясняя свою роковую ошибку, сказал, что в тот день, когда ему в редакцию газеты «Кызыл Татарстан» принесли обложку, он занимался переводом Ленина и смысл лозунга одной из статей вождя «Борьба за хлеб — борьба за социализм» механически, второпях перенес в «безбожную книгу». На вопрос следователя — не «отмечал» ли он до этого какое-либо событие — ответ был отрицателен. Пользуясь случаем, работники ГПУ потребовали от М. Гали рассказать историю создания издательства «Яңа китап», весьма преуспевавшего в середине 20-х в издании научной и учебной литературы. Интересовали их деловые характеристики многих журналистов и издательских работников. Ответы Гали весьма откровенны, но не носят политический характер, а больше касаются про-

изводственных и бытовых сторон. Вместе с тем он весьма резонно заявил, что, не снимая вину с себя, удивлен халатностью издательских работников, которые должны были более внимательно отнестись к выполнению своих служебных обязанностей. Аргументы и споры, актуальные и сейчас.

На допросах 2 января Рамеев и Насыбуллин признали свою вину и в целом подтвердили версию Гали. Насыбуллин заявил, что ошибка была замечена уже после отпечатания всего тиража, но он пытался не допустить выхода книги со склада. Брошюра, по его мнению, уже устарела и пускать ее в продажу, независимо от наличия ошибки, нецелесообразно. Полагаю — насчет устарелости он тут лукавил, книга находилась под особым контролем обкома.

Очевидно, у следователей были сомнения в том, что крамольная книжка не поступила в продажу. Есть рапорт Якунина начальнику СОУ (секретно-оперативного управления) о необходимости изъять ее из продажи. Однако сотрудник ГПУ А. Сафин, которому поручалось проверить книжные склады, сообщил, что там находится 2953 экземпляра книги, и в открытую продажу она не поступала. Тираж конфисковали и уничтожили. Правда, во все времена находились любители раритетов, которые из-под носа ретивых чиновников утаскивали обреченные книги... Так было всегда — и до 17-го и после. Эту обложку подарил мне теперь уже покойный Абдулхак-абы Кудашев — физик, ученик Курчатова, один из первых кандидатов наук из татар. Как она попала к нему, не сказал. Тем временем допросы Гали и Рамеева продолжались. Они вышли за рамки обстоятельств появления злосчастной брошюры. Спрашивали о положении дел в литературе, ее дореволюционной истории, развитии в годы гражданской войны. В показаниях есть весьма интересные факты из духовной и общественно-политической жизни, характеристики многих видных ее представителей, истории ряда литературных те-

чений и групп. Судя по материалам дела, и Гали, и Рамеев по возможности избегали политических оценок, и в этой части говорили о вещах общеизвестных. Вместе с тем есть весьма интересные факты, проливающие неожиданный свет на, казалось бы, известные события. Вот один из них. Работая над биографией Мирсаида Султан-Галиева, автор встретил его гневное письмо по поводу того, что «Чаян» непристойно откликнулся на смерть в одной из московских больниц Юнуса Валидова — бывшего наркома земледелия, активного сторонника «суверенитета» на землю. Это по его инициативе около Казани и по берегам Волги появились татарские поселки Чингиз, Кызыл Байрак, Бахчисарай, Нариман, Яңа-Болгар и др. В «Чаяне» была опубликована хлесткая стихотворная «эпитафия», сводившаяся к тому, что бывший нарком ушел в «земельную губернию», надо бы отправить туда и всех его сторонников. Тут автор стихов, конечно, торопил события... Их всех отправили туда... но несколько позже. Рамеев признал, что он и был автором этого «некролога», за который его осудило тогда общественное мнение, а Бурган Шараф публично назвал подлецом. Есть также неизвестные по документам детали борьбы общественности против тотального введения «яналифа» и предыстории письма «82-х» и др.

В конце января следствие завершилось. Обвинительное заключение, предъявленное Гали и Рамееву, сочтенным главными организаторами «антисоветской вылазки» на страницах печати (остальные были выпущены под подписку о невыезде), гласило, что дело подпадает под статью 58—10 УК РСФСР — «контрреволюционная агитация». Наказание — от высшей меры до нескольких месяцев тюрьмы. Материалы намечалось направить в судебную тройку ОГПУ СССР. Очевидно, с ними были предварительно ознакомлены московские инстанции ОГПУ. Решение было по тем временам неожиданным — дело прекратить! Очевидно, оно не сулило громких разоблачений. Могли быть

и другие причины. Как бы то ни было, Рамеева и Гали освобождают под подписку о невыезде 12 февраля и 10 марта.

Так сравнительно благополучно закончилась эта история, которую молва назвала «божьей карой» за кощунство. Может быть, и эти слухи сыграли свою роль в на редкость «мягком» исходе. Зачем же утверждать мнение о том, что за антирелигиозную пропаганду Бог рано или поздно наказывает...

Счастливым исход... Если не считать навсегда врезавшийся в душу страх, боязнь любого слова, выходящего за рамки рекомендуемых стереотипов.

ИСПОВЕДЬ СЕКРЕТАРЯ СТАЛИНА

Известно, что в нашей политической истории, и особенно в той ее части, которая проходила «за кулисами», то есть там, где и решались судьбы и страны, и ее граждан, особое место занимали люди, в наибольшей степени приближенные к вождю,—его секретари. Их было не так уж много за время с 1917 по 1953 год. Наиболее известные из них—Мехлис, Каннер, Брезановский, Товстуха, Бажанов, Поскребышев. По-разному сложились их судьбы. Единственный, кто довольно подробно рассказал о внутренней жизни «секретариата» Сталина, о секретах, которые были недоступны даже для членов Политбюро,—Борис Бажанов. Эта восходящая «звезда» политического небосклона партии,—а ему прочили блестящую карьеру,—вождь доверял ему очень многое, включая и тайну подслушивания с помощью специальной аппаратуры за своими противниками из политической элиты,—в ночь на 31 декабря 1928 года сбежал за рубеж. Причем обстоятельство подготовки и осуществления побега напоминали сюжет самого крутого детектива... После многих приключений, случившихся с ним после перехода границы неподалеку от

Ашхабада, он обосновался в Европе и написал несколько книг¹. Почему до него не достали длинные руки наших спецслужб,— тоже загадочно. Есть самые разные предположения. Последним секретарем был знаменитый Поскребышев, попавший в опалу незадолго до смерти Сталина, но выживший. Он не написал ничего, хотя прожил до 1965 года... Чересчур «взрывчатым» был материал, которым он обладал. Может быть, это молчание и позволило ему умереть в собственной постели. А знал он многое, в том числе и подоплеку ряда трагедий 30-х, включая и многие неблагоприятные дела главного «разоблачителя» Сталина — Хрущева. Хотя тот всячески пытался от них дистанцироваться.

Документ, который вы читаете,— особый. Это политическая исповедь одного из секретарей Сталина, человека, довольно известного в истории Татарстана, но никогда еще не фигурировавшего в этом качестве. Речь пойдет о Микдате Брундукове. Но сначала дадим слово самому Сталину. В фонде № 558,— личном фонде Сталина, я встретил автограф вождя. Записка гласит, что корреспонденцию для него, кроме Я. Брезановского и И. Товстухи, он доверяет получать М. Брундукову. Документ датирован 14-м ноября 1922 года. Итак, в 1922 году Микдат Брундуков входил в очень узкий круг лиц, которые были допущены к секретам вождя. Что этому предшествовало и что было потом? Более подробно об этом расскажет сам Брундуков. Но, учитывая специфический характер его исповеди,— написана она в августе 1938 года в одной из камер на «Черном озере», предварим его признания некоторыми фактами, о которых он или умалчивает, или же просто не знает.

¹ Его бегство,— а он был тогда заведующим секретной частью ЦК компартии Туркмении,— стоило должности Шагимардану Ибрагимову,— секретарю ЦК республики. Впрочем, Сталин пощадил своего верного «мюрюда», одного из главных разоблачителей Султан-Галиева, и вернул его в аппарат ЦК ВКП(б) на малозначительную должность.

Пройдя через горнило гражданской войны, комбриг Брундуков стал после упразднения Мусвоенколлегии работником Восточного отдела Генштаба Красной Армии. Один из немногих татар, которые были включены в элиту формируемого тогда руководящего слоя советского общества, то, что потом получит название «номенклатура». На первых порах его карьере помогло и то, что он стал близким родственником Мирсаида Султан-Галиева: их жены Фатыма и Сафия были сестрами и очень близки между собой. Именно по рекомендации Султан-Галиева Сталин, временами весьма считавшийся с «татаринком № 1», как он его называл в узком кругу, взял Брундукова в свою «святая святых» — в секретариат. Деление его личных секретарей на «цеховских» и «наркомнацевских» (а Брундуков был помощником заведующего секретариатом Наркомнаца) было весьма условным. Впрочем, и сам Сталин не проводил особой разграничительной линии между своими партийными и государственными ипостасями. Брундуков отвечал за сбор информации по национальным проблемам в стране, анализ дипломатической почты, касающейся восточных государств, и, в первую очередь, Турции, Афганистана и Персии. В каждой из них, кроме официальных представителей, работала советская агентура, внедренная в самые различные эшелоны власти. Их донесения также становились известны Брундукову. Хотя и Султан-Галиев, и Брундуков не касаются в своих показаниях подробностей этой стороны своей деятельности, есть достаточные основания считать, что Султан-Галиев, уже в начале 20-х выработавший свою глобальную концепцию «революции в третьем мире», получал весьма ценную информацию о зарубежных делах от секретаря Сталина. Впрочем, для него это был только один из источников.

Конец 1922 года окончательно подвел черту во взаимоотношениях Сталина и его «мятежного нукера» Султан-Галиева. Ряд публичных выступлений Султан-Галиева, идущих вразрез со сталинской концепцией создания нового

государства, в также агентурные сведения, полученные в ходе самой широкомасштабной операции ВЧК по изучению и компрометации лидеров национальных республик, получившей кодовое название «Второй парламент», преопределили действия генсека по ликвидации (пока политической) своего выдвиженца и любимца.

Дальнейшее читателю хорошо известно: это и исключение из партии с кратковременным арестом в мае 1923 года, шельмование на 4-м Совещании по нацвопросу, и дальнейшая трагическая стезя от Соловков до Лефортова, закончившаяся пулей в затылок по приговору Верховного суда в январе 1940 года. В этой связи надо рассматривать и неожиданный «уход» Брундукова из секретариата вождя в декабре 1922 года. Официальный предлог — молодой Татарской республике был нужен крупный политический деятель со связями в Москве для руководства народным образованием. Брундуков был назначен наркомом просвещения республики. Однако весьма вероятен другой вариант этого неожиданного «трудоустройства»: Сталину был опасен в ближайшем окружении родственник и единомышленник Султан-Галиева. Однако политические нравы в то время не достигли еще такой степени ожесточенности, какая настанет после XVI съезда партии, и выдворение Брундукова прошло по весьма мягкому варианту. Остальное известно из самой исповеди.

Несколько слов о дальнейшей его судьбе. Он был арестован в Архангельске в конце июля 1938 года и вскоре привезен в Казань. Предварительные показания даны в конце августа. Ему, очевидно, повезло. Будь Брундуков арестован в 1937 году или хотя бы в первой половине 1938 года, шансов уцелеть у него практически не было бы. Получали пулю в затылок и за гораздо меньшие «грехи». Однако, не забудем, осень 1938 года — время тревожное и для самих органов. Хотя Ежов официально еще нарком, но множатся слухи о его скором падении. Оно и произошло в ноябре. Машина репрессий начала замедлять свой

ход. А вскоре наступит тактическая «бериевская оттепель», и какая-то часть репрессированных получит даже свободу — для подтверждения официальной версии о злодее Ежове, нарушавшем законность, и Сталине, разобравшемся с ним и восстановившем справедливость. В НКВД начались новые чистки — убирали тех, чьими руками провели «большой террор» 1937—1938 годов. В начале 1940 года будет расстрелян и сам Н. И. Ежов — бывший казанский партработник, чей блестящий взлет к высотам власти напоминал вспышку сверхновой звезды на политическом небосклоне советского общества. В Казани новый нарком ВД Морозов убрал наиболее одиозные фигуры «опричников» 37-го года. Бывшие нарком и его заместитель — Михайлов и Шелудченко, — были казнены, более десятка осуждены на различные сроки. Именно этим, очевидно, объясняется сравнительно мягкий приговор Брундукову в 1940 году: 8 лет лагерей — по тем временам что-то вроде отеческого шлепка в назидание и для памяти¹. После их отбытия Брундуков в Казани не появлялся, как и многие из тех, кто был репрессирован в 30-е, но выжил. Легче было затеряться на необъятных просторах страны и не мозолить глаза местным органам НКВД. Умер он в Средней Азии в 1965 году.

При публикации его «исповеди», — а показания даны именно в таком жанре, — были внесены следующие коррективы:

1. Убраны некоторые особенно резкие «эпитеты», объясняемые характером документа и затрагивающие честь и достоинство умерших людей, у которых есть родственники и близкие.

2. Опущены отдельные подробности, связанные со спецификой агентурной работы спецслужб, также затрагивающие ряд лиц и могущие быть истолкованы как разглаше-

¹ Судя по контексту документа, Брундуков ждал смертного приговора.

ние сведений, не подлежащих по закону публичному обсуждению.

3. Текст несколько сокращен за счет несущественных и повторяющихся деталей. За исключением прямых ошибок, слог и стиль документа оставлены без изменений.

Однако все это не затрагивает главной сути документа. Перед нами яркий политический и психологический репортаж из того далекого времени. Достаточно искренний и объективный. Раскрыта подоплека ряда событий в стране и Татарии. Ибо Брундуков не мог специально исказить факты и по той причине, что большинство из них было легко проверить — живы были некоторые люди, да и многое еще было свежо в памяти. Для историка, да и для любого, интересующегося нашим прошлым и знавшего его ранее только по препарированным в духе «Краткого курса» статьям и книгам, показания Брундукова — источник сведений, часть которых нельзя найти в архивах. Личностные характеристики наших и зарубежных деятелей ярки и содержат неизвестные детали. Много неожиданно и противоречит существующему мнению. Да и само признание Брундукова в различных политических грехах по нашим теперешним меркам не содержит ничего преступного. Обыкновенное инакомыслие, которым никого сейчас не удивишь. Видим и слышим вещи и похлеще. Но в тоталитарном обществе все это, конечно же, было преступлением. Самобичевание Брундукова, сопровождающее изложение ряда эпизодов своей биографии, является, на наш взгляд, не только тактической уловкой подследственного. Хотя есть и это. В немалой степени это и убеждения, следствие массового политического гипноза, под которым находилось общество. Думаю, что и любители истории, и профессионалы-историки не смогут теперь пройти мимо этого документа. Он обогащает наше представление о прошлом и служит в какой-то мере предостережением на будущее.

Народному комиссару Внутренних Дел ТАССР

Подследственного заключенного —
Брундукова Микдата Юнусовича —

Заявление

В своих показаниях после ареста в 1929 году, а также в последующих своих показаниях в 1933—34 гг. (в Москве) мною была скрыта важнейшая часть преступлений султан-галиевцев и, в том числе, моих — это роль иностранных разведок в деле организации националистической борьбы против Советской власти и моя роль в этой борьбе как фактического агента. Признаться, тогдашнее следствие мало интересовалось этой стороной дела (по крайней мере, при допросах меня). Теперь я хочу вскрыть и эту сторону своих преступлений.

Мне кажется, что лучше всего это сделать в связи с описанием всей своей жизни и всей своей антипартийной и антисоветской деятельности.

Родился я в 1896 году в семье беднейшего крестьянина, впоследствии — сторожа вновь открытого в нашем селе Русско-Татарского Земского училища. Отец еле зарабатывал на пропитание многочисленной своей семьи и только благодаря заботам учителей вышеупомянутого Русско-Татарского Земского училища, мне удалось получить образование в Казанской Татарской учительской школе, которую я окончил в годы империалистической войны — в 1915 году.

После окончания учительской школы учительствовать мне не пришлось ни одного дня, т. к. по досрочному призыву родившихся в 1896 году я был в том же году взят на военную службу. Там меня, имеющего образование, направили в Чугуевское военное училище (4-месячный курс), и я, таким образом, стал прапорщиком. Из Чугуева я был направлен в город Пермь (лето 1916 г.). Туда,

проездом на фронт, в том же году заехал мой школьный товарищ, пермяк, прапорщик Хусаин Мавлютов. Он разыскал меня и познакомил с татарской молодежью: с братьями Хасанкаевыми (Салих и Баки), с сестрами Файзуллиными (Мастюра и Биби), Кашафом Мухтаровым, студентами Габитовым, Козловым и Шакиром Хабибуллиным, Зарей Козловой, Загирой Байчуриной, прапорщиком (не из моего полка, а из другого) — Зямилем Байчуриным и др. Это была татарская буржуазная молодежь, она впоследствии на меня оказала сильное влияние.

Дело в том, что в учительскую школу я попал прямо со скамьи сельской школы и все почти 4 года (в учительской школе) провел в пансионе, в 4-х стенах. Поэтому к моменту окончания Учительской школы я никакого представления о фактической жизни страны не имел, политически не был развит ни в какой степени, о татарской литературе, об общественных течениях среди татар никакого представления не имел. Февральская революция, таким образом, застала меня совершенно неподготовленным для участия в общественно-политической жизни страны. Я целиком находился под влиянием вышеупомянутого кружка буржуазной татарской молодежи.

Скоро с маршевой ротой я уехал на фронт, участвовал в июньском наступлении и, после контузии и ранения, был эвакуирован в Москву, откуда опять попал в Пермь.

В Перми к тому времени уже существовали и Милли-Шуро, и Харби Шуро, и ряд других буржуазно-националистических общественных организаций, которым я был встречен, что называется, с широко распростертыми объятиями. В полку мне было поручено формирование мусульманской роты и командование этой ротой, а по общественной линии — меня скоро избрали председателем **Гарнизонного Комитета воинов-мусульман**, т. е. Харби Шуро. Членами Пермского Харби Шуро состояли: **Зямиль Байчурин** (прапорщик, впоследствии белый офицер), рядовой солдат со станции Чусовая — **Ариф Рахматуллин** (бо-

гач), рядовой Салих Хасанкаев (сын умершего уже тогда Пермского муллы) и рядовой Гарифуллин (в одно время работал Заведующим АПО Областного Комитета партии Татарии).

Пермское Харби Шуру под моим руководством проводило ту националистическую политику, которая диктовалась из Казани Центральным Харби Шуру и его председателем Ильясом Алкиным: формирование национальных частей, воспитание воинов-мусульман в шовинистическом духе, всяческая поддержка (авторитетом Военного Шуру) других национально-буржуазных организаций.

В Милли Шуру работали Хусаин Мавлютов (он же и ликвидировал Шуру), Кашаф Мухтаров, Ариф Казаков и Загир Байчурина. Харби Шуру, разумеется, работало в полном контакте с Милли Шуру. Единым фронтом эти два учреждения выступали и по вопросу о выставлении кандидатур в Учредительное собрание.

По тогдашней Пермской губернии фигурировало 3 списка с кандидатами в Учредительное собрание, причем в одном из них фигурировала из татар-башкир кандидатура махрового националиста и контрреволюционера — писателя Гаяза Исхакова, в другом — кандидатура банкирского буржуазного националиста Фатыха Тухватулина, а в третьем — кандидатура известного Мулла-Нура Вахитова (он был родом из Пермской губернии). Как это так случилось, этого хорошенько сейчас не помню, но и Харби Шуру и Милли Шуру поддерживали кандидатуру не Гаяза Исхакова, стопроцентного шуриста, а Мулла-Нура Вахитова, как тогда говорили, красного большевика. Тут, по моему, сыграло роль то обстоятельство, что Вахитов был родом из Пермской губернии — это, во-первых, а во-вторых, здесь имелось влияние и Хусаина Мавлютова, все больше и больше склонявшегося к большевикам.

Перед Октябрем в Пермском Совете большинство имели меньшевики и эсеры. В Октябрьские дни в Перми я, по предписанию этого Совета, с мусульманской ротой

охранял военные склады. Охрану военных складов одобряли и большевики, но дело не в этом, а в том, что я Октября не понимал и фактически был против него, хотя никаких активных враждебных шагов и не предпринимал (против Октябрьской революции в Перми).

Вскоре же после Октябрьской революции я, во главе Пермских мусульманских рот, Казанским Военным округом был перебросен из Перми в Уфу на пополнение сформировавшегося там 22-го мусульманского стрелкового полка. Вместе со мной туда же поехали прапорщик **Замиль Байчурин**, **Салих Хасанкаев** и ряд работников из рядовых солдат.

В Уфе скоро **Замиль Байчурин** занял пост **Председателя Харби Шура** (до него Уфимское **Харби Шура** возглавлялось членом Учредительного собрания — **офицером Мухаметдином Ахмеровым**), а я — пост **Председателя полкового комитета**, активными членами которого были рядовые **Закир Ибрагимов** (из Бирска, сын купца), **Мингаз Сайфи** и некий **Галеев**.

В этот период работу Советской власти в Уфе тор мозили три мусульманских центра (я уже о других врагах Советской власти, как меньшевики и эсеры, не говорю): **Национальное собрание мусульман России**, **Уфимское Харби Шура** и **Татаро-башкирские левые эсеры** во главе с **Галимзяном Ибрагимовым**, **Баимбетовым**, **Гумером Альмухамедовым** и **Исмагилом Рамеевым**.

Национальное собрание, как известно, обсуждало вопросы о культурно-национальной автономии мусульман, об **Идел** — **Уральском штате**, а татаро-башкирские левые эсеры и в **Национальном собрании**, и вне его будировали вопросы о **Татаро-башкирской республике**, о татаро-башкирских формированиях, о своей эсеровской организации.

На **Уфимский Татарский полк** в 20 тысяч штыков надежды немалые возлагали и **Национальное собрание**, и **Татаро-башкирские левые эсеры**, и **Всероссийское Харби Шура**, и, наконец, вся уфимская буржуазия. **Национальное собра-**

ние поднесло полку зеленое знамя, а командиру полка — полковнику Бикмееву — серую верховую лошадь.

Я был против культурно-просветительной автономии и Идель — Уральского штата (почему — объясню подробно потом), я не разделял взглядов и татаро-башкирских левых эсеров.

Двадцатитысячный мусульманский полк был зато неприятным фактом для Уфимского Совета, особенно после того, как восстал против Советской власти Казанский мусульманский полк. Уфимский Совет после восстания Казанского полка неоднократно предлагал лично мне **распустить полк**, но я не соглашался и настаивал на признании полка, на основе круговой поруки, красноармейским. Действительно молодежь полка (молодые солдаты) на это шли. Длительные мои переговоры с большевистской фракцией Уфимского Совета ни к чему не привели: большевики, по совершенно понятным причинам, настаивали на немедленном расформировании полка и сдаче всего оружия и имущества его Совету. В конце концов полк был расформирован под страхом применения против него оружия.

Татаро-башкирские левые эсеры по этому вопросу стали на путь провокаций: Уфимскому Совету они говорили одно, а на деле делали совершенно противоположное — Уфимскому Совету они заявляли о полной своей солидарности с ним по вопросу о роспуске мусульманского полка, а полк фактически толкали на восстание. Так, на активе полка левый эсер Исмагил Рамеев открыто призывал полк не подчиняться решениям Совета о расформировании полка, а взяться за оружие. Предлагали нам свои услуги по организации восстания полка против Советской власти и русские меньшевики и эсеры. Но полк, как сказал выше, был расформирован без особых осложнений тогдашней политической обстановки в Уфе.

Перед нами: Мухетдином Ахмеровым, Замилем Байчурным, мной и Салихом Хасанкаевым, встал во весь рост

вопрос: куда же нам ехать, куда деться, хотя в Уфе нас абсолютно никто не трогал. **Ахмеров** и **Байчурин** тянулись в Сибирь, где в то время уже имели место вспышки контрреволюции, нам с **Хасанкаевым** хотелось вернуться обратно в Пермь, куда, кстати, нас усиленно приглашал Губернский комиссар по делам национальностей при Губисполкоме **Хусанн Мавлютов** (тот же **Мавлютов**, о котором упоминалось выше). Мы с **Хасанкаевым** так и поступили — поехали обратно в Пермь. Перед этим мы с **Байчуриним** посетили Милли Идарэ (Национальное Управление) и вернули ему знамя полка. Получая знамя, один из членов Управления, не то **Баруди**, не то **Максудов**, произнес краткую речь, смысл которой в общем сводился к следующему:

«Это святое знамя недолго держали сыны мусульман. Оно так скоро выпало из их рук благодаря отсутствию единства среди них. Но придет время, когда это знамя вновь будет украшать национальную часть».

Затем **Байчурин** сделал краткое информационное сообщение о закрытом уже Харби Шуру и передал председательствующему несколько папок с архивами Шуру. И по этому поводу председательствующий что-то пробормотал. Но ясно было для нас одно: Милли Идарэ не очень довольны нами, нашим поведением, пассивным поведением, в дни свертывания Шуру и расформирования полка.

По выходе из Идарэ, мы с **Байчуриним** решили, что это «высокопоставленное» учреждение в ближайшее время будет иметь такой же жалкий конец, как Уфимский национальный полк, сформированный Всероссийским Военным Шуру в интересах национальной буржуазии, как закрытое Уфимское Харби Шуру...

Теперь я скажу о том, почему я был в этот период противником **Культурно-национальной автономии мусульман России** и противником **Идель—Уральского штата** и остался таковым все время. Сначала это началось из-за личной неприязни к части авторов этих проектов — к **Гаязу Исхакову**, который меня постоянно высмеивал публично

(в кулуарах нацсобрания, куда я изредка заглядывал из-за буфета, на вечеринках в клубе), очевидно, из-за того, что мы в Перми не поддержали его кандидатуры в Учредительное собрание, к Садри Максудову и другим. Потом как-то в Уфе же мне попалась брошюра по национальному вопросу с резкой критикой этой школы. Эта брошюра (кажется, статьи И. В. Сталина) открыла мне на многие вещи глаза.

«На самом деле,— думал я,— какую полезную культурно-воспитательную работу может проводить на моей родине (в Саратовской губернии) Нацсобрание или там Нацуправление, находящееся, скажем, в Уфе, когда экономическая, административная, политическая власть там, на моей родине, сосредоточена целиком и полностью в руках Саратовского Совета? Какая может быть речь об Идель — Уральском штате с сомнительным большинством мусульман, с колоссальной территорией, когда это можно сделать проще — в виде создания отдельных республик?»

Так, примерно, я рассуждал тогда, когда еще был абсолютным политическим профаном. Но со временем это вылилось у меня в «теорийку», которой придерживались многие. Позднее, в 20, 21, 22, 23—24-х годах, т. е. до постановки Султан-Галиевым перед нами вопроса о рождении революции, Советскую власть непобедимой. При этих условиях я считал нужным взять то, что можно взять, т. е. создать возможно большое количество национальных республик без образования их федераций (татаро-башкирская республика, федерация в Туркестане, федерация на Кавказе — без всяких этих федераций), т. к. чем больше будет мелких республик, тем труднее будет Москве проводить централизованную политику, тем легче будет проводить в этих республиках националистическую линию. Разумеется, я не был противником (наоборот, был прямым сторонником) культурной связи между восточными республиками. Ведь не на шутку я в одно время соглашался со вторым вариантом проекта Татарской рес-

публики, составленным **Исхаком Казаковым** — с Татарской Республикой без г. Казани, т. к. боялся сильного влияния пролетарского центра Казани на республику. Дальше, по изложенным же выше соображениям, я был против образования СССР, против создания в свое время Закавказской и Туркестанской федераций, против введения Союзной Прокуратуры и, позднее, против организации новых союзных наркоматов.

Я этим вовсе не хочу сказать, что я не был султан-галиевцем, что не участвовал в его контрреволюционной организации. Нет, я хочу этим только сказать, что между мной и **Султан-Галиевым** по вопросам (выдвигаемым им) «Восточной Коммунистической партии», «Восточного Коминтерна», федерации всех восточных республик или Туранской республики (он тогда все это называл так) — была постоянная грызня, порождая порою между нами недоверие друг к другу.

Ведь и татарская буржуазия с большой усмешкой относилась к некоторым положениям, выдвигаемым **Султан-Галиевым**. Так, **Гильми Шараф** как-то назвал при разговоре со мной **Султан-Галиева** «Маниловым восточной контрреволюции».

Отрицательное мое отношение к проектам Идель — Уральского штата и культурно-просветительной автономии мусульман Внутренней России не означает также и того, что ни с кем из культуавтономистов и идель-уралистов я дела не имел. Нет, это вовсе не так, но об этом речь пойдет ниже.

Чтобы покончить с Уфой, следует остановиться еще на одном деле. При исключении меня в 1929 году из партии в ОКК Татарской Республики, в числе других документов фигурировал еще не то перевод, не то копия моего письма **Мастюре Файзуллиной**, написанное ей из Уфы в 1918 году. Тогда я был беспартийным и мероприятий молодой Советской власти о военном коммунизме не разделял. При таком настроении я мог, конечно (не отрицаю), говорить

и писать разные клеветнические и враждебные вещи по адресу большевиков и Советской власти. Но (конкретно) данное письмо было шуточным. Дело в том, что в эти годы я за Файзуллиной ухаживал. Отец ее был крупнейшим пермским купцом (считали его миллионером). И вот Мастюра в каждом своем письме ко мне в Уфу жаловалась на репрессии, применяемые Советской властью в Перми по отношению к ее отцу. В ответ на эти надоевшие нам жалобы мы с Салихом Хасанкаевым вдвоем настроичили, шутки ради, Мастюре «утешительное» письмо в том приблизительно духе, что спасение придет со стороны работающего в Уфе Национального Собрания, что большевикам скоро будет крышка. На самом деле, мы с Хасанкаевым насчет этого буржуазного национального «парламента», как уже сказано выше, никаких иллюзий не питали, его болтовню о культурно-просветительной автономии, об Идель — Уральском штате считали ничемной химерой. Впоследствии Хусаин Мавлютов мне рассказывал, что это письмо Файзуллина сама, развлечения ради, прочла в кругу Пермской беспартийной татарской молодежи, причем все поняли шуточный характер его (письма) и смеялись над Файзуллиной.

Летом 1918 года я из Уфы вернулся опять в Пермь. Мавлютов меня встретил очень тепло и сразу назначил заведующим Военным Отделом Губернского Комиссариата по делам национальностей (фактически мусульман). Секретарем Комиссариата работал тогда еще беспартийный Кашаф Мухтаров. В Комиссариате еще работали Шакир Хабибуллин, Мастюра Файзуллина и ряд других лиц из молодежи. До меня заведующим Военным Отделом Комиссариата состоял некий Хай Динмухамедов, с которым через несколько лет я встретился в штабе РККА в Москве, где он выдавал себя за полковника, долгие годы работавшего во французской армии. Конечно, он был «расшифрован». На квартире я поселился с Мавлютовым вместе, и он принялся за мое политическое просвещение

(в самом деле **Мавлютов** тогда был политически в несколько раз грамотнее меня). Мое политическое просвещение довершило выступление чехов, и я в сентябре 1918 года поступил искренне в партию большевиков.

Мавлютов тогда симпатизировал **Саид-Галиеву** и «воспитывал» в нас подлинно враждебное отношение к **Султан-Галиеву**, заменившему в Москве покойного **Мулла-Нура Вахитова**.

Скоро из Уфы и Белебея в Пермь прибыла небольшая группа татарских левых эсеров, из которых там (в Перми) осели **Нигмат Еникеев**, **Гафуров**, **Вахитов** (не **Наби**) и еще несколько человек, фамилий которых сейчас я не помню. **Нигмат Еникеев** стал редактором вновь организованной татарской газеты — листовки «Кзыл Урал» («Красный Урал»), а **Вахитов** стал работать у меня — по военной линии. Должен сказать, что с **Нигматом Еникеевым** я подружился и в последующие годы, в Татарии, несмотря на принадлежность нашу к разным группам националистического движения, мы друг к другу всегда относились корректно.

Пермский Губернский Комиссариат по делам национальностей, несмотря на «интернационализм» руководителя Комиссариата **Мавлютова**, в целом проводил политику с националистическим душком: будировал совершенно несвоевременно вопрос о реализации декрета Советского правительства о Татаро-Башкирской республике, слишком выпячивал вопросы о национальных формированиях, о культурном строительстве в татаро-башкирских деревнях, тогда как обстановка на Колчаковском фронте была очень тяжелая. В общем же мы тогда (нас, из татаро-башкир, было всего несколько человек коммунистов) на правых, «левых» и прочих не делились, работали, не выходя из партийных рамок. По военной линии мы успели организовать один мусульманский полк, батальон Уральских красных коммунаров (обе части были отправлены на фронт) и одну запасную роту. Мне потом передавали, что ба-

тальон Уральских красных коммунаров сражался очень храбро, а в мусульманском полку были измены среди случайно подобранного комсостава, благодаря чему полк потерпел большое поражение, но продолжал существовать в качестве отдельного национального полка много месяцев и после этого. Некоторая шаткость дисциплины, недовольство в связи с недостатками в снабжении чувствовались в этом полку еще в бытность его в тылу. Тогда, специальным расследованием, было установлено, что много способствовали распространению в полку разных провокационных слухов татаро-башкирские левые эсеры во главе с Вахитовым. Вахитов и несколько человек других левых эсеров после этого из Перми исчезли.

За время последней работы в Перми я значительно вырос: прочитал много политических книг и с помощью **Мавлютова** познакомился с политическими течениями среди мусульман России, в частности, среди татаро-башкир (он во всех этих вопросах разбирался хорошо). Овладел я сносно и татарским литературным языком, с которым до этого был в большом неладу. Но все это, как мы увидим потом, пошло мне не впрок.

Когда стала угрожать Перми опасность со стороны белых, город стал эвакуироваться в Вятку. Комиссариат по делам национальностей тоже эвакуировался со своими работниками Кашаф и Нурис Мухтаровыми, братьями **Хайруллинными** (Салават и Нури), **Гатауллиным** и **Абашевым**. Мы с **Мавлютовым**, как военные работники, выехали из города в самый последний момент, захватив еще с собой **Шакира Хабибуллина**, **Мастюру Файзуллинну**, пожелавшую покинуть город вместе с нами, хотя ей, как рядовой работнице детского сада и дочери крупного купца, никакая опасность не угрожала, и еще **Вагапова**.

В Вятке нам поручили срочно организовать Губернский Комиссариат по делам национальностей (там до начала 1919 года работа среди национальностей велась очень слабо) и развернуть широкую агитационно-пропагандическую

работу среди нерусских национальностей губернии. Я стал заведующим К/отделом печати Комиссариата и редактором вновь организованной татарской газеты «Коммунист».

В Вятке был принят в партию **Кашаф Мухтаров**. Его с детства хорошо знали пермяки **Хусаин Мавлютов**, **Салават** и **Нури Хайруллины**. Но на партийном собрании, на котором Мухтаров принимался в партию, ничего плохого из прошлого его, Мухтарова, они не говорили. Я знал только то, что **Мухтаров** является сыном среднего торговца мясом и колбасными изделиями. Помню я еще, как однажды в Вятке **Мухтаров**, уже после принятия его в партию, был задержан ЧК. Сам **Мухтаров** потом мне говорил, что ЧК его задержала для выяснения его связей с одной белой девушкой. За какие связи и с какой именно белой девушкой его задержала ЧК,—я так и не узнал.

В Вятке я познакомился с **Гасымом Мансуровым**, приехавшим из Малмыжа для проведения в Губернском татаро-башкирском бюро при Губкоме партии решения Малмыжского Уездного съезда (или совещания) коммунистов-татар об аресте и расстреле знаменитого святоши и провокатора — агента царской охраны **Ишми ишана**.

По этому вопросу между нами разногласий не было. Но сам **Гасым Мансуров** еще тогда на нас производил впечатление хитрого и скрытного человека.

Все это было в 1919 году. Тогда еще мы, по-прежнему, на правых и «левых» не делились. **Мавлютов** продолжал ориентироваться на **Саид-Галиева**, **Касимова**, **Бургана Мансурова** и **Яруллина**, и мы ему не противоречили. Я все еще лично не знал ни **Саид-Галиева**, ни **Султан-Галиева**.

И вот, через некоторое время после нашего приезда в Вятку, мне дали командировку в Москву. Я поехал с отчетом о нашей работе в Перми и по делам Вятского Губернского Комиссариата по делам национальностей. Нам еще в Перми была известна бездеятельность возглавляемых **Султан-Галиевым** Комиссариата по делам мусуль-

ман и Центральной мусульманской военной коллегии. Об этом же мне много говорили и в Москве (Секретарь Наркомнаца **Товстуха** и член Коллегии Наркомнаца **Каменский**).

В своем отчете на заседании Военной Коллегии я очень резко критиковал работу Коллегии и ее руководителей **Султан-Галиева** и **Наби Вахитова**. Первому это не понравилось и он прервал меня словами: «Не кричите, можете потом кричать среди своих красноармейцев» Оба мы взяли за оружие, и присутствующие с трудом нас разняли.

Так состоялось мое первое знакомство с **Султан-Галиевым**.

По приезде в Вятку, в татарской газете «Коммунист» я поместил нашумевшую в свое время большую статью под названием «Моя поездка в Москву», в которой сделал очень резкие нападки против **Султан-Галиева**.

Татаро-башкирское бюро при Губкоме партии одобрило целиком мое поведение в связи с этим конфликтом. Заправилами в бюро тогда были **Мавлютов**, **Мухтаров К.**, **Шакир Хабибуллин** и я.

Спустя некоторое время после моей поездки в Москву нам из газет стало известно принятие в Уфе всех татаро-башкирских левых эсеров огулом в партию. Инициатором и проводником в жизнь этого большого политического акта был **Султан-Галиев**. Мы татаро-башкирских левых эсеров хорошо знали по их делам в Уфе и Перми. Поэтому мы послали протест против такого, ничем не оправдываемого огульного их приема в партию в Центральное бюро Коммунистических организаций народов Востока при ЦК партии.

В своем протесте мы рекомендовали к каждому левому эсеру иметь индивидуальный подход. Но на наш протест Центральное бюро никак не реагировало, а мои отношения с **Султан-Галиевым** после этого еще больше ухудшились. Долго потом мне не прощали этого и левые эсеры.

Летом 1919 года, когда Казани вторично угрожали белые, я с **Мавлютовым** и еще несколькими военными работниками из татар были переброшены в Казань в распоряжение Центральной Мусульманской Военной Коллегии, Военная Коллегия назначила **Мавлютова** в Первый Татарский полк, в Самару, а меня — в Алатырь, в 3-й, кажется, татарский полк. По пути в Алатырь я заехал в Симбирск (Ульяновск), где в Штабе восточного фронта я имел знакомых по работе в Перми. Штаб восточного фронта опротестовал распоряжение Центральной Мусульманской военной коллегии о моем назначении, оставил меня в Симбирске, назначив помощником начальника пехотно-пулеметного отдела Управления формирований фронта с правами Инспектора национальных частей. Спустя некоторое время я был назначен командиром сформировавшейся тогда в Симбирске 2-й татарской бригады. После этого **Султан-Галиев** стал на путь примирения со мной: часто советовался со мной по прямому проводу по вопросам национальных формирований, информировал меня о ходе нацформирований вообще.

Летом того же года состоялось мое второе свидание с **Султан-Галиевым**. Это было в Казани, после известного восстания Татарского запасного батальона, куда мы оба приехали для выяснения причин восстания — **Султан-Галиев** — от Реввоенсовета второй армии, членом которого он тогда состоял, а я — от Управления формирований восточного фронта.

В связи с восстанием Татарского запасного батальона были арестованы представители татарской и русской буржуазии, а несколько человек, в том числе провокатор **Абдулла мулла Апанаев**, были расстреляны. Я тогда еще плохо знал политическую Казань и Казанскую интеллигенцию. Но **Султан-Галиев** мне говорил, что большинство арестованных в восстании татарского батальона неповинно и просил меня поддержать его, **Султан-Галиева**, в требовании их освобождения. Я так и сделал — поддержал **Султан-**

Галиева. Из группы освобожденных тогда из-под ареста татар я помню только фамилии **Иманаева Шайхаттара**, когда-то редактора татарского журнала «Жизнь и право» и **муллы Касыма (Касым хазрет**, приход его был на Захарьевской улице), когда-то помогавшего мне (материально) учиться.

Наша миссия в Казани кончилась выявлением главарей восстания и отправки батальона на фронт.

Во время этой встречи неприязнь, существовавшая между мною и **Султан-Галиевым**, значительно сгладилась. **Султан-Галиев** признал неработоспособность аппарата Военной Коллегии, предложил мне забыть старое и занять пост военного руководителя Коллегии, на что я дал принципиальное свое согласие.

Между тем за время работы в Симбирске, в связи с постоянным будированием в татарской печати вопроса о Татаро-башкирской республике, я все больше и больше становился татаристом, т. е. сторонником образования Татарской Республики, благо Башкирская республика уже, кажется, была провозглашена Советской властью. Нашлись в самом Симбирске и сторонники: (**Мухамедов**), врид. начальник штаба 2-й Татарской бригады, **Белусов** — Начальник Симбирской милиции, а затем Комиссар той же татарской бригады (убит на фронте) и..... **Алиμβек**, тогда школьная работница. Но самым рьяным моим сторонником по этому вопросу являлся **Шамиль Усманов**.

Как-то проездом на фронт или в Самару в Симбирске остановились **Шамиль Усманов** и его друг **Керим Хакимов** (после окончания гражданской войны работник Наркоминдел). Я с ними встретился на квартире **Белусова**. После длительного обмена мнениями мы нашли своевременным поставить в организованном порядке вопросы о создании Татарской республики и о созыве 2-го Всероссийского съезда Коммунистических организаций народов Востока с включением в порядок дня работы его вопроса о создании Татарской республики. **Хакимов** обещался эти вопросы

провести через Губернское бюро коммунистов-татар при Оренбургском Губкоме партии, **Усманов** — через Самарское бюро, **Белоусов** — через Симбирское, а я, при первой возможности, в Казани. Так мы и сделали. Это маленькое «Симбирское совещание», таким образом, поставило в повестку дня работы партийных организаций два весьма важных вопроса: об организации Татарской республики и о созыве 2-го Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока. В то же время это совещание было первым собранием, на котором я участвовал без разрешения партийной организации, участвовал как групповщик.

К осени 1919 года я был переведен в Казань и назначен военным руководителем Центральной мусульманской военной Коллегии при Наркомвоенмор. Состав Военной Коллегии в то время был такой: **Султан-Галиев** (председатель), **Наби Вахитов** (зам. председателя), **Ахмедзян Алмаев**, **Юсуф Ибрагимов** (члены Коллегии) и быв. полковник **Тальковский** — отец (военный руководитель). Вот этого **Тальковского** я и заменил в Военной Коллегии.

Не успел я еще как следует ознакомиться с делами в Коллегии, как **Султан-Галиев** меня вызвал в Москву и представил **Троцкому** как Наркомвоенмору. Это был первый и последний мой визит **Троцкому**. По просьбе **Султан-Галиева** **Троцкий** снабдил меня «аршинным» мандатом, отпустил один вагон разных подарков и предложил мне немедленно отправиться на туркфронт и раздать эти подарки от имени Реввоенсовета республики и его, **Троцкого**, отличившимся в боях красноармейцам 1-й Татарской бригады. Я так и сделал. В последующие годы я по военным вопросам обращался не к **Троцкому**, а к **Склянскому**, **С. С. Каменеву** и **Лебедеву** (**Каменев** и **Лебедев** меня немножко знали по работе в Симбирске).

По дороге в Туркестан, в Оренбурге, я познакомился с **Хусайном Тарпищевым**, который заявил мне, что он является горячим сторонником Культурно-просветитель-

ной автономии мусульман России. Он обещал мне провалить вопрос о Татарской республике. Несмотря на это, **Тарпищев** согласился с моим мнением о неработоспособности Центрального бюро коммунистических организаций народов востока при ЦК партии (секретарем бюро состоял некий **Ялымов**) и о необходимости созыва 2-го съезда Комвостока.

К тому времени в Казани уже существовали националистические группировки: правая, «левая» и левые эсеры. Правую группу возглавляли **Исхак Казаков, Наби Вахитов, Шамиль Усманов, Али Ганеев**; «левую» — братья **Рахматуллины, ..., Касимов**, а левых эсеров — **Галимзян Ибрагимов, Баимбетов Гильмдар, Салах Атнагулов, Ахмедзян Алмаев, Фатих Сайфи**. Из видных тогдашних работников в Казани **Габидуллин Хаджи** и **Аминя Мухетдинова** в то время симпатизировали правым. Вообще надо сказать, что перебежки от правых к «левым» и от «левых» к правым в истории националистической борьбы против Советской власти имели место часто. Это говорит лишний раз о том, что правые и «левые» составляли две стороны одной и той же буржуазной медали.

В то время правые в основу своей групповой платформы клали создание национальной (читай — националистической) Татарской республики, бывшие левые эсеры — создание такой же татаро-башкирской республики, «левые» на словах отрицали и то и другое, а на деле не хуже правых, не хуже левых эсеров блокировались с татарской буржуазией. «Левые» горячо дружили с бывшими левыми эсерами. Словом, на деле, как показал опыт, еще тогда спор между этими группировками сводился лишь к тому, кому из них стать рупором татарской буржуазии и мелкой буржуазии.

Я примкнул к правым и скоро стал фактическим их руководителем в Казани. Так я попал в омут групповой борьбы. Эта групповая борьба сначала носила внутривнутрипартийный характер, а потом..., а потом вылилась в мах-

ровую форму националистической борьбы против Советской власти.

Правыми националистами и левыми эсерами (одновременно!) фактически руководил Султан-Галиев (эсеры и правые, главным образом, работали в Военной Коллегии), а «левыми» — Саид-Галиев.

Скоро в Казань в качестве комиссара мусульманских пехотных командных курсов (муспехкурсов) приехал крымский работник Фердевс (правый), а на политработу в Военной Коллегии — Юнус Валидов (из района, тоже правый).

С приездом Фердевс и Валидова правая группа значительно усилилась.

С согласия Губернского бюро коммунистов-татар в помещении Военной Коллегии собрали совещания актива коммунистов-татар, куда преимущественно были приглашены правые, и где я сделал сообщение о своевременности постановки вопроса о Татарской республике и созыве 2-го съезда Комвостока. Совещание после долгих прений в общем одобрило мои тезисы и поручило мне, Елбаеву, Казакову, Фердевс и Шамилю Усманову подготовить к конференции коммунистов-татар Казанской губернии проект положения о будущей республике и ее географическую карту. «Комиссия», в свою очередь, привлекла к этой работе идель-уралиста из буржуазных националистов Галимзяна Шарафа. Шараф выкроил нам такую республику, за которую подняли бы руку все буржуазные националисты, тут и полная независимость от РСФСР, тут и искусственно расширенная территория...

Мы, правые, были уверены в том, что Губернская конференция коммунистов-татар будет голосовать за республику, ибо в этом направлении велась большая работа (обработка). Надо было еще завоевать симпатии виднейших представителей татарской интеллигенции, особенно тех, которые еще играли роль в создании общественного мнения через «...печян базар» («Сенной базар»). Таковыми в то время являлись: братья (Гильми, Бурган, Галимзян)

Шараф, писатель **Фатых Амирхан**, историк **Газиз Губайдуллин**, **Ибрагим Биккулов**, **Хадича Ямашева**, **Джамал Валиди**, **Мухетдин Курбангалеев**, **Фатых Мухаммедьяров**.

Братьев Шараф я знал раньше (с ними меня когда-то познакомил **Хусаин Мавлютов**, друживший с **Гильми Шараф**).

Гильми Шараф был махровым буржуазным националистом идель-уралче и ... Он мне примерно ответил так: «Когда вы, большевики, «многого» нам не даете, нам приходится довольствоваться «малым» (т.е. Татарской республикой вместо Идель-Уральского штата).

Газиз Губайдуллин, хитрейший человек, заявил, что он согласен со всеми мероприятиями Советской власти по национальному вопросу.

Буквальные слова **Фатыха Амирхана** были следующие: «Хорошо, что блудные дети возвращаются в родительский дом» (под «блудными сынами» Амирхан подразумевал татарских коммунистов, а под «родительским домом» — Татарию).

Джамал Валиди, **Ямашева** и **Ибрагим Биккулов**, кроме слов «поживем — увидим», ничего не говорили.

Таким образом, вопрос о блоке правых с буржуазной интеллигенцией стоял еще в начале 1920 года. В общем, буржуазная интеллигенция правых поддерживала.

Большую кампанию против правых в печати открыли бывшие татаро-башкирские левые эсеры. Они клеймили «татаризм», называя его «алкинизмом». Татарскую республику эсеры называли «Забулачной Республикой»...

Губернская конференция коммунистов-татар собралась в конце 1919 года. Как мы и ожидали, из делегатов конференции против Татарской Республики голосовало только 3 человека: **Гасым Мансуров** и супруги **Баимбетовы**. **Баимбетовы** были татаро-башкиристами, а тогдашнее поведение **Гасыма Мансурова** для меня осталось непонятным. **Мансуров**, как известно, потом стал самым рьяным правым и султан-галиевцем.

На втором съезде Коммунистических организаций народов Востока (конец 19-го и начало 20-го года) вокруг вопроса о Татарской Республике завязалась острая борьба. Несмотря на то, что на предварительном совещании и В. И. Ленин и И. В. Сталин дали нам понять о нецелесообразности поднятия на съезде вопроса о Татаро-башкирской республике, теперь, когда уже существует отдельная Башкирская республика, и, несмотря на то, что от В. И. Ленина культавтономисту **Тарпищеву** на том же совещании здорово попало, 2-й съезд Комвостока распался на 3 группы (фракции): татаристов, татаро-башкиристов и антиреспубликанцев. «Татаристов» возглавлял я, «антиреспубликанцев» — **Саид-Галиев**, «татаро-башкирцев» — **Салах Атнагулов** и **Галимзян Ибрагимов**. Последний, хотя и не был делегатом съезда, но присутствовал там и умело руководил группой бывших левых эсеров. На съезд был допущен и беспартийный **Галимзян Шараф** (?) как один из докладчиков по вопросу о Татарской республике.

Султан-Галиев агитировал татаристов, уговаривал их **сблокироваться с татаро-башкиристами**. Он говорил (несмотря на предупреждения Ленина и Сталина): «**Пусть существует Башкирская республика, съезду надо голосовать за татаро-башкирскую республику. Сейчас пока создадим Татарскую республику, а потом, когда придет время, обе республики объединим**».

Против Татарской республики почему-то на съезде выступили и представители Туркестана (**некий Ибрагимов**) и азербайджанцы (**Нариман Нариманов** и **Эфендеев**).

Таким образом, на съезде создалось положение, которое угрожало провалом обоим проектам резолюции — и проекту резолюции о Татарской республике, и проекту резолюции о татаро-башкирской республике.

Тогда мною было пущено в ход последнее средство — разоблачение бывших татаро-башкирских левых эсеров. Дело заключалось в том, что я располагал сведениями, сообщенными мне командиром 2-й татарской бригады (в

г. Белебее) **Резяповым** о том, что бывшие татаро-башкирские левые эсеры и после перехода в Коммунистическую партию остаются нелегальными эсерами: имеют свой подпольный Центральный Комитет, председателем которого является **Галимзян Ибрагимов**, а секретарем — **Умер Альмухамедов**, регулярно созываются подпольные собрания левых эсеров и т. д. и т. д. На такое мое выступление никто из руководителей съезда серьезно не реагировал. Мне предложили представить письменные доказательства, а их у меня не было.

У «татаристов» остался только один выход: принять совет **Султан-Галиева** и голосовать за Татаро-башкирскую республику, а в ЦК добиться объявления Татарской республики. Так мы и поступили.

По второму вопросу порядка дня съезда — о партийной работе на восточных окраинах и среди татаро-башкир — с докладом выступил **Султан-Галиев**, выдвинувший тезис о необходимости создания особой Коммунистической партии Востока как секции Коминтерна. Этот тезис **Султан-Галиева** встретил отпор как со стороны правых, так и со стороны «левых». По работе в Центральной мусульманской Военной Коллегии и по вопросу о Татарской республике мне часто приходилось бывать в Москве и встречаться с **Султан-Галиевым**. Это меня с ним, с **Султан-Галиевым**, сблизило. Я замечал, что **Султан-Галиев** решил «завоевать» меня во что бы то ни стало. Он много мне говорил о Востоке, то и дело возвращался к вопросу о необходимости создания отдельной Коммунистической партии для народов Востока, обвинял в шовинизме тогдашних секретарей ЦК **Крестинского**, **Преображенского** и **Стасову**, поносил всячески «левых» (саидгалиевцев) и знакомил меня с тогдашними видными работниками восточных окраин. Так, он меня познакомил с **Нариманом Наримановым** (Азербайджан), с **Таначевым** (бывший Алаш-ордынец), **Рыскуловым**, с **Абдулкадаром Мухитдиновым** (Бухара), с **Гисмати** (Башкирия) и др. Эти люди и другие

часто собирались у Нариманова или в Бухарском представительстве у Мухитдинова. Нариманов, работавший тогда в Восточном Отделе Наркоминдела, часто информировал гостей о событиях (о национально-революционном движении) в Иране и Турции. Все эти люди (и Нариманов, и Рыскулов, и Таначев, и Гисмати, и Мухитдинов), в общем, придерживались по восточному вопросу таких же взглядов, лишь с некоторой разницей в нюансах, как и Султан-Галиев, а именно: Турция, Иран, Афганистан должны стать сильными государствами. Колонии должны в ближайшее время освободиться от ига метрополии, в чем должна им неустанно помогать Советская Россия: на мусульманском Востоке речь может идти только о буржуазно-национальных революциях; нужна какая-то политическая организация для мусульманского Востока. Я, по сравнению со всеми этими людьми, еще молодой политический работник, со всем вышесказанным согласился. В спор я с ними пускался, когда речь заходила о пантюркизме или панисламизме в государственно-объединительном смысле этих слов. Я никак не представлял себе, как это можно объединить в нашу эпоху, эпоху империализма и пролетарских революций колоссальные территории с разноплеменными народами только на основе общности их религии. Я говорил, что до зубов технически оснащенная метрополия никогда этого не допустит, что едва ли сами мусульманские народы пойдут на такое объединение, что если их и объединит какая-нибудь империалистическая сила, то это будет вещь непрочная и новая кабала для мусульманского Востока, что лозунг о противопоставлении мусульманского Востока колоссальному христианскому миру — вещь весьма опасная.

Все это я говорю не для того, чтобы отгородиться от султангалиевщины. Нет, я это говорю, во-первых, для того, чтобы показать, что еще в 20—21 гг. многие крупные восточные работники мыслили и действовали так же, как и Султан-Галиев, а, во-вторых, для того, чтобы еще раз

заявить о том, что идеи пантюркизма, в государственно-объединительном смысле этого слова, я никогда не разделял.

Во время таких встреч не ускользала от моего внимания еще одна сторона дела: в вожди пантюркистского движения метили и Нариманов, и Рыскулов, и Султан-Галиев. Между тем был создан Ревком Татарской республики, куда ни я, ни Султан-Галиев не вошли. Во главе Ревкома был поставлен Саид-Галиев, а из «правых» в Ревком вошли Исхак Казаков и Кашаф Мухтаров. Для «правых» это было неожиданностью. Мы, с одобрения Султан-Галиева, решили саботировать Ревком во главе с Саид-Галиевым и как можно скорее провалить его. На II съезде Советов, как это известно, «правым», действительно, удалось провалить «левых», причем «правые» играли на самых больших струнках населения: они распространяли слухи о том, что голод в Татарии ужасающие размеры принял потому, что Саид-Галиев, желая выслужиться перед Москвой, весь хлеб из нее (из Татарии) выкачал в другие области.

В этой борьбе правых против правительства Татарской Республики во главе с Саид-Галиевым я лично непосредственного участия не принимал, т. к. в 20—21 гг. работал в Москве. Разумеется, мы с Султан-Галиевым эту борьбу поддерживали, давали «правым» всякие указания, создавали отрицательное мнение о Саид-Галиеве в центральных учреждениях.

Непосредственное руководство националистической борьбой «правых» в Татарии тогда лежало на Кашафе Мухтарове, на Юнуса Валидове, на Исхаке Казакове, Шамиле Усманове, на Фердеве и Енбаеве.

Характерен один факт из истории националистической борьбы этого периода, а именно: я был избран в Арском кантоне на второй съезд Советов Татарии. Приехав из Москвы в Казань на съезд, я заболел и вынужден был валяться в комнате Юнуса Валидова в I-м Доме Советов. Когда стала видна неизбежность поражения «левых» на

съезде, ко мне зашел тогдашний председатель ТатЦИКа Бурган Мансуров и просил меня срочно созвать актив «правых», говоря, что на это собрание «правых» придут «левые» во главе с Саид-Галиевым и сделают «правым» важные предложения.

Вечером на сборище «правых», действительно, явились «лидеры» «левых» — Саид-Галиев, Яруллин, Касымов, Бурган Мансуров и... со слезами на глазах просили правых не обижать их, «левых», и объединиться с ними для общей борьбы с «русскими». Так и сказали эти «левые» «интернационалисты»: «Для общей борьбы с русскими». «Правые» тогда отвергли предложение «левых».

Я, как уже сказал выше, в 21—22 гг. работал в Москве, сначала в качестве Начальника Восточного Отдела Организационного Управления штаба РККА, а потом в секретариате И. В. Сталина.

В бытность на работе в штабе РККА я ездил в Баку на съезд Всеобуча восточных республик и имел задание от Султан-Галиева поближе познакомиться с работниками Азербайджана. Но этого сделать мне не удалось — заболел. Мельком только я сумел встретиться с Наримановым и Мусабековым, весь разговор с которыми ограничился их просьбой передать привет Султан-Галиеву.

Особенно близко с Султан-Галиевым мы сошлись в 20—22 гг., когда оба работали в Москве, особенно тогда, когда оба работали в Наркомнаце — Султан-Галиев — членом Коллегии Наркомнаца, а я в качестве помощника заведующего секретариатом И. В. Сталина. Но об этом периоде нашей националистической работы я расскажу несколько ниже.

Летом 1922 года Султан-Галиев опять и резко выдвигал вопрос о создании отдельной Коммунистической партии Востока или Восточного Коминтерна (я здесь всюду употребляю те термины, которые употреблялись тогда). Один раз он этот вопрос поднял на квартире тогдашнего Киргизского представителя Таначева, другой раз у себя на

квартире. На первом совещании участвовали: Султан-Галиев, я, Таначев, и не то Ембаев, не то Фердевс, не то Галеев,—хорошо не помню. На втором совещании были: Султан-Галиев, я, узбек Абдулкадир Мухитдинов, Таначев и один из Наркомов Азербайджана (фамилия не запомнилась). На этих совещаниях Султан-Галиев свое предложение мотивировал, приблизительно, так: «НЭП приведет Россию к капитализму со всеми отсюда вытекающими для национальных республик последствиями. Посмотрите, в колониях национально-освободительное движение уже потухает, а Коминтерн бездействует. Для отпора надвигающейся реакции в нацреспубликах надо сколачивать подпольные партии — отряды, способные в свое время ударить по реакции». Я не согласился (на втором совещании) с предложениями Султан-Галиева относительно возрождения Советского Союза и, будучи чем-то расстроен, наговорил ему кучу резкостей, чем было расстроено все совещание. Но дальше этого я не пошел. На другой день Султан-Галиев выразил большое недовольство по поводу моего поведения на упомянутом совещании, и мы... помирились. Я продолжал дружить с Султан-Галиевым и ценить его. Мы с ним тогда фактически являлись центром, с которым считали нужным советоваться все приезжающие из Татарии в Москву «правые» и беспартийные.

Помимо этого, Султан-Галиев имел колоссальные связи и с Туркестаном, и с Кавказом, и с Крымом, и с Башкирией, и с Уралом, и с Волгой. На его квартире всегда можно было встретить «приезжих товарищей». С ним же и с Саид-Галиевым имели дело и приехавшие из Берлина представители учащихся татар из военнопленных, очень подозрительные молодые люди.

Чем больше я знался с Султан-Галиевым, тем больше стал убеждаться в том, что он, Султан-Галиев, находится уже на грани у одной из своих целей—создания, как он тогда называл, Восточного Коминтерна, т. к. он имел связи с разного рода националистическими группировками

и организациями во всех нац. республиках и областях и нас, татарских «правых», считал лишь одной из многочисленных секций своей большой антисоветской организации. «Поэтому, — думал я, — Султан-Галиев и скрывает некоторые вещи от нас, или говорит о них после совершившегося факта».

Осенью 1922 года я вернулся на работу в Татарию. Центр правых, после моего приезда в Казань, сложился в таком составе: Мухтаров Кашаф, Мансуров Гасым, Енбаев Ариф, Брундуков Микдад, Ганеев Али, Багаутдинов Гимаз, Усманов Шамиль, Фасхутдинов (Фасхи) Гиляз, Сабилов Рауф и Валидов Юнус. «Правые» в то время были у власти, и все вопросы партийного и советского порядка, прежде чем они поступали на рассмотрение соответствующих официальных организаций, подвергались обсуждению в вышеуказанном центре правых националистов.

На заседания центра очень часто приглашались еще Николай Петров, Ахняф Шакиров (тогдашние секретари ТатЦИКа), Исхак Казаков, Абдулла Валеев, Хафиз Сайфи, Саттар Еникеев, Ахмед Умеров, ... Максудов, братья Балтановы¹, Махмуд Будаили и др. В более важных случаях созывался весь актив «правых».

Основу платформы «правых» в описуемый период (22—24 гг.), в общем, составляли следующие положения:

1) Форсированное переселение татар без разделения их на кулаков и трудящихся, на свободные земельные участки по берегам больших рек, у трактовых дорог и вблизи от железных дорог;

2) Вовлечение в средние и высшие учебные заведения максимального количества татарской молодежи, без разбора ее классовой принадлежности;

3) Форсированная татаризация учреждений и форсированная реализация татарского языка в них;

4) Особые налоговые и кредитные льготы татарским селениям;

¹ Губай, Гильфан.

5) Форсирование роста количества татарского пролетариата;

6) Создание татарского капитала (Татбанк).

Все это у «правых» называлось «наверстать упущенное историей».

Позднее к этим узловым вопросам прибавился еще один вопрос — борьба против введения нового латинского алфавита.

Все это было на руку татарскому кулачеству и татарской буржуазии и подрывало доверие татарских и русских трудящихся масс к Советской власти, так как:

на новые земли быстро переселялись преимущественно мощные хозяйства, а маломощные и нуждались в кредитах;

для массового поступления в ВУЗы были подготовлены тогда только дети буржуазии и кулачества, а дети татарских трудящихся нуждались в подготовительных для поступления в ВУЗы и техникумы учебных заведениях;

учреждения заполнялись буржуазной татарской интеллигенцией;

особые налоговые и кредитные льготы большей частью получали татарские кулацкие хозяйства (для бедняцких и середняцких хозяйств существовали общегосударственные льготы);

термин «татарский капитал» мог означать только «капитал татарских торговцев», ибо все, что социалистически накапливалось в ТР, являлось капиталом трудящихся масс Татарии, а в Татарском банке — 49% акций принадлежало торговцам, следовательно, они, татарские купцы, и обогащались через Татбанк.

1-й пункт этой платформы правых практически осуществляли Юнус Валидов, Ариф Енбаев и Гильфан Балтанов. До разоблачения Юнуса Валидова таких поселков было организовано свыше полсотни. Потом это дело партийная организация взяла под свой контроль.

2-й пункт платформы практически осуществляли я, Магдеев, Губай Балтанов, Хафиз Сайфи и Аяз Максудов.

Так как непосредственный контроль за работой вузов лежал на уполномоченном центра **Кочкарине**, не пожалевшем тогда идти с нами на сговор, то наша роль сводилась, главным образом, к созданию общественного мнения вокруг вопроса татаризации ВУЗов и техникумов, к даче положительных характеристик детям классово-чуждых элементов, к максимальному расширению круга учащихся татар, получающих помощь от государства и к посылке татар на учебу в другие города (Москва, Ленинград и т. д.) без разбора их классовой принадлежности.

3-й пункт платформы правых проводили в жизнь **Сабиров, Мансуров, Ганеев и Николай Петров**.

4-й пункт — **Мухтаров, Сабиров и Омар Бикбулатов**.

Очень важную роль в представлении разного вида кредитов татарским селениям вне классовой политики играли: сначала — Сельхозснабжение во главе с **Салиховым**, потом — Таткустпромсоюз во главе с **Ганеевым**, позднее — Сельхозбанк во главе с **Исмаевым**.

Осуществление 5-го пункта платформы правых было сосредоточено в руках **Зайнуллы Булушева, Салиха Мухтарова, Сабирова и Мансурова**.

В Татарском банке политику правых проводили **Наби Вахитов, Гильми Шараф**, а позднее — **Мустафа Тюменев и Вали Исхаков**.

Гаяз Максудов возглавлял научный фронт (Академический центр), а **Фатхи Бурнаш, Ахмед Умеров, Саттар Еникеев, Хафиз Сайфи, Шамиль Усманов**, во главе с **Гасымом Мансуровым**, проводили в жизнь националистическую линию «правых» в печати.

По вопросу о латинизации алфавита единого мнения среди «правых» не было. Так, **Шамиль Усманов**, например, является одним из инициаторов латинизации, **Сабиров, Мансуров** и ряд других «правых» по этому вопросу сильно колебались. Противники латинизации, в том числе и я, исходили из следующих соображений:

а) введение латинского алфавита (шрифта) убьет уже десятками лет накопленную татарскую литературу (как будто все ценное нельзя было переиздать,— что потом и было сделано Советской властью);

б) латинизация шрифта потребует много сил и энергии по переобучению уже грамотной части татарского населения;

в) латинизация отдаляет татарскую литературу от арабско-тюркской культуры.

Конечно, «правые» главным образом исходили из последнего соображения, хотя публично в этом не очень-то охотно признавались.

Этот последний аргумент скоро был выбит из рук «правых»... принятием латинского шрифта в Турции.

Кроме всех этих доводов, у меня, из «правых» только у меня, было еще одно возражение — непрактичность введения латинского шрифта. Я себя, на самом деле, неоднократно спрашивал: «Почему латинский шрифт? Если на то уже пошло, то почему не русский? Последний хоть облегчит обучение татар русскому языку, а русских — татарскому».

Эти соображения я высказал на широком партийном совещании по вопросу о введении нового алфавита. Но со стороны Галимзяна Ибрагимова я получил отпор.

Несмотря на отчаянную грызню между собой, и правые, и «левые» дружили с татарской буржуазной интеллигенцией, с татарской буржуазией. Более прозорливые представители татарской буржуазии «дружили и с правыми, и с «левыми» и жили очень хорошо и при первых и при последних. Так, например, владелец частной татарской типографии — **Насых Мухтаров** и его тесть — заводчик **Алметьев** постоянно приглашали в гости то «правых», то «левых» (поочередно, конечно). Между тем и «правые», и «левые» знали, что **Мухтаров** находится в связи с эмигрантом **Гаязом Исхаковым**. Также заигрывала и с «правыми», и с «левыми» и зубной врач **Хадича Ямашева**, тоже закадычный дружок **Г. Исхакова** и **Батталова**.

Аналогичной же «позиции» придерживался и хитрейший Мухетдин Курбангалеев.

Вокруг правых, и меня в том числе, постоянно кружились ловкачи Мубаракша Ахмедов (из Кукмора), Шариф Халитов, некий Бурган Баязитов или Бахтияров, точно не помню. Шигаб Ахмеров, Ибрагим Аитов, Хадича Ямашева, Альметьев, Насых Мухтаров в глаза хвалили и «правых», и «левых», натравливая их на националистическую борьбу против Советской власти. Я лично тоже был в близких отношениях с Мухтаровым и Таначевой, о чем я расскажу потом.

Большой круг друзей имела и среди «левых» (Фатих Сайфи, Салах Атнагулов), и среди «правых» (Будайли, беспартийный Фатых Мухамедьяров) и жена белоэмигранта Батгала—зубной врач Газизя Баттал, впоследствии каким-то образом сумевшая уехать за границу к мужу.

Эти факты тоже говорят о том, что и «правые», и «левые» лили воду на одну и ту же мельницу. Ведь Исмаев, ставший во главе татарского правительства после «правых», тоже был «правым», бывал в свое время и у Султан-Галиева, и у меня, и на групповых сборищах «правых». Об этом только не все знали. А Габидуллин?—Габидуллин в рядах правых числился ряд лет, имел крупные связи с татарской буржуазией. Став председателем Татсовнаркома, он спрятал на время свое подлинное лицо в маску и... только.

Шаймарданов, это «левый из левейших», тоже ведь когда-то (при Хатаевиче) предлагал правым составить единый фронт с «левыми».

Пользуясь нахождением у власти, правые в 1923 году решили создать материально-денежный фонд («правых») путем открытия на государственные средства высокоприбыльных торговых и хозяйственных предприятий с тем, чтобы часть прибыли от них отчислять в упомянутый фонд. Дело это было поручено Юнусу Валидову, который в свою очередь привлек в качестве помощника себе неко-

его Беккера (Москва). Но из этого дела, насколько я знаю, ничего не вышло.

Мне ничего неизвестно, были ли **Валидовым** отчислены какие-нибудь суммы в фонд (в распоряжение **Мухтарова** или **Султан-Галиева**) или нет. Словом, все дело с созданием фонда для меня с самого начала его было темным и остается таковым до сих пор.

Позднее (не помню, в каком году) мы, «правые», опять вернулись к делу создания фонда и поручили это **Богаутдинову** и **Ганееву**. Но и у них, по крайней мере до моего ареста (29 г.), ничего не получалось. До 29 года Ганеев и Богаутдинов сумели выделить только около 200 рублей — на созывы актива правых (на угощения) — да и то под видом аванса за переводы каких-то инструкций с русского языка на татарский.

Первый арест **Султан-Галиева** произвел на правых ошеломляющее впечатление. Причины ареста мы не знали. Потеря **Султан-Галиева** была чувствительна тем более, что дела правых в Татарии уже шли худо. В лице же **Султан-Галиева** правые потеряли влиятельного своего представителя — защитника в Москве и хорошего информатора по вопросам политической ситуации.

Вплоть до своего ареста **Султан-Галиев** систематически нас информировал по вопросам о международном и внутреннем положении СССР, а также о внутривластных делах. Мы, в свою очередь, постоянно информировали его о политическом и экономическом состоянии Татарии.

По решению центра «правых», я, Ганеев и Будайли производили сбор денег среди «правых» — для оказания помощи семье **Султан-Галиева**. Таким образом, было собрано, кажется, около 400 рублей. Когда стала известна причина ареста **Султан-Галиева**, правые растерялись, ибо обвинение против него было выдвинуто очень тяжкое: связь с басмачеством. На активе правых решено было отмежеваться от **Султан-Галиева**. Многие из нас возмущались, главным образом, не тем, что он имел переписку с главарем бас-

мачества Заки Валидовым, а тем, что он это скрывал от «правых». Некоторые руководители «правых», может быть, и знали о связи Султан-Галиева с Валидовым — басмачом, но большинство правых, в том числе и я, действительно, этого не знали. Я, конечно, знал о дружбе Султан-Галиева с Заки Валидовым, когда последний работал главой Башкирского Советского правительства, но не знал о связи Султан-Галиева с ним как руководителем басмачества. Об этом Султан-Галиев рассказал мне уже потом, некоторое время спустя после освобождения из-под ареста. Оказывается, Султан-Галиев имел постоянную связь с Заки Валидовым — басмачом, через башкирского работника Адагамова.

Однажды Султан-Галиев написал Валидову письмо в том смысле, что басмачам надо нажимать поинтенсивнее, что чем хуже дела у Советской власти на басмаческом фронте, тем разговорчивее она делается с националами.

Это письмо было послано в адрес Адагамова через члена Уфимского Мусульманского Духовного собрания — Кашафа Тарджиманова, у которого его (письмо) похитили и... оно оказалось в ОГПУ. Так меня информировал о причине своего ареста сам Султан-Галиев¹.

В числе других «правых» на Казанском национальном совещании отмежевался от Султан-Галиева и я и около года никакой связи с ним не имел.

Между тем положение «правых» в Татарии становилось все хуже и хуже, и 1924 год принес им полное заслуженное поражение. Перед этим, на съезде Советов Татарии, кроме вопроса о Султан-Галиеве, всплыло обвинение Мухтарова как цензора писем при царском режиме. В связи с этим на фракции съезда Советов произошла свалка, главным образом, между «правыми» и «левыми».

¹ История передачи письма в ОГПУ излагается упрощенно. В ней до сих пор много неясностей.

Вопросом о Мухтарове занялась Областная Контрольная Комиссия, результат расследования которой опубликован не был. Мухтаров сам по этому вопросу предпочитал ничего не говорить даже перед нами.

Мухтаров, Енбаев, Сабиров и Мансуров были отозваны в Москву, а многие из нас, в том числе и я,—сняты с ответственных должностей.

Этому предшествовало известное заявление «39-и». Содержание его известно. Скажу только, что авторами заявления «39-и» являются Мухтаров, Енбаев и Гасым Мансуров, а сборщиком подписей я.

Шамиль Усманов на очередной партийной конференции, еще до отъезда Мухтаровых в Москву, неожиданно для всех снял свою подпись с заявления «39-и» и отмежевался от «правых». Это было особенно тяжело для меня, т. к. Усманов являлся самым лучшим моим другом среди «правых», одним из организаторов правых националистов и непримиримым «правым». У меня у самого в дни этой конференции настроение было такое плохое (на конференции правые своих сторонников насчитывали только единицами), что, посоветуйся Усманов по поводу своего выступления со мной, тоже наверняка последовал бы его примеру. Выступление Усманова вызвало во мне и зависть, и раздражение.

После отъезда из Казани Мухтарова, Сабирова, Мансурова и Енбаева «правые» решили эту четверку считать своим центром, а в Казани иметь местный центр. В этот местный центр входили: Брундуков, Ганеев, Будаили, Богаутдинов, Фасхи, Вали Исхаков, Ф. Бурнашев, Магдеев и Гаяз Максудов.

Платформа правых на этот период ими была изложена в заявлении «39-и», но основной задачей нашей являлось возвращение правых к власти, на что, правду говоря, шансов почти никаких не было, т. к. во всей татарской парторганизации в то время «правых» поддерживали только единицы, да часть партийцев Бондюжского завода.

При этих условиях «правые» еще больше ушли в подполье.

Султан-Галиев скоро был освобожден и через некоторое время стал работать в одном из кооперативных центров в Москве. Этого было достаточно, чтобы правые начали двурушничать: на словах они стояли в стороне от **Султан-Галиева**, а фактически **Султан-Галиев** стал одним из членов их Московского центра. Правда, **Султан-Галиева** после его провала правые несколько чуждались, боялись и не всегда поэтому приглашали его на свои совещания (на что **Султан-Галиев** очень обижался), но существо дела от этого не менялось.

Стал по-прежнему встречаться и советоваться с **Султан-Галиевым** и я. Но **Султан-Галиев**, очевидно, мало удовлетворялся работой «правых» в Татарии и поэтому стал на путь создания параллельной организации, о чем я узнал гораздо позднее и о чем речь будет ниже.

Московский центр все больше и больше склонялся к давнишней мысли **Султан-Галиева** о неизбежном крахе Советской власти и о необходимости создания кадров на этот случай. В последней редакции эта мысль **Султан-Галиева** выглядела так: сейчас Советская власть близка к крушению больше, чем когда-либо. Это крушение произойдет либо от внутрипартийных раздоров (оппозиция), либо от интервенции, либо от правой политики самого ЦК.

Окраины могут стать колониями капиталистических государств или отторгнуться от России и существовать как самостоятельные государства. К этому времени и нужно готовиться националистам, нужно иметь большую и крайнюю политическую организацию, чтобы ход исторических событий направить по желательному им, националистам, руслу. Этой гипотезе **Султан-Галиева** мы не очень сильно верили, но принимали ее серьезно к сведению. **Султан-Галиев** не давал нам ясного ответа на один волнующий нас, татаристов, больше всего вопрос: а как при этом случае будет с так называемыми внутренними республи-

ками (Татария, Башкирия, Чувашия и др.)? Ведь они при таких условиях самостоятельно существовать не могут.

Нас, «правых», больше пугала другая версия (не знаю сейчас, кто является ее автором), а именно: Советская власть будет жить, преодолев внутривластные трудности и дав отпор интервентам, но национальный вопрос постепенно будет сниматься с повестки дня и дело фактически пойдет на русификацию населения национальных республик и областей. Как видите, одна мысль грязнее, контрреволюционнее другой! Клевета на партию и Советскую власть у султангалиевцев была в большом ходу.

Принимая во внимание вышесказанное, Московский центр правых предложил казанцам войти в организационную связь с националистической беспартийной татарской интеллигенцией. Вместе с **Ганеевым** мы нащупали, правда, довольно расплывчатый, центр этой интеллигенции и, в конце концов, договорились с ним о совместных действиях по важнейшим вопросам политической и экономической жизни Татарской Республики. Постоянную связь с центром беспартийных националистов поддерживали **я, Ганеев, Будаили и Вали Исхаков**. Благодаря нам этот центр всегда был в курсе всех событий. А мы сами информировались через **Богаутдинова и Ганеева**, состоявшими членами бюро Областного Комитета партии, и из Москвы, где **Мухтаров, Сабилов, Енбаев и Мансуров**, состоя ответственными работниками, располагали достаточным материалом по всем отраслям жизни страны.

Центр националистической татарской интеллигенции составляли: **Фатых Мухамедьяров, Таначев Валидхан, Бикбулатов Омар, Тюменев Мустафа и Ахтямов Ибниамин**.

Правда, я не могу сказать, что эти люди представляли всю буржуазную татарскую интеллигенцию Татарской Республики того времени, но лучших, готовых на активную работу вместе с нами, мы тогда не нашли.

Большое совместное выступление правых с националистической татарской интеллигенцией произошло по воп-

росу о новом алфавите во время Казанского Пленума комитета «Яналиф», когда более 80 человек татарской интеллигенции подписали декларацию против нового алфавита. Как это было практически организовано — сказать этого не могу, т. к. я был в то время не то в отпуске, не то в командировке и застал только заключительное заседание Пленума.

Надо сказать, что и среди членов Пленума комитета «Яналиф» немало было двурушников. Так, на банкет, устроенный правыми в честь гостей, — членов пленума комитета «Яналиф» (?) — явились все приглашенные члены пленума (?). Этот банкет был организован на квартире Ганеева и Будаили.

Какова роль иностранных разведок в деле организации националистической борьбы против Советской власти в национальных республиках и областях? Ответ на этот вопрос может быть только один: огромная всякая борьба против Советской власти, откуда бы она ни исходила, ослабляет мощь нашей страны. Это — аксиома. Раз так, то организация всякой борьбы против страны Советов, в том числе и националистической борьбы, являлась и является важнейшей функцией разведок капиталистических стран. Султангалиевцы, «правые», в том числе и я, тоже играли ведь грязную роль негодяев — фактических агентов иностранной разведки.

Панисламисты, пантюркисты всех мастей всегда считали Турцию главою панисламистического движения и возлагали на нее большие надежды. Оно, на самом деле, так и было, так и есть: панисламистическое движение вдохновлялось и вдохновляется Турцией. Ишаны, муллы и прочие агенты турецкой разведки в старой татарской деревне, в мяктябэ и медресе (религиозные школы) Турцию Султана и Шайхуль-Исляма (главы Ислама) при каждом удобном случае преподносили темным татарским массам и учащейся молодежи, как силу, благодаря которой только мусульманство всего мира имеет возможность исповедо-

вать свою религию, Ислам. Эту же версию неустанно сеяли и прожженные политики-пантюркисты — эти Ахмедбек Цаликовы, Садри Максудовы и Исхаковы. Очагом распространения пантюркистских настроений — среди молодежи, среди татарского населения Поволжья являлось Иж-Бубинское медресе, где, как потом мне передавали мои товарищи по Казанской татарской учительской школе, когда-то учившиеся в Бубие, нередко на кафедре поднимались переодетые турецкие офицеры.

После Февральской революции в России панисламистическая пропаганда отнюдь не пошла на убыль, а наоборот, только усилилась. Заражен был этим панисламизмом, как известно, и покойный **Мулла-Нур Вахитов**.

Когда я сошелся ближе с **Султан-Галиевым**, то узнал, что он тоже является активнейшим панисламистом, пантюркистом (для меня лично оба эти понятия означают одно и то же). И вот **Султан-Галиев** осторожно, но упорно стал обрабатывать нас, актив «правых», в духе панисламизма. Под этим активом «правых» я подразумеваю таких «правых», которые не учились в старых медресе, где воспитание в панисламистическом духе клалось во главу угла. К этой категории «правых» относились, например: я, Ганеев, Енбаев, Богаутдинов, Фасхи, Ш. Усманов и другие. Что же касается таких «правых», как Будайли, Мансуров, Гаяз Максудов, братья Балтановы, Фердевс, Юнус Валидов, то они, пожалуй, в такой обработке **Султан-Галиева** не нуждались — сами со школьной (медресе) скамьи были убежденными панисламистами.

Конечно, агитация **Султан-Галиева** внешне отличалась от агитации Мусульманского духовенства. Он меньше всего говорил об Исламе, о религии (еще бы!). **Султан-Галиев**, примерно, говорил следующее: революция в России может принять разные обороты. Может вновь восторжествовать реакция с еще большей русификаторской политикой миссионеров **Ильминских**, чем это было до революции. Кто больше всего пострадает от этого? Конечно, не русский

народ, а инородцы, в первую очередь, мусульмане. Кто же тогда их будет защищать? За армян, грузин, украинцев, немцев, белорусов, заступятся христианские государства, за евреев — еврейские капиталисты за границей, а восточные народы могут искать защиту только у мусульманских государств, главным образом, у Турции. Позднее, как уже сказано об этом выше, Султан-Галиев усиленно выдвигал необходимость создания особой политической пантюркистской организации, задачей которой являлось бы в случае поражения революции в России защита интересов мусульманских народов, может быть, вплоть до создания государственной федерации их. Здесь тоже нужна будет помощь Турции.

Отсюда Султан-Галиев делал выводы:

1. Когда Турция была еще очень слаба, он настаивал на том, чтобы все «правые» оказывали всяческое содействие делу расширения помощи Турции со стороны Советской России (речь идет, главным образом, о создании соответствующего общественного мнения).

2. Когда кемалистская Турция более или менее стала на ноги, он — Султан-Галиев, выдвигал вопрос о связи с турецкими националистами с тем, чтобы они оказывали влияние на СССР в части реализации последним (СССР) национального вопроса.

Будучи убежденным сторонником поражения социалистической революции в России, Султан-Галиев выдвигал также вопрос о связи с видными татарскими белоэмигрантами. Так выглядит панисламистская пропаганда Султан-Галиева, если ее изложить простыми словами. По этим тезисам Султан-Галиева (они были известны и в партийных кругах) правые много спорили и многие не разделяли пораженческих настроений Султан-Галиева и его тезис о создании Всевосточной политической организации. Безусловно, и целиком и полностью разделяли вышеизложенные идеи Султан-Галиева: Фердевс, Енбаев, Булушев, Гаяз Максудов, Будаили, Юнус Валидов, братья Балтановы. Это —

активные татарские «правые». Но Султан-Галиев имел немало сторонников среди беспартийной националистической интеллигенции Татарии, среди крымчаков, в Башкирии, в Средней Азии и в Азербайджане.

Из панисламистских взглядов Султан-Галиева я тогда разделял: независимое существование мусульманских государств (Турции, Ирана, Афганистана, Египта, Аравии); необходимость оказания Советской Россией активной помощи кемалистской Турции и национальному движению в колониях, культурную связь татар и других тюркских народов с Турцией (с националистической Турцией) и связь с крупными представителями татарской эмиграции с целью рекомендовать им, последним, «сменить вехи» (смено-веховщина) и вернуться в Татарию.

По вопросу о вмешательстве турецких националистов во внутренние дела СССР, в национальную политику Советского правительства я придерживался отрицательного мнения, считая, что такое вмешательство турок во внутренние дела СССР может вызвать плохие последствия как для Турции, так и для тюркско-татарских националистов у нас. Я вплоть до своего ареста оставался узким татарским националистом. Моими единомышленниками были: Шамиль Усманов (до своего отмежевания от «правых»), Ганеев, Богаутдинов и др. Я был своего рода пантатаристом, хотя этот термин никогда и не употреблялся. Я, вплоть до своего ареста, не разделял идеи создания единой политической организации Востока и туранизма Султан-Галиева. Я выдвигал такие положения: революция живет и будет жить. Надо сделать так, чтобы Татреспублика была маяком для остальных восточных национальных советских республик в культурном отношении. Литература, искусство, культурные кадры Татарии — все должно прийти на помощь остальным восточным советским республикам. Поэтому Советская власть должна оказывать Татарии материальную помощь в гораздо больших размерах, чем это делается в отношении других республик.

Изложенное, разумеется, ни в какой степени не снимает с меня ответственности за действия султангалиевцев.

Незадолго до своего второго ареста Султан-Галиев говорил, если в России восторжествует реакция, то Турция будет проглочена этой реакционной Россией, что турки это понимают и не знают, видимо, как быть: прочно ориентироваться на могущественный СССР или придерживаться политики «влияния». Я готов был тогда усмотреть в этой мысли Султан-Галиева нотки отказа от некоторых прежних его взглядов в части взаимоотношений между СССР и Турцией.

Исходя из всего вышеизложенного о панисламизме и пантюркизме, султангалиевцы, в том числе и татарские «правые», всегда и весьма откровенны были со всеми «людьми с востока», которые в те годы в обилии посещали Советскую Россию и с которыми им приходилось встречаться. Первую такую «откровенность» я проявил, кажется, в 1920 году.

В один из моих приездов в Москву, Султан-Галиев представил меня (на квартире Наримана Нариманова) некоему Ашшайхо Баракатулла, которого все присутствовавшие при этом гости величали как виднейшего ученого и революционера из Индии. Баракатулла говорил на фарси, переводил его тогдашний Петроградский мулла Муса Бигеев, Султан-Галиев предупредил меня, что Баракатулла в ближайшие дни официально приедет в Казань, и что всячески нужно будет ему содействовать в деле ознакомления с Казанью.

И, действительно, через некоторое время Баракатулла приехал в Казань, имея при себе в качестве переводчика Мусу Бигеева. По просьбе Баракатуллы в помещении цирка был организован митинг для татарского населения Казани. На митинге Баракатулла хвалил русскую революцию, говорил о деспотизме Англии и Франции в колониях с мусульманским населением и приветствовал будущую Татарскую республику. После этого я сопровождал Бара-

катуллу и Бигеева на такой же митинг в Пороховой слободе. Дорогой Баракатулла очень подробно меня расспрашивал об экономической базе, о населении будущей Татарской Республики, о политических течениях среди татарской молодежи (группировки) и национальных формированиях. Я по всем этим вопросам дал ему подробную информацию, совершенно не задумываясь над тем, кем же является Баракатулла на самом деле. Кем был на самом деле Баракатулла,—я до сих пор этого не знаю. Но я не мог не знать тогда же, что Баракатулла является иностранным подданным и не состоит членом братской Компартии.

Надо сказать, что секреты партии и правительства националистами «рассекречивались» очень часто. Насыхмухтаровы, Таначевы-Ямашевы, Салиховы, Бикбулатовы, Мухамедьяровы и другие от «правых» и «левых», в том числе и от меня, от Мухтарова, Енбаева, Будаيلي, Ганеева, Мансурова, Сабирова, Валидова и проч. узнавали о таких вещах, о которых положено было тогда знать только членам партии — ответственным работникам.

Вот еще один пример. Раз Ганеев без всякого на то повода, без всякой надобности, спросил: «Знаешь ты, что скрывается в бывших кавалерийских казармах под видом сельскохозяйственных курсов?»¹ Я, признаться, даже не знал, что в бывших кавалерийских казармах имеются какие-то там курсы и ответил, что ничего не знаю. Тогда Ганеев под большим секретом сообщил мне, что там под видом сельскохозяйственных курсов помещается немецкая военная школа, готовящая командиров для будущей большой Германской армии для борьбы против Антанты, т. к. согласно Версальскому договору она (Германия) у себя таких школ открывать не может. При этом Ганеев добавил, что все это ему сообщил, тоже под большим секретом, секретарь Областного Комитета партии Разумов.

¹ Речь идет об организации под кодовым названием «Кама». Здесь шла подготовка танкистов для Германии и СССР.

Я рекомендовал Ганееву тогда же с такого рода секретами быть поосторожнее. Не знаю, говорил об этом Ганеев с кем-нибудь еще или нет. Я лично об этом никому и ничего не говорил.

Как я уже говорил, особенно близко с Султан-Галиевым мы сошлись в 20—22 годах, когда оба работали в Народном Комиссариате по делам национальностей — я в качестве пом. заведующего секретариатом И. В. Сталина, а Султан-Галиев — членом Коллегии Наркомата.

В Секретариате на меня была возложена определенная работа, а именно: 1) составление каталога книг, имеющих то или иное отношение к национальному и колониальному вопросам; 2) просмотр газет и составление по ним информационного бюллетеня для И. В. Сталина; 3) просмотр «Бюллетеней бюро печати советских полпредств» и составление по ним краткой информации для И. В. Сталина.

Бюллетени эти не подлежали оглашению и часто содержали в себе весьма важный материал. Несмотря на это, я очень часто давал их на просмотр Султан-Галиеву, конечно, не как члену Коллегии Наркомнаца (это в мои функции не входило), а как руководителю «правых», как идеологу националистической борьбы. Султан-Галиев, в свою очередь, знакомил меня с решениями ЦК, которые ему давались как члену Коллегии Наркомнаца и члену Татаро-башкирского бюро при ЦК партии.

Однажды Султан-Галиев, как будто между прочим, сказал мне, что он туркам сообщил о намерении англичан нажать на Советскую Россию по поводу чрезмерного увлечения последней (России) Турцией. Сведения, переданные Султан-Галиевым туркам, им, Султан-Галиевым, взяты из тех «Бюллетеней бюро печати полпредств», которые я ему показывал, не имея на то права. Вместо того, чтобы сообщить о поведении Султан-Галиева в соответствующие инстанции, я ограничился молчанием и, тем самым, стал соучастником шпионского преступления Султан-Галиева.

Мало того, однажды, в приемный день Турецкого посольства, Султан-Галиев взял туда и меня и познакомил с послом и его работниками. Там, в посольстве, в это время было еще несколько человек татар, но кто — не помню. Не помню также и того, о чем там мы говорили с послом в течение нескольких минут. Надо сказать, что этот посол (не знаю, как его звали, а дело было в 21—22 г.) имел популярность и связи на Татарской улице города Москвы: по праздникам он ездил в мечеть, знал по имени многих татар, принимал их у себя.

Таким образом, для меня стало ясно, что у Султан-Галиева отношения с Турецким посольством очень близкие. Об этом знала почти вся верхушка правых (Фердевс, Ембаев, Мухтаров, Мансуров, Сабиров, Булушев, Будаيلي и др.).

О том, что он порвал свои связи с Турецким посольством, Султан-Галиев в последующем мне никогда не заявлял. Мне было еще известно о том, что Султан-Галиев дружил с одним татаринном (фамилии его я не знаю, но раз у него был с Султан-Галиевым в гостях; он был молодым, холостым человеком и жил по Клементьевскому переулку), состоявшим на службе в Турецком посольстве и являвшимся турецким подданным. Но Султан-Галиев об этих своих связях перед нами, перед верхушкой правых, особенно не распространялся. Я лично больше в турецком посольстве не бывал и ни с какими сотрудниками его (турецкого посольства) не встречался (я скоро уехал на работу в Казань). Но я, повторяю, о связи Султан-Галиева с турецким посольством и своем визите туда верхушке правых говорил.

Из других турецких деятелей я один раз видел Энвер-пашу и один раз — Халил-пашу. С первым я встретился на официальном банкете (21—22 г.), устроенном в его (Энвер-паши) честь Московским отделением общества «Красный полумесяц». Руководителем этого отделения «Красного по-

лумесяца» тогда состоял московский житель Шамиль Загид — отпрыск знаменитого Шамиля и рьяный пантюркист, панисламист¹.

Халил-пашу я тоже видел на официальном банкете (в те же годы), организованном в Башкирском представительстве тогдашним главою правительства Башреспублики Заки Валидовым.

Частных разговоров ни с Энвер-пашой, ни с Халил-пашой я лично не имел, если не считать того, как Энвер-паша показал мне и Шаймардану Ибрагимову карандашные наброски-портреты участников банкета (такие наброски Энвер-паша делал очень быстро, в блок-альбоме его имелись такие же портреты руководителей Советского правительства, работников штаба РККА во главе с начальником штаба П. П. Лебедевым).

Некоторые участники банкета у Загида Шамиля (сам Загид Шамиль, Карамышев, академик-тюрковед Самойлович) давали понять Энвер-паше, что их симпатии не на стороне Кемаль-паши, а на его, Энвера, стороне, чем последний был очень доволен. Об этом же мне как-то говорил и Султан-Галиев. Он тоже находил, что Энвер-паша в защите интересов мусульманских народов был бы напористее Мустафы.

Через некоторое время после банкета в Башкирском представительстве я от Султан-Галиева узнал об убийстве на Кавказе (кажется) Халил-паши. Султан-Галиев говорил, что Халил-паша убили, как сторонника Большой Турции, армянские националисты.

¹ Энвер-паша — самый крупный политический и военный деятель Турции начала XX века. В описываемый период он был оттеснен с политической арены Кемалем. У советского руководства были планы использования Энвера для организации повстанческого движения в сфере влияния Англии. Однако Энвер предпочел возглавить басмаческие отряды в Фергане и добился значительных успехов в борьбе против советских войск. В 1922 г. в результате успешной операции советской разведки он был уничтожен.

Как уже говорилось выше, после переезда на работу в Казань я находился в постоянной переписке с Султан-Галиевым. Он от нас, от «правых», требовал постоянной информации о состоянии Татарии (экономика, политика, культурное строительство, партийные дела, дела «правых» и «левых»). Я ему писал, писали ему также Мухтаров, Гансеев, Ембаев, Будаيلي, Сабилов, Мансуров и другие. Писали мы ему не только о делах Татарии, а обо всем, что мы узнавали даже от приезжающих в Казань из других районов и областей (Урал, Поволжье, Сибирь) работников. Ведя такую переписку с Султан-Галиевым, мы не могли забыть, что он имеет связь с турками. Но больше о турках Султан-Галиев ничего не писал (по крайней мере мне). По нашим письмам Султан-Галиев давал нам советы для нашей подрывной националистической работы в Татарии, информировал нас, в свою очередь, о делах в других национальных республиках и в центре (в Москве).

Таковую же связь, как с Татарией, Султан-Галиев имел и с другими национальными республиками, областями и районами. По Башкирии, например, его верными людьми и информаторами состояли Адигамаев и Бикбов, по Крыму — Фердевс, по Донбассу (долгое время) Булушев, по Астрахани — Саттар Еникеев (до его переезда в Татарию) и еще немало людей, мне неизвестных.

Таким образом, Султан-Галиев всегда располагал самыми свежими сведениями из всех нац. республик, областей и районов.

Султан-Галиев неоднократно мне говорил, что было бы неплохо послать в Турцию своего верного человека, который мог бы связаться с общественными деятелями не только Кемалистской Турции, но всех течений и давать оттуда информацию. Я не возражал, но только удивлялся, почему ему, Султан-Галиеву, понадобилась связь с «другими течениями» в Турции. Этого я не понимаю до сих пор, ибо при мне Султан-Галиев ни разу не выражал особого недовольства Турцией Кемалю.

Как известно, Султан-Галиев в качестве такого человека в Турцию послал Хафизова (бывшего анархиста), но об этом мне стало известно только после ареста Хафизова. Согласовал ли Султан-Галиев посылку Хафизова с другими правыми и откуда на это взял деньги — мне неизвестно.

Работая в Секретариате И. В. Сталина, я давал на ознакомление Султан-Галиеву еще один материал — рукопись Дзевалтовского о состоянии работы в ДВР. Сам я этой рукописи не читал, поэтому содержания ее не знаю, помню только, что рукопись была листового формата, в синей обложке и имела на обложке надпись «на правах рукописи».

Султан-Галиев часто выражал недовольство тем, что мы, «правые», не имеем своих работников в ОГПУ и Наркоминделе. Он хвалил «левых», которые сумели провести в ОГПУ Алмаева Ахмедзяна и Яруллина, а также и ряд работников в Наркоминдел. Мы, «правые», действительно, до 1929 г. таких работников не имели, если не считать Керима Хакимова и Ибрагима Амерханова, которые были для нас сомнительными «правыми» и которые работали в Советском представительстве где-то в Аравии. По возвращении Амерханова из Аравии (не помню, в каком году), мы, Ганеев, Будайли, я и не помню еще кто, были у него в гостях. Основная цель этого нашего посещения заключалась в том, чтобы удержать Амерханова в рядах «правых». Он нам подробно рассказал об интригах советских, английских и турецких представительств за влияние в Аравии. Сейчас я не помню, передавал я беседу с Амерхановым Султан-Галиеву или нет. Скажу только, что меня лично Аравия не интересовала. По пути еще скажу о том, что на этом «чаепитии» у Амерханова и в другой раз в гостях у его дяди мы говорили о желательности создания Тукаевско-Амерхановского Общества (в честь татарского поэта Тукаева

и писателя Фатыха Амерхана), наподобие Пушкинского общества¹.

С Султан-Галиевым сильно дружил татаро-башкирист **Рахимкулов**, окончивший Академию генерального штаба и работавший военным атташе в Турции.

Как я уже показывал раньше, у «правых» в Москве, на Водопьяном переулке, жил свой человек **Али Баширов** (был арестован по нашему делу в 1929 году). Мы часто у него собирались вплоть до моего ареста в 1929 году. **Султан-Галиев** мне однажды сказал, что этот **Али Баширов** имеет связи с «персюками», т. е. азербайджанцами. Но в чем выражалась эта связь — **Султан-Галиев** ничего об этом мне не сказал.

Султан-Галиев имел большие связи с Крымскими милли-фирковцами, которые, как мне говорил **Фирдевс**, были, в свою очередь, связаны с турецкими националистами и пантюркистами.

Выше я говорил, что «правые», в том числе и я, намеревались вернуть в Татарию белоэмигранта **Гаяза Исхакова** и других. Говорил также, что с **Исхаковым** в Казани связь поддерживали **Насых Мухтаров** и **Хадича Ямашева**. Об этом правые, в том числе и я, тоже знали.

И вот в 1922 г., друг **Насыха Мухтарова**, **Хадичи Ямашевой**, мой и **Юнуса Валидова** — **Рауф Алмаев**, благодаря содействию **Юнуса Валидова**, получил командировку в Берлин на учебу. Деньги **Алмаеву** и его жене (он поехал с женой) отпустил в Татнаркомзем... добавочно, **Насых Мухтаров**. **Рауфу Алмаеву Юнусом Валидовым** и **Мухтаровым** было дано задание (я это одобрил, хотя и имел личную неприязнь к **Исхакову**) найти за границей **Гаяза Исхакова**,

¹ Идея создания такого (Тукаевско-Амирхановского) общества представляется нам весьма плодотворной. Возможно, настало время осуществить то, о чем мечтали лучшие представители татарской интеллигенции еще в 20-е годы.

информировать его о делах в Татарии и предложить ему поднять вопрос о возвращении в Татарию. Рауф Алмаев принял это поручение. Чем кончилась эта миссия Алмаева — сказать не могу и вот по какой причине: после отъезда Алмаева в Берлин кто-то пустил слух, что он является агентом ОГПУ. Через год, кажется, Алмаев внезапно вернулся в СССР и еще до встречи со мной узнал о подозрениях «правых» по своему адресу и прекратил со мной всякие сношения (при встречах раскланивались и — больше ничего).

Тот же Юнус Валидов, с одобрения Мухтарова и Енбаева, переправил за границу дочь одного из своих учителей по Бубейскому медресе, выхлопотал им командировки на заграничную учебу. Деньги им Валидов отпустил из средств Наркомзема или из фонда «правых», хорошо не знаю. Об этом знал и я, знали и Ганеев, Мансуров и Сабиров (не помню только, Валидов сказал мне об этом до отправки девушек или после).

Об этой изменнической работе Султан-Галиева и татарских «правых» я, во время следствия 1929 года, ограничился заявлением следователю: «Мне были известны связи Султан-Галиева с турками». О приведенных же в настоящем заявлении фактах я ничего не говорил, их скрыл от следственных органов, у меня не хватило честности и мужества говорить о них. А приведенные здесь факты говорят о том, что Султан-Галиев в бытность членом партии и после исключения из нее вел махровую панисламистскую и пантюркистскую политику, войдя, ради осуществления своих целей, в сношения с иностранной разведкой — турецким посольством. Татарские правые, в том числе и я, в этом Султан-Галиеву активно, изо всех своих сил помогали, как бы разделяя с ним, таким образом, фактически его шпионскую работу. До какого года продолжалась связь Султан-Галиева с Турецким посольством, этого

Часть I
ПЕРЕПИСКА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II
И
ГОСПОДИНА ВОЛЬТЕРА,
продолжавшаяся съ 1763 по 1778 годъ.

Перевелъ съ Французскаго
Иванъ Фабиявъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Съ Припискомъ Императрицы и Вольтера.



МОСКВА, 1805.
Въ вольной Типографіи Гарія и Колланіи.

Титульный лист изданной переписки Екатерины II с Вольтером.

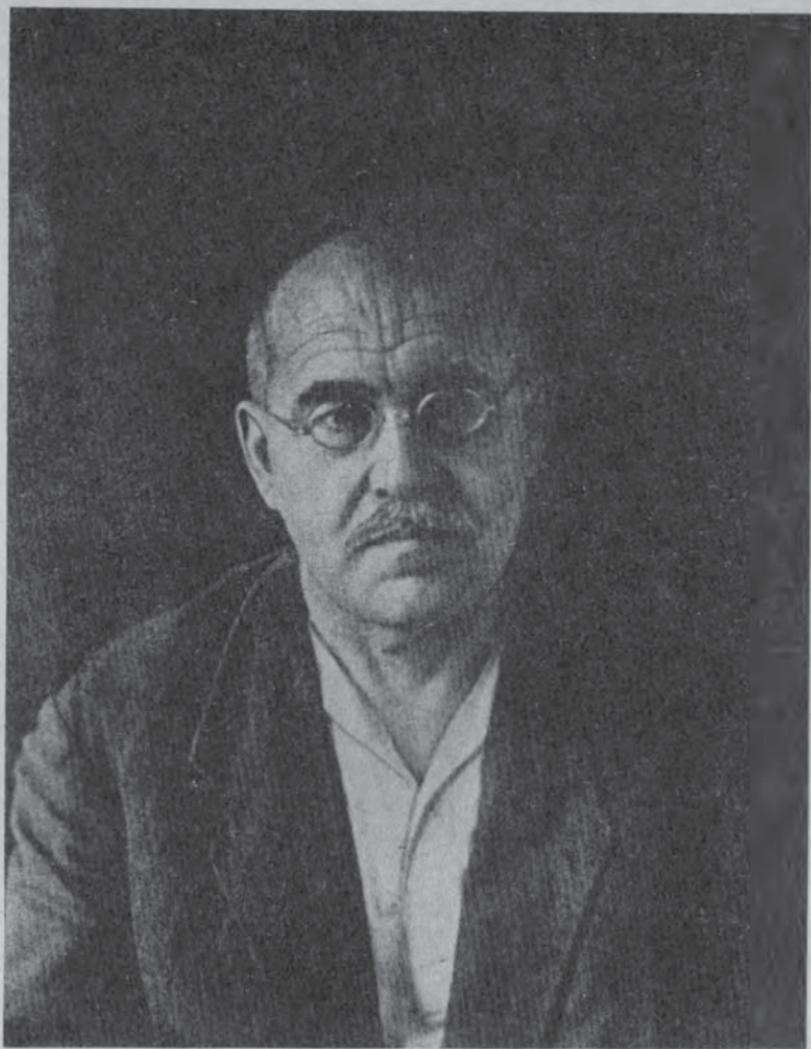


Али Аскарлович Шейх-Али.

Д. М. Оди́нец.



Студенты и преподаватели Русского эмигрантского университета в Париже. В центре — профессор Д. М. Оди́нец.



Х. Атласов. 1937 год.



Отец Али Аскаровича, генерал-майор Али-Шейх-Али.

БОЖИЕЮ МИЛОСТІЮ
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССИЙСКІЙ ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ,
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

И ПРОЧАД, И ПРОЧАД, И ПРОЧАД.

Нашему Г. В. Подполковнику, Командую-
щему Оренбургскимъ казачьимъ № 6
полкомъ, Али Шейхъ-Али.

Въ награду отличной храбрости и мужес-
тва, оказанной вами во время военныхъ дей-
ствий большого Саламатинскаго отряда при де-
лании Эрзерума зимою 1877 и 1878 годовъ,
Всеимператорскимъ повелениемъ Мы васъ
Указали, въ 8 день Мая мѣсяца 1879 года Намъ
титуломъ Кавалера Императорскаго
и Царскаго Ордена Нашего Святого
Станислава второй степени съ имениемъ

Наградная грамота Александра II, выданная Али-Шейх-Али.

Фуад Туктаров.



ادگار مان هېنگله د جمع مياش اوسه
پر سوره يواد کي توكار



Казанская учительская школа. Преподаватели.

Г. Я. Трошин. 21 год.



А. А. Овчинников. 19 лет.



Студент Стамбульского университета Ф. Карими.



Гариф Карими, экономист и политический деятель, правая рука Гаяза Исхакова в эмиграции, погиб в Варшаве в начале 30-х годов при загадочных обстоятельствах.



Преподаватели и студенты двухгодичных педагогических курсов в Бугульме. В центре — Х. Атласов.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Мусульманской лево-социалистической Фракции Областного Съезда советов Волжско-Камского бассейна ОБЪ УРАЛО-ВОЛЖСКОМЪ ШТАТЪ.

Принимая во внимание, что социальная революция в настоящее время возможна только при условии не только ликвидации классового дифференциация и полной ликвидации протектората восточных народов, а послѣдняя возможна только при условии радикального разрешения национального вопроса и ликвидации протектората и ближайшаго крестьянскаго вопроса восточных народов, ввиду того, что протекторат и ближайшаго крестьянскаго вопроса восточных народов своей буржуазно-мусульманской лѣво-социалистической фракции областного съезда советов Волжско-Камского бассейна 24 (11) февраля вынесла единогласно слѣдующую резолюцию:

- 1) Каждая нация восточных народов въ лицѣ своего протектората и ближайшаго крестьянскаго вѣдѣнъ имѣетъ право на полное культурно-национальное самоуправление.
- 2) Каждая нация въ лицѣ своего протектората и ближайшаго крестьянскаго вѣдѣнъ имѣетъ право на полное территориальное самоуправление въ томъ размѣрѣ границъ, существующихъ губернскаго, уездныхъ и волостныхъ административныхъ единицъ на национальнѣхъ земляхъ, образованія автономнаго самоуправленія, образованія особаго штата, образованія полной независимости, исходя изъ вышеизложеннаго принципа самоуправленія на территоріи своего протектората, — но при этомъ должны быть соблюдены также экономическіе и культурные интересы протектората и ближайшаго крестьянскаго вѣдѣнъ имѣющихъ въ данномъ районѣ меньшинство.
- 3) Во всѣхъ административныхъ единицахъ, автономныхъ областяхъ, штатахъ или совершенно самостоятельныхъ республикахъ, возникшихъ или возникающихъ въ предѣлахъ бывшей Россійской Имперіи, — вся власть должна принадлежать советамъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ.
- 4) Во всѣхъ мѣстныхъ и краевыхъ советахъ и советахъ самостоятельныхъ республикъ и въ исполнительныхъ органахъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ наций должны быть представлены соразмѣрно достигнутому этой нацией проценту въ данномъ районѣ.
- 5) Въ предѣлахъ Южнаго Урала и средняго течения Волги должны быть образованы особый штатъ подъ названіемъ Идель-Уральскаго (Урало-Волжскаго) Штата.
- 6) Границы этой республики должны быть проведены съ расчетомъ наибольшаго включенія территорій населенныхъ мусульманами тюркскихъ племенъ и наибольшаго исключенія территорій, населенныхъ другими народами.
- 7) Исходя изъ вышеизложеннаго принципа въ составъ Идель-Уральскаго Штата должны войти:
 - а) Вся Уфимская губернія.
 - б) Восточная половина Казанской губ. а именно: гор. Казань, Казанскій, Мамалинскій, Лавинскій уѣзды и части съ мусульманскимъ населеніемъ Тетевскаго, Спасскаго, Чистопольскаго, Свяжскаго, Царевъ-Константиновскаго, Цивильскаго и Чебоксарскаго уѣздовъ;
 - в) Северо-Восточная часть Сибирской губерніи, (а именно: части съ преобладающимъ мусульманскимъ населеніемъ Буинскаго и Симбирскаго уѣздовъ).
 - г) Северо-Восточная часть Самарской губ. (а именно: части съ преобладающимъ мусульманскимъ населеніемъ Бугурусланскаго, Бугурусланскаго и Бузулукскаго уѣздовъ);
 - д) Западная часть Оренбургской губ., примыкающая къ Уфимской губ. (а именно: части съ мусульманскимъ населеніемъ Оренбургскаго, Орскаго, Верхне-Уральскаго, Троицкаго и Челябинскаго уѣздовъ);
 - е) Южная часть Пермской губ. (а именно: части съ мусульманскимъ населеніемъ Шадринскаго, Красноуфимскаго и Соинскаго уѣздовъ);
 - и) Части Вятской губ., примыкающей къ Казанской и Уфимской губ. (а именно: части съ мусульманскимъ населеніемъ Малмыжскаго, Елабужскаго и Сарапульскаго уѣздовъ);
- 8) Въ Урало-Волжскомъ Штатѣ должно осуществиться полное, послѣдовательное — проведенное равенство націй, языковъ и религій.
- 9) За принадлежностью національностей, составившихъ меньшинство въ Урало-Волжскомъ Штатѣ, сохраняется право, какъ на культурно-национальное, такъ и на национально-территориальное самоуправленіе согласно первому и второму пунктамъ.

Митрополит Кирилл — Смирнов Кон-
стантин Илларионович.



Асгат Айдар.



Поэт Сириян.

№1000 35 лан



Т. ВЛАДИМИРС.

Христос диненярыя ул?
(на тат. яз.)

КАЗАНЬ ТАТИЗДАТ 1930

XRISTOS
R
I
S
T
O
S



DINE NƏRSƏ UL?
DINE NƏRSƏ UL?

Т. ВЛАДИМИРС

DINE NƏRSƏ UL?

КАЗАНЬ ТАТИЗДАТ 1930

Злополучная брошюра, вышедшая в
Татиздате. 1930 год.



М. М. Брундуков. Август 1938 г.



Некоторые представители политической элиты Татарстана в 20-е годы.

М. Будаили. Арестован вместе с М. Брундуковым в 1929 г.



Слева направо: Фатхи Бурнаш, Фатых Рамзи, Гасим Мансуров.

А. К. Каспранский (слева).
Казань. 1918 год.



Г. Мансуров с женой.

Кашаф Мухтаров и его жена.



II съезд коммунистов Востока. Люди, которым поручалось зажечь пламя революции на Востоке.

Г. Баимбетов.



М. Сагидуллин, противник Султан-Галиева.



Файзрахман Султанбеков. Делегат
II съезда народов Востока, начальник
политотдела поезда ВЦИК «Красный
Восток».



Кашаф Мухтаров.



Гаяз Исхаки с дочерью. В эмиграции среди студентов-татар.



Дочь Ризаэтдина Фахретдинова Асьма-ханум с сыном Арсланом. 1993 год.

П Р И К А З № 2

По Особому Конструкторскому Бюро завода № 16

От "Р." января 1943 года.

§ - 1 -

Для разработки установки реактивных двигателей РД-0, РД-1 на самолете Пе-2 организовать в ОКБ группу реактивных установок, которую в дальнейшем в не секретных приказах - группа № 5.

§ - 2 -

Гл. конструктором группы реактивных установок /гр. № 5/ назначить инж. КОРОЛЕВА С.П. с непосредственным подчинением его ОКБ.

§ - 3 -

Группу № 5 утвердить в следующем составе:

Инженер	-	МАЛКОВ
Инженер	-	ЛАПКИН
Конструктор	-	НОВИЧЕНКОВ
Чертежник	-	МАШАЕВА Сидорова
Расчетчик	-	
Инженер	-	ГАНУЛИЧ

§ - 4 -

Гл. конструктору группы № 5 инж. КОРОЛЕВУ обеспечить разработку и сдачу чертежей реактивной установки /РУ-1/ на самолете Пе-2 в следующие сроки:

Установка двигателя и топливные баки.....	19/1-43 г.
Самолетное оборудование и монтажные схемы.....	20/1-43 г.
Плановое оборудование, обложки схем и описания.....	1/II-43 г.

§ - 5 -

Гл. конструктору группы РД инж. ГЛУШКО В.П. обеспечить разработку и сдачу в копию следующие чертежи:

Чертеж впускного агрегата на Моторе М-105РА	- 19/1
Чертежи агрегата РД-0.....	- 19/1
Схемы и описания.....	- 1/II

§ - 6 -

Ввиду возросшего объема и значения экспериментальных работ по новым реактивным двигателям РД-0 и РД-1 и необходимости подбора их в серийном варианте, - назначить инж. СЕВРУШ Д.Л. заместителем Главного конструктора РД по экспериментальной части с привлечением на нем обязанности ст. инженера лаборатории РД, освободив его от руководства группой автоматики.

/см.п/обороты/

Приказ № 2 по Особому Конструкторскому Бюро завода № 16 от 8 января 1943 года.

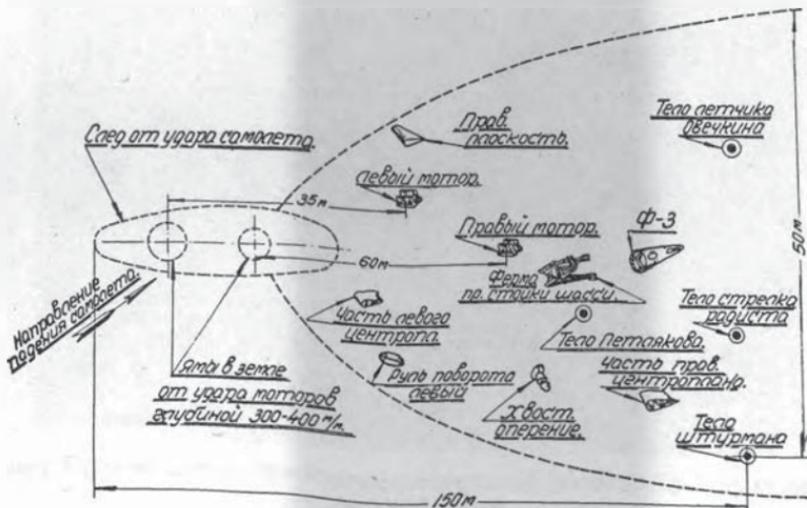
Ведомость на выдачу денег С. П. Королеву, В. П. Глушко и др. 1943 год.

Секретный приказ по ОКБ от 26/III-43 г. ва № _____

читал и принял к руководству или исполнению:

№ п.п.	Фамилия, имя и отчество.	Дата овна: рождения:	Роспись.
1.	ПАВЛОВ В.И.	28/III-1915	<i>Павлов</i>
2.	ГЛУШКО В.П.	31.3.1914	<i>Глушко</i>
3.	КОРОЛЕВ С.П.	24.9.1913	<i>Королев</i>
4.	СВВРУК А.Д.	24-9-13	<i>Свврук</i>
5.	ЖИРИЦКИЙ Г.С.	<i>Жир</i>	<i>Жир</i>
6.	ИЗЯНОВ Б.В.	<i>Изянов</i>	<i>Изянов</i>
7.	ПОЛЯКОВ Я.Я.	<i>Поляков</i>	<i>Поляков</i>
8.	СОЛОВЬЕВ В.А.	2/IV-1914	<i>Соловьев</i>
9.	КУЗЬКОВ И.Г.	24/IV-1913	<i>Кузьков</i>
10.	АРТАМОНОВ Н.Н.	<i>Артamonov</i>	<i>Артamonov</i>
11.	КОЗЛЯЦКИЙ А.Г.	<i>Козляцкий</i>	<i>Козляцкий</i>
12.	ЖУКОВ А.З.	10-IV-1913	<i>Жуков</i>

Схема расположения обломков самолета и групп погибших после катастрофы.





Могила В. Петлякова в Казани.



В. С. Абакумов. (1908—1954). Министр ГБ СССР в 1946—1951 гг.
Снимок сделан в 1950 г.

С. Д. Игнатьев. (1904—1976 гг).
Министр ГБ СССР в 1951—53 гг.
В 1957—60 гг.— первый секретарь
Татарского обкома.



В. С. Абакумов. Снимок сделан
в Лефортовской тюрьме.



я не знаю, да это не меняет, в общем, положения вещей¹.

«Правые», в том числе и я, через **Насыха Мухтарова** и других, были связаны со злейшим врагом народа **Гаязом Исаковым**, подсказывали ему «сменовеховщину» с целью вернуть его в Татарию и помогли его дочери переправиться за границу...

... Были ли связаны татарские «правые» с контрреволюционным троцкистско-бухаринским блоком?— **Султан-Галиев** и татарские правые националисты тщательно следили за борьбой троцкистско-бухаринско-зиновьевской своры с партией и с Советской властью и в 24—28 годах злорадно говорили, что такое положение в партии, когда она, партия, разьедается внутрифракционной борьбой, националам выгодно, т. к. Центральный Комитет партии становится уступчивее по отношению к ним, к националам. Татарские «правые», конечно, очень хорошо помнили отношение Троцкого, Бухарина и Зиновьева к национально-колониальному вопросу и боялись блока с ними. Мало того, «правые» считали нужным выступать открыто против них. Я сам неоднократно выступал на партийных собраниях в Казани и против троцкизма и против Бухарина. И я это делал решительно, без всяких оговорок. Для меня победа Троцкого или Бухарина означала конец национальному самоопределению в России, конец СССР. Словом, Казанский центр «правых» был против сговора с троцкистами и бухаринцами, считая их противниками самоопределения национальностей. Но «правые» не были противниками образования фракций внутри партий, а, наоборот, желали этого и сами собирались стать одной из фракций внутри партии.

¹ Материалы расследования, проведенного в 90-е годы, не подтвердили каких-либо «шпионских» контактов Султан-Галиева и др. Показания Брундукова в этой части — обычное «признание», продиктованное следователем.

Так, по крайней мере, обстояло дело до моего ареста (до осени 1929 года). На какую позицию по этому вопросу стали татарские «правые» после меня, т. е. после моего ареста в 1929 году, я не знаю. Но изложенное выше вовсе не означает, что правые татарские националисты в конце концов не сговорились бы с троцкистами и бухаринцами (может быть, после 29 года и сговорились, этого я не знаю), ибо цель всех контрреволюционных организаций ведь одна — борьба против Советской власти. Ведь Московский центр «правых» в лице **Гасыма Мансурова** еще в 28—29 гг. пытался связаться с зиновьевцами, но почему-то неудачно. Правда, **Мухтаров**, **Енбаев** и **Сабиров** потом говорили, что **Мансуров** эти шаги предпринял сепаратно, без согласия остальных членов центра.

Это я все говорил о татарских «правых». Что же касается **Султан-Галиева**, то всем известна его дружба с Троцким. На заседаниях Московского центра татарских «правых» **Султан-Галиев** считал нужным сговориться с тогдашними оппозициями. В какой связи с троцкистами и бухаринцами были **Султан-Галиев** и [его] другие филиалы (кроме татарских «правых»), я об этом ничего не знаю. Ничего не знаю также и о связях татарских «правых» с троцкистско-бухаринским блоком после 1929 г., ибо после своего ареста я с «правыми» больше никакой связи не имел. Правда, в лагерях я еще увиделся с некоторыми «правыми», и в том числе с **Мухтаровым**, который мне говорил, что он после моего ареста попытался было связаться с Рудзутаком, но эта попытка не увенчалась успехом.

Чем ближе приближалась развязка, чем больше теряли татарские «правые» почву под ногами в Татарии. Татарская молодежь не шла к «правым», студенты ТКУ, слушатели Совпартшколы и бывшие воспитанники Военно-тюркской политшколы поддерживали «левых», многие «правые» стали колебаться. Это, очевидно, толкнуло **Султан-Галиева** на независимые от Казанского центра татарских

«правых» действия в Татарии. Незадолго перед своим вторым арестом Султан-Галиев как-то проговорился мне, что в Казани, среди татарского студенчества у него имеются свои люди. Он назвал несколько фамилий, которых я сейчас не помню (их, по-моему, должен помнить Ганеев). Но тесно связаться с этими студентами нам, «правым», не удалось.

Потом, через месяц после вторичного ареста Султан-Галиева, ночью ко мне на квартиру явился молодой человек, назвал себя Урманчеевым младшим (старшего Урманчеева Баки, я знал) и осторожно стал мне задавать вопросы касательно судьбы Султан-Галиева. Я этого Урманчеева не знал совершенно и поэтому дал ему понять о своем нежелании разговаривать на эту тему. Скоро он, недовольный, ушел. Я догадался, что это был один из людей султангалиевской организации в Казани, существование которой он от нас долгое время скрывал.

Султан-Галиев имел очень тесную связь с Крымом, с Вели Ибрагимовым, Дерен, Фирдевс и с другими крымскими националистами. Он досконально знал о всех контрреволюционно-бандитских действиях крымских националистов, в частности, Вели Ибрагимова и его банды и информировал о крымских делах и нас, «правых» (Мухтарова, Енбаева, Мансурова, Сабилова, меня, Ганеева, Будаيلي и др.).

Я лично Вели Ибрагимова и Дерен видел только один раз, незадолго до их разгрома (Дерен уже был снят с поста председателя Крымсовнаркома).

Это было, кажется, в 1926 году. Мухтаров, Мансуров, Енбаев, Сабилов и я сговорились отпуск взять одновременно и провести его в Крыму. Я поехал в дом отдыха Промбанка в Алушке, Мухтаров и Енбаев — дом отдыха Наркомздрава в быв. имении Крамарж, Мансуров — дом отдыха КрымНаркомпроса, а Сабилов — в Гурзуф. Мы часто встречались друг с другом. Однажды меня и Мансурова пригласил в гости живший в Алушке крымский

«беспартийный» националист, бывший член (партии) Милли-Фирка **Узунбаш**. За чаем он ругал крымских «правых» татар за их грызню между собой. «Отчего, он сказал, выигрывают только «левые» и русские». **Узунбаш** просил нас воздействовать на секретаря Крымского Обкома ВЛКСМ **Умерова** («правого»), травившего тогда **Фердевс** и на самого **Фердевс**, жившего в большом неладу с **Дерен**. Об этом же нас просил и **Султан-Галиев** перед нашей поездкой в Крым. Потом **Узунбаш** стал ругать **Кемаль-пашу**, говоря, что Кемалистская Турция совершенно не интересуется судьбой тюркских народов, живущих за пределами Турции, в частности, в СССР, что крымские работники всегда были в тесной связи со старой Турцией. Словом, **Узунбаш** говорил как типичный пантюркист.

Скоро в Крым приехал и **Султан-Галиев** и устроился в доме отдыха того же КрымНаркомпроса (Наркомом просвещения Крыма тогда был **Балич**, правый националист). **Султан-Галиев** держался от нас в стороне — был обижен тем, что мы его не взяли с собой в Крым.

В Симферополь я ездил только с одним **Мансуровым**. Там **Фердевс** мы не нашли (он был где-то в отъезде), Секретаря Обкомомла **Умерова** разыскали и вели с ним примерно двухчасовую беседу в городском саду. Говорили мы ему о том, что «правые» сейчас везде терпят поражение, что теперь надеяться на завоевание большинства в партийной и комсомольской организациях трудно, что надо поэтому теперь заниматься кропотливым сколачиванием кадров крымских правых татар и сохранить единство среди имеющихся кадров. **Умеров** с нами согласился и дал нам слово договориться с **Фердевс**.

Вели Ибрагимов нас принял в своем служебном кабинете, но поговорить с ним нам не удалось: он был сильно чем-то расстроен, и все время нам мешали посторонние (вероятно, **Ибрагимов** стеснялся и меня, т. к. меня он

совершенно не знал). Мы условились с ним встретиться в другое время, но встретиться нам больше не удалось¹.

Дерен принял нас ласково и сразу повел в кафе «Миллять», куда потом пришло несколько человек его друзей — «правых». Мы обменялись информацией о положении дел «правых» в Крыму и Татарии.

Дерен высказал соображение о своевременности подачи правыми докладной записки в ЦК партии по вопросу о созыве II Национального совещания при ЦК. Мы с ним согласились и обещали передать это Мухтарову и Сабирову. В свою очередь, мы посоветовали Дерен теснее связаться с беспартийной крымской татарской интеллигенцией. Он ответил, что связь у него со всеми милли-фирковцами очень тесная и прочная.

Больше я в Крыму не бывал, как (вовсе) не бывал и в других восточных национальных республиках.

Мухтаров, Енбаев и Сабиров одобрили мысли Дерен о созыве II Национального совещания при ЦК, но находили пока это несвоевременным².

В 1928 году Султан-Галиев приехал в командировку в Казань и остановился в каких-то номерах. Так как семья у меня в это время жила на даче и квартира моя пустовала, я предложил Султан-Галиеву переселиться ко мне. Вечерами я тоже уезжал на дачу, и Султан-Галиев в огромной квартире оставался один. Однажды, приехав утром с дачи, я нашел свою квартиру в большом беспорядке (окурки, плевки на полу, беспорядочно расставленная мебель). Я задал вопрос Султан-Галиеву: «Что это значит?» Он мялся, мялся и неохотно ответил: «Я проводил совещание с молодежью». Мой вопрос: «Совещание с какой мо-

¹ Вели Ибраимов — Председатель Крымского ЦИКа был в 1927 году расстрелян по приговору Верховного суда СССР. Это была первая с 1917 г. казнь руководителя республики.

² Это совещание состоялось при ВЦИК. Вел его зампред СНК РСФСР Т. Рыскулов, поэтому оно полуофициально упоминалось в переписке как «рыскуловское».

лодежью, почему мне нельзя было там присутствовать?» — Султан-Галиев оставил без ответа. Это обстоятельство еще больше укрепило мое подозрение насчет того, что у Султан-Галиева существует, кроме «правых», еще своя отдельная организация и в Казани есть неизвестный нам (мне) филиал этой организации. Об этом я передал Ганееву, Будаيلي, Мухтарову и Енбаеву. Мухтаров и Енбаев ответили: «Наверное, это так. Введет этот Султан-Галиев нас, «правых», в новую беду!» Действительно, в 28 году наши отношения к Султан-Галиеву несколько изменились: мы его избегали, часто не приглашали на совещания Московского центра — мы боялись его, предполагая, что он за нашей спиной творит неизвестные нам дела, за которые его посадят. Султан-Галиев обижался и ругался.

В этот же приезд Султан-Галиева в Казань мы с ним на моторке Нуриса Мухтарова ездили в гости к Ганееву, проводившему свой отпуск на берегу Волги, в одном из новых татарских поселков. Туда мы приехали ночью. На другой день, гуляя по поселку, мы встретились с известным всем панисламистом Гады Атласовым, гостившим, как потом выяснилось, у Шигаба Ахмерова (беспартийный, националист, бывший татарский книгоиздатель). С Султан-Галиевым Атласов был знаком, а меня, кажется, он знал только понаслышке (не помню, бывал ли Атласов в Наркомпросе, когда я там работал, или нет. За все время работы в Казани я два раза ездил в командировку в Бугульму и совершенно не помню о встрече с Атласовым, жившим в эти годы там).

Вернувшись к квартире Ганеева, мы, вчетвером (Султан-Галиев, Атласов, Ганеев и я) сели на лужайке и стали разговаривать. Султан-Галиева Атласов считал «исправившимся», а над нами (надо мной и Ганеевым) он, после нескольких рюмок вина, стал издеваться, говоря, что нас (меня и Ганеева) в один прекрасный день вышвырнут из партии, что все эти республики — одна лишь мишура. Мы с Ганеевым должного отпора Атласову не дали, ограничились только ответными остротами — насмешками по ад-

ресу пантюркистов. О чем еще говорили с Атласовым, я сейчас не помню. Вечером того же дня мы с Султан-Галиевым выехали обратно в Казань. Потом этого Атласова я встретил в лагере (он сидел по делу же Султан-Галиева, откуда он очень скоро выбыл, кажется, по инвалидности).

Султан-Галиев из Казани выехал в Марийскую область и был где-то там (или в Башреспублике) арестован.

Новый арест Султан-Галиева на нас, на «правых», произвел удручающее впечатление. Все мы считали неминуемыми аресты и среди правых, т. к. отдавали себе отчет в том, как далеко мы зашли в своих отношениях с Султан-Галиевым. Но эти аресты среди татарских «правых» были произведены только спустя год. На совещании Московского центра было решено — категорически отрицать наличие политической связи между Султан-Галиевым и татарскими «правыми». На этом основании во время партийной чистки никто из «правых» не разоружился, а некоторые «правые», как **Богаутдинов** и **Исхак Казаков**, позднее дошли до такой наглости, что отрицали даже свою связь с **Мухтаровым**.

В 1929 году в рядах активных правых в Казани осталось уже немногим больше 30 человек, а именно: **Брундуков**, **Ганеев**, **Богаутдинов**, **Будайли**, **Гаяз Максудов**, **Вали Исхаков**, **Магдеев**, **Фатхи Бурнашев**, **Нурис Мухтаров**, **Губяй** и **Гильфан Балтановы**, **Абдуллин** (из Бугульмы), **Шангареев**, **Саттар Еникеев**, **Каюм Рахманкулов**, **Исмагил Беганский**, **Карим Хайруллин**, **Алимов Мухамедша** (хозяйственник), **Абдулла Валеев**, **Хасанов** и **Бикчентаев** (из Свияжска), **Исхак Амиров**, **Исхаков** (из Наркомсобез), **Адгамов Юсуф**, **Камалетдинов Ибрагим** (из Чистополя), **Абдурахманов** (Татторг), **Ганеев** (Чистопольский), **Исхак Казаков** и еще ряд лиц, фамилий которых сейчас я уже не помню¹.

¹ Брундуков — опытный «зек», умышленно называет людей, уже репрессированных и в большинстве своем казненных. Им это повредить не могло. О тех же, кто был на свободе, пишет: «фамилий не помню».

Сюда надо еще приплюсовать Московский центр «правых» в лице **Мухтарова, Енбаева, Сабирова и Мансурова.**

Остальные активные правые либо уехали из Татарии, либо незаметно отошли от «правых», благо Разумов «смирных» «правых» привлекал к работе.

Тут еще получено было письмо от **Сабирова** на имя **Будайли.** В этом письме **Сабиров** писал, что он был в ЦК и разоружился. **Сабиров** предлагал **Будайли** сделать то же самое.

Такие «правые», как **Башкиров, Муратов, Мратхузин, Султанбеков, Хайруллин Салават, Ягудин (из Мамадыш), Шакиров (Горкомхоз), Аминов, Алимбек, Ахмедшин** и др. незаметно блокировались с «левыми».

В сентябре (или в начале октября) 1929 г. я был исключен из партии. На заседании Областной Контрольной Комиссии я, по-прежнему, отрицал наличие политической связи между мной и **Султан-Галиевым.** После этого я спешно выехал в Москву для свидания с Московским центром «правых» татар и для подачи жалобы в ЦК и ЦКК.

В Москве мы, **Мухтаров, Енбаев, Мансуров** и я, совещались по поводу создавшегося положения многократно и решили:

1) Наличие политической связи между «правыми» и **Султан-Галиевым** отрицать по-прежнему;

2) Войти в ЦК с докладной запиской о необходимости срочной передачи этой докладной записки и жалобу на гонения на националов в национальных республиках и областях. На наших совещаниях часто участвовал и «разоружившийся» **Сабиров.** На этих же совещаниях мы подвергли всестороннему обсуждению и свои принципиальные позиции. Дело в том, что, кроме клеветнического заявления «39-и», у нас, у «правых», написанной платформы не было (по крайней мере, до 1929 года, т. е. до моего ареста). **Гасым Мансуров** всегда настаивал на такой платформе, но никто за нее не брался.

Обсуждая свои принципиальные позиции на этих последних совещаниях центра «правых» с моим участием, мы очутились перед заколдованным кругом, а именно:

1) По гипотезе Султан-Галиева, СССР в ближайшее десятилетие захлестнет либо реакция, либо интервенция, что принесет конец национальным республикам и областям. Если эта гипотеза верна, то Султан-Галиев прав: надо готовить кадры для борьбы с реакцией. Но как готовить эти кадры? Мечта Султан-Галиева о создании Коммунистической партии Востока утопична, не осуществима, ибо интересы Татарии, Узбекистана или Ирана совершенно различные;

2) Сблокироваться с троцкистами, зиновьевцами, с бухаринцами? Нет, эти господа достаточно хорошо известны своим отношением к национальному вопросу;

3) Значит, идти надо в ногу с ЦК? Тогда зачем иметь свою особую организацию? Но ЦК... проводит сплошную коллективизацию, ЦК осуществляет латинизацию восточного алфавита, ЦК с националистами больше не церемонится и т. д. и т. д.—вплоть до клеветы о свертывании Центральным Комитетом Национальных республик и областей.

Так, примерно, рассуждал пойманный с поличным и растерявшийся центр татарских «правых» — султангалиевцев. К какому-нибудь конкретному решению по этим вопросам до моего ареста мы так и не пришли. Ясно было только одно: политика ЦК и Советской власти в национальных республиках и областях нас — «правых» — не удовлетворяет. Отсюда наша борьба против партии и Советской власти, борьба не за укрепление национальных республик и областей, как любили кричать «правые», а за националистические, если так можно выразиться, республики.

К концу ноября 1929 года я был арестован (в Москве).

Глубоко проанализировав всю свою прошлую деятельность, я в течение 15 суток (время до первого допроса)

пришел к твердому убеждению в том, что львиная доля моей прошлой деятельности была преступной, направленной против партии и Советской власти, против власти трудящихся, семье которых принадлежит мой отец, принадлежал мой дед, что политика партии в национальных республиках и областях абсолютно правильная, что моя преступная деятельность вытекала из установок татарских «правых», которых я вместе с другими возглавлял, и из многолетней связи с Султан-Галиевым. Глубоко проанализировав все это еще до первого допроса, я решил независимо от того, какой исход примет мое дело, раз и навсегда порвать с правыми и с Султан-Галиевым, не примыкать больше в своей жизни ни к каким антипартийным и антисоветским группам, группировкам и организациям. Я даже был рад, что мой арест положил конец моим связям с Султан-Галиевым. Этому своему решению я не изменял ни в какой степени до сих пор, в течение 9 лет. Но я не сделал тогда другого вывода, самого важного вывода — о полном, по последней капли полном разоружении перед следственным органом. Я еще до первого допроса понял всю контрреволюционную сущность дел татарских правых и султангалиевщины, но сознаваться в некоторых вещах из прошлой своей деятельности, в чем я частично сознался по своей инициативе в 1933—34 годах и в чем полностью сознаюсь теперь, было слишком тяжело и жгуче стыдно, не хватило на это у меня гражданского мужества. Поэтому в 1929 году очень многое из своей деятельности в рядах правых и султангалиевцев я скрыл.

Как уже сказано выше о связях султангалиевцев с турками, я тогда ограничился только лаконическим заявлением следователю: «Султан-Галиев имел связи с турецким посольством». Следственный орган, конечно, мне не поверил. Мои преступления были квалифицированы пунктами 11 и 4 58-й статьи и я получил 5 лет лагерей, после отбытия которых мне еще дали 3 г. адм. высылки в Архангельск.

После отбытия наказания в лагере, уже из Архангельска, я подал заявление Прокурору Союза с просьбой пересмотреть в каком-нибудь порядке мое дело в части данного мне после отбытия лагеря дополнительного наказания — 3-летней адмвысылки в Архангельск. Меня вызвали в Москву и спросили, не имею ли я добавлений к своим показаниям от 1929 г. Я заявил, что имею и дал новые, более обстоятельные и более искренние показания, чем в 1929 году. Говорю «более полные, более искренние показания», ибо и на этот раз не все сказал. И на этот раз, хотя я вскрыл контрреволюционную сущность деятельности татарских «правых», своей деятельностью, но почти ничего не сказал о роли турецкой разведки в деле организации националистической борьбы против Советской власти и о роли султангалиевцев, в частности, о своей роли как фактических агентов этой разведки. Мое заявление Прокурору было оставлено без последствий, и я выехал обратно в Архангельск.

Правда, Султан-Галиев постфактум предупредил меня о том, что он о сведениях, полученных от меня, предупредил турецкое посольство, но я никаких мер по разоблачению Султан-Галиева не принял и тем самым я (и другие «правые», которые об этом знали) стал участником шпионской работы Султан-Галиева. Как долго продолжалась связь Султан-Галиева с турками, какие сведения он еще им передавал, я не знаю. Но мы, татарские «правые», как уже сказано выше, Султан-Галиева постоянно информировали о делах в Татарии, а он нас — о делах в центре.

Как я уже говорил, за участие в контрреволюционной султангалиевской организации в 1929 г. по ст. 58-11 и 4 я был осужден к 5 годам заключения в лагерях. Прибыв в лагерь, я, оставаясь верным своему решению порвать со своей прошлой антипартийной и антисоветской деятельностью, окунулся в ту работу, которую мне дали, и все время самым активным образом помогал лагерной администрации в осуществлении ею поставленных перед ла-

герями задач, за что я немало подвергался насмешкам со стороны бывших своих соратников.

Сначала нас, осужденных по делу Султан-Галиева, человек 40 сосредоточили в Мурманске. Из видных «правых», кроме меня, там были только Будаили и Вали Исхаков. Затем нас разбили по командировкам разных отделений Соловецкого лагеря. Я оказался в одной командировке с доктором Бабиковым. Спустя некоторое время в нашу командировку прибыли Будаили, Мухтаров, Енбаев, Гасым Мансуров. Енбаев и Мансуров тогда то и дело ставили перед нами вопрос об уточнении наших позиций, о пересмотре платформы и подаче в ЦК или в ОГПУ коллективного заявления. На эти предположения я неизменно отвечал: «Никаких головоломок, я от всего этого отошел, а вы там подумайте сами, когда нужно будет, я подам индивидуальное заявление». При этих разговорах Будаили тогда склонялся на мою сторону, а Мухтаров больше помалкивал.

Скоро Мухтарова, Енбаева и Мансурова угнали на Соловецкий остров, а спустя несколько месяцев туда же увезли и Будаили, и больше с ними не встречался и не переписывался.

Непродолжительное время со мной в одной командировке из однодельцев были: Баки Урманчеев, Галгаф (Галеев), Курмеев, Абдулла Ягудин и еще один молодой человек, фамилии которого не помню (по воле я его не знал).

За все время пребывания в лагерях ни с кем, кроме своей жены, никакой связи я не поддерживал. Даже от матери и от сестер получил, кажется, только по одному письму.

После отбытия срока в лагерях мне дали 3 года административной высылки в Архангельск, где я несколько месяцев ходил безработным. Вот тут, правда, я написал одно коротенькое письмо Будаили (он уже работал вольнонаемным в Медвежке, куда перешло на работу и мое

лагерное начальство,—это я узнал из письма самого Будаили, который, узнав мой адрес через лагерное начальство, поздравил меня в своем письме с освобождением).

В своем письме Будаили я просил его поговорить с бывшим моим лагерным начальником относительно возможности принятия меня в лагерь в качестве вольнонаемного работника.

В Архангельске, скоро после приезда туда, я встретил отбывшего срок в лагерях и после получивших ссылку однодельцев Курмеева («левый»), Танкачеева (из касимовских татар) и Тюменева (из Узбекистана). С ними один раз я встретился и в лагерях.

В начале 1934 года через ГУЛАГ я поступил на работу в Архангельскую трудовую колонию несовершеннолетних правонарушителей и этих людей скоро потерял из виду. В колонии я работал 4 1/2 года и ни с кем из бывших своих единомышленников не встречался и не переписывался. С Татарской Республикой с 1929 года, т. е. с момента ареста, тоже никакой связи не поддерживал, если не считать нескольких, исключительно личного характера, писем сестры. Словом, за последние 9 лет никакого представления о политической, культурной и экономической жизни Татарии не имел. Все эти годы работы в колонии семья моя (жена и дети) находилась при мне. За 4 1/2 года работы в колонии я один раз ездил в командировку в город Вологду, один раз — в Москву — Харьков — Киев — Одессу (для ознакомления с постановкой работы в тамошних колониях).

В прошлом году, всего на одну неделю, ездил к матери в Узбекистан, а в этом году две недели из своего отпуска проводил в доме отдыха под Архангельском. Все остальное время из этих 4 1/2 лет я безвыездно жил в колонии в 18 километрах от Архангельска. Работал в колонии в очень тяжелых условиях и так активно, как только позволяли мои силы, опыт и знания, работал я честно, не зная ни дня, ни ночи, ни семьи и ни дней отдыха.

Работая в Архангельске, я столкнулся еще с одним бывшим работником Татарии — с Мухамедшиным (беспартийный, работал в Чистополе, в Татнаркомсобезе, в Татнаркомземме), высланным на 3 года в Архангельск (кажется, по Наркомземовскому делу). По отбытии срока этот Мухамедшин работал в нашей колонии кладовщиком.

Возвращаясь к националистической борьбе правых против Советской власти, надо еще сказать о формах организации «правых», еще раз о целях их борьбы и методах и средствах этой борьбы.

«Правые» до 1929 г. имели совсем несложную форму организации: Московский центр, Казанский центр и тройки или уполномоченные в районах. Написанного устава и программы не было, на собраниях протоколов не вели. К каждому члену Казанского центра было прикреплено от 5 до 15—20 человек, либо по квартальному признаку, либо по производственному принципу, а к этим лицам, в свою очередь, было прикреплено по несколько человек (по тому же принципу) и т. д. Сам центр в нужных случаях собирался либо у кого-нибудь на квартире, либо в служебном кабинете. Несложные вопросы согласовывались или по телефону, или путем обхода кем-нибудь членов центра на их службе или на квартире. Общих собраний всех «правых» Казани, по конспиративным соображениям, никогда не созывали. Собирался актив (узкий или широкий) под видом выпивок, гостей и — каждый раз в другой квартире. Расходы «по созыву гостей» ложились иногда на хозяина квартиры, а иногда — на всех участников совещания. Два или три раза деньги на это дело достали, как уже было сказано выше, **Богаутдинов** и **Ганеев** из каких-то государственных источников (ВЦИК) — гонорар под перевод кем-то из «правых» незначительных инструкций с русского языка на татарский (разумеется, очень повышенный гонорар).

Повторяю, протоколов на своих собраниях правые не вели, а все передавалось «из уст в уста». Как уже было

сказано выше, все принципиальные вопросы, подлежащие обсуждению в партийных и советских инстанциях, предварительно обсуждались на том или ином совещании правых с тем, чтобы определить позиции правых по этим вопросам. По всем принципиальным вопросам на партийных и советских собраниях правые выступали в духе решений своего центра.

Сам Султан-Галиев был связан с правыми во всех восточных национальных республиках. Кроме того, он, по моему убеждению, имел свои организации в некоторых республиках, самостоятельно связывался с другими националистическими организациями, приближаясь, таким образом, к своей цели — к созданию «Восточной Компартии» или «Восточного Коминтерна» (тогдашние термины Султан-Галиева). Но организационные принципы «собственных» организаций Султан-Галиева мне неизвестны.

В последнее время татарские «правые», по указанию своего Московского центра, вопрос о блоке с разными националистическими группами Татарии ставили очень широко и старались завоевать симпатии татарской интеллигенции всех оттенков, начиная от студентов советского ВУЗа, кончая, скажем, кадетом Гади Атласовым и агентом Гаяза Исхакова — Насыхом Мухтаровым. Это нужно было татарским «правым» для организации широкого фронта националистической борьбы с Советской властью.

Вот в этой организации националистической борьбы... пантюркиста Султан-Галиева, не стеснявшегося в своей борьбе против партии и Советской власти ничем, вплоть до связи с иностранными разведками, я немало лет состоял членом и одним из руководителей ее Казанского центра.

Сын беднейшего крестьянина, внук рабочего, место которому, казалось, должно было быть только в передовых рядах борющихся за социализм трудящихся масс, очутился в рядах контрреволюционной султангалиевщины.

Военное училище со школьной скамьи, погоны прапорщика, абсолютная неподготовленность к революции и бур-

жуазно-националистическое окружение с самого начала революции — все это играло решающее значение в моем падении. А пал я очень низко: контрреволюционно-изменническая деятельность султангалиевщины, татарских правых и моя, в том числе, ныне следственными органами вскрыта со всей ясностью, во всей полноте. Это мое падение произошло не сразу, а постепенно. Верьте мне, гражданин Народный Комиссар, что в 1918 году я поступил в партию честно, руководствуясь только честными побуждениями. 18—19 годы и часть 20 года я работал также честно, отдавая свои знания и молодые силы партии. Потом дело началось с невинной, на первый взгляд, групповой борьбы и дошло до контрреволюционного национализма, до султангалиевщины. Честно я еще работал, как никогда в своей жизни честно, за период времени от первого моего ареста до второго, до настоящего, т. е. с 1929 года по 1938 год. За эти 9 лет я остался верным своему слову, своей клятве больше никогда не участвовать в антипартийной, антисоветской работе, еще больше, глубже, чем в тюрьме, осознал правильность всей прошлой и настоящей линии партии и величие творимых ею дел на благо отечества, на благо трудящихся масс всех национальностей, во имя социализма, коммунизма.

Разоружись я тогда, когда мне была предоставлена в этом полная возможность, полностью, не нося в себе остатка тайны... находился бы в рядах многих миллионов счастливых граждан великого Союза социалистических Советских Республик.

Сейчас я заслуживаю нового сурового наказания. Сейчас мне остается только сказать: с помощью НКВД я выложил все, что еще оставалось во мне в виде тайны контрреволюционной султангалиевщины. И действительно, от этого мне стало легко. **И если мне будет и в дальнейшем предоставлена возможность в какой-нибудь форме трудиться, то я в этот труд вложу все свои силы, всю свою любовь**

и такую честность, которая только имеется у самых честных людей нашей страны.

31/VIII — 38 г.

М. Брундуков

ЭТОТ «СТРАННЫЙ» КОНДРАТЮК

Эта фамилия стала известна широкому кругу читателей после опубликования в газете «Советская Татария» письма бывшего наркома НКВД республики В. Михайлова своему заместителю М. Шелудченко. Письмо содержалось в деле этих «ежовцев», ставших «козлами отпущения» после прихода к власти Берии и решения Сталина наказать наиболее ретивых палачей периода «большого террора». В каждой республике и области было приказано найти и осудить от 5 до 15 «нарушителей социалистической законности» в органах НКВД. На места для этой цели были посланы утвержденные ЦК представители прокуратуры. Впрочем, выявление кандидатур для примерного наказания не представляло трудности. Сложнее было отобрать из многих наиболее «достойных». Нашли их и в Казани. Ниже мы расскажем об этом подробнее.

А тогда, в начале января 1938 г., Михайлов, инструктируя своего подручного из Москвы, где он находился на сессии Верховного Совета СССР в качестве депутата от Татарии, писал, что надо брать больше врагов народа, перевыполнять планы арестов, не жалеть их, и т. д. и т. п. В письме была фраза: «Фриновский не возражает эту публику, в крайнем случае, пустить через особую сессию, не обращайтесь внимания на кляузы Кондратенко»¹.

¹ Михаил Фриновский. В период пика власти Ежова его первый заместитель. Принимал самое активное участие в ликвидации кадров Ягоды. «Особая» (выездная) сессия Военной коллегии ВС СССР состоялась в Казани 9—10 мая 1938 года. За эти два дня она приговорила к расстрелу более 100 человек и около 40 — к различным срокам заключения. Ее председатель Матулевич похвалил казанских чекистов за хорошую подготовку дел.

Итак, какой-то «Кондратенко», судя по контексту, мешал разоблачению врагов народа в Татарии. Вначале у автора мелькнула мысль о том, что это может быть какой-то ретивый «законник» в Москве, требующий соблюдения хотя бы элементарных норм при ведении следствия. Но пренебрежительное «не обращайтесь внимания на кляузы» подсказывало, что этот человек не мог быть чиновником из центра. Изучая годы «большого террора» в Казани, я эту фамилию больше не встречал и счел случившееся каким-то малозначительным эпизодом.

Работая недавно в Центральном архиве ФСБ над изучением материалов по М. Султан-Галиеву и И. Алкину в процессе подготовки книги «Сталин и татарский след» я неожиданно снова встретил фамилию этого «кляузника», мешавшего казанским чекистам выполнять и перевыполнять план «отлова» и «отстрела» врагов народа. История эта была настолько неожиданна и нехарактерна для того времени, что возникло желание познакомиться с ней современного читателя.

Итак, кто же он? Фамилия в первой публикации, о которой я уже говорил, была искажена. Кондратюк Владимир Филимонович. 1905 г. рожд. С середины 20-х служил в войсках и органах ЧК в Средней Азии. Награжден орденом Красного Знамени Таджикской ССР, почетными грамотами правительств Узбекистана и Туркмении, был депутатом городского совета Сталинабада (в современном звучании — Душанбе). Судя по этим скупым данным, служил неплохо и был отмечен не такими уж частыми в те годы наградами. В начале 30-х переведен в Казань и назначен на весьма ответственную должность заместителя начальника ОМЗ (отдела мест заключения) НКВД Татарии. Доверием властей пользовалась и его жена — Полина Павловна Кондратюк, работавшая стенографисткой обкома ВКП(б). Эта должность предполагала допуск к многим партийным секретам.

Судя по всему, служебная карьера В. Ф. Кондратюка в Казани складывалась также неплохо. Он был хорошим

службистом, строго следил за выполнением инструкций по содержанию заключенных, в положенные сроки опрашивал, выявлял, нет ли жалоб на условия. Хотя вся эта процедура принимала все более формальный характер. По мере роста числа заключенных и размаха репрессий тюрьмы и приспособленные к содержанию арестованных новые помещения напоминали «бочку с сельдями». По служебным обязанностям Кондратюку приходилось все чаще бывать в тюрьмах и следственных изоляторах в Плетенях, Красинской и пересыльной под Кремлем. При обходе камер бросались в глаза люди со следами побоев, находившиеся в психологическом шоке. Правда, в «эпицентре» наиболее «крутых» допросов — внутренней тюрьме НКВД и кабинетах следователей — ему до поры до времени быть не пришлось. В начале 1937 года аппарат управления госбезопасности начал буквально «задыхаться» от обилия дел. На следователей их приходилось по 10—15. А Москва требовала неукоснительного соблюдения сроков следствия и весьма неохотно шла на их продление. Конвейер смерти не должен был замедлять свой ход. Стремясь ускорить рассмотрение дел, руководство НКВД привлекает в помощь следственному аппарату ряд временных работников: стажеров из школ НКВД, офицеров других подразделений, людей, прикомандированных из сельских районов. В их числе был и В. Кондратюк. Проработав более полугодом на «Черном озере», он стал свидетелем самых изощренных методов выбивания показаний. Перед ним уже наглядно прошла череда самых ретивых «колоунов» НКВД республики: Шелудченко, Марголин, Маркович, Курбанов, Сирачев, Галлямов и др. Особенно усилились эти методы после назначения новым наркомом А. Алемасова, переведенного из центрального аппарата, и посещения республики посланцем Политбюро Г. Маленковым. Последний на совещании оперативных работников заявил, что только с приходом Алемасова борьба с врагами развернулась по-настоящему и не надо либеральничать с упорствующими...

Таким образом, «отпущение грехов» и разрешение на самые жесткие методы допросов было дано свыше. Ни возраст, ни недавно еще высокое положение в партии и государственных органах не спасали от побоев и самых жестоких пыток. Вскоре Алемасов стал первым секретарем обкома ВКП(б) вместо арестованного в Кремлевской больнице и привезенного в Казань А. Лепы. Новый нарком В. Михайлов, ранее бывший начальником городского отдела НКВД Тулы, показал себя достойным преемником Алемасова, а в чем-то и превзошел его. Именно при нем был зверски избит председатель СНК республики Абрамов, ему сломали единственную руку. Сопrotивление Лепы было сломлено после недельной «выстойки» без пищи, под градом ударов и без сна. В камеру его увели «признавшимся» во всем 6 ноября 1937 г., накануне 20-й годовщины Великого Октября... В памяти немногих выживших остался его отчаянный крик в коридоре: «Простите меня, я не выдержал!»

Впоследствии, через многие годы, анализируя то, что происходило с нашим обществом, мы задавали в числе других и один из самых острых вопросов: как могли творить подобное люди, призванные защищать законность и вести борьбу с настоящими врагами? Это один из самых сложных вопросов, и ответ на него тоже неоднозначен. Можно все свалить на систему, можно говорить о патологических изменениях, которые происходят у личности в атмосфере вседозволенности, напоминают и о давних террористических корнях этих беззаконий... На тему «НКВД и общество в годы «большого террора» написаны сотни книг и статей в нашей стране и за ее рубежами, в которых рассмотрены различные аспекты этой проблемы. В их числе — и одна из самых сложных и трудно поддающихся анализу сторон тогдашней жизни: политическое сопротивление беззакониям. Насколько мне известно, только в книге талантливого исследователя этой трагической полосы жизни советского общества З. И. Файнбурга сделана по-

пытка теоретически осмыслить и «сопротивление» культу личности в самих, как мы сейчас говорим, «силовых» органах¹.

А оно было. И тем более важно знать об этих «проблесках» гражданского мужества самих работников спецслужб, ибо они-то лучше, чем кто-либо, понимали последствия такой позиции. Речь идет не о так называемом «пассивном сопротивлении» — умении имитировать избиение, не ломая кости, «подсказке» последственному путем намеков и недомолвок тактики поведения на допросах, и просто человеческих поступках по отношению к семьям арестованных. Бывало и такое, хотя и весьма редко. Мы рассказываем о человеке, бросившем открытый вызов своему ведомству — всесылному НКВД.

Осенью 1937 г. Кондратюк вернулся в ОМЗ и был назначен начальником 3-го отдела. Очевидно, увиденное за полгода пребывания в следственных комнатах НКВД и постоянно растущее число жалоб на избиения среди заключенных, которые он был обязан выслушивать по долгу службы во время обхода камер, предопределило его дальнейшие действия, напоминавшие попытку самоубийства. В ноябре 1937 года он подает на имя Шелудченко несколько рапортов, в которых называет имена следователей, прибегающих к незаконным методам допросов, избиениям и провокациям, приводит конкретные имена заключенных, включая и тех, кто погиб, не выдержав пыток. Любопытно, что Кондратюк в полном соответствии с нормами того времени, обвиняет следователей и в том, что они убивали и людей, которые, по его мнению, в свое время оказали помощь НКВД, разоблачая своих политических противников.

Однако Шелудченко не придал значения «сигналам» Кондратюка и, вызвав «смутьяна» к себе в кабинет, пред-

¹ Файнбург З. И. Не сотвори себе кумира. // Социализм и культ личности. Очерки теории. М., 1991.

ложил прекратить «кляузы», пригрозив в противном случае отправить его как «подпевалу врагов народа» в один из известных тому подвалов. Причем пообещал лично допросить его после ареста... Зная физическую мощь Шелудченко и его способность в течение десяти-пятнадцати минут приводить допрашиваемого в «состояние дачи признательных показаний», Кондратюк понимал, что он обречен. И тогда он решает на отчаянный шаг: в Москву пошло его подробное письмо на имя Ежова с приложениями к нему тремя жалобами заключенных. Оно было направлено через особоуполномоченного НКВД СССР по Татарии старшего лейтенанта Юрченко. Тот при всем его сочувствии к местным чекистам не решился задержать этот рапорт. Один из моих знакомых, ветеран спецслужб, пришедший туда в конце 40-х после окончания юридического института и заставший еще многих из тех, кто служил в НКВД в 30-е годы и знал не понаслышке о нравах того времени, высказал по этому поводу довольно интересную версию. Но о ней чуть позже.

В декабре 1937 г. Михайлов получил от Фриновского довольно сухое письмо, в котором тот потребовал объяснения по фактам, приведенным Кондратюком, добавив, что Николай Иванович, знающий Казань по прежней работе, поручил ему разобраться и доложить. Нарком имел беседу с Шелудченко и несколькими следователями, упоминавшимися в рапорте. Все они устно были отруганы за неосторожность и неумение бить без следов, а официально получили взыскания в виде «домашнего ареста с исполнением служебных обязанностей», то есть днем должны были продолжать свою костоломную работу, а вот после работы в течение 10 суток не имели права выходить из дома. В общем, какой-то театр абсурда почти по Кафке. Так вот, о версии моего знакомого ветерана. Он полагает, что, конечно, Кондратюк был обречен на арест. Но письмо пришло к Ежову в конце года, когда готовился Пленум ЦК, на котором в январе 1938 г. была лицемерно осуждена

практика огульных репрессий. Это создавало иллюзию того, что беззакония и перегибы совершаются без ведома Сталина, и он ведет с ними решительную борьбу. И поэтому, очевидно, была дана команда «не трогать» Кондратюка, по крайней мере, в ближайшее время. Речь шла о соблюдении правил игры. Да и сам Михайлов, отругав подчиненных, не преминул заметить, что сами москвичи на Лубянке «бьют вовсю», а у Михаила Порфирьевича Фриновского «синяки на ребрах ладони» после допросов.

Вскоре Михайлов уехал на сессию Верховного Совета, встречался там с Ежовым и Фриновским и получил заверения, что претензий к НКВД Татарии особых нет, но осторожность соблюдать надо. Там, очевидно, была решена и судьба Кондратюка. Арестовывать человека, чье письмо рассматривалось наркомом, было неудобно, причем, по некоторым сведениям, Ежов приводил этот случай на служебном совещании центрального аппарата. Но и держать «ослушника» в органах было нельзя. В начале 1938 г. Кондратюк был уволен из НКВД и после нескольких месяцев без работы устроился на небольшую хозяйственную должность. Очевидно, помогла и просьба его жены, работавшей, как уже знает читатель, стенографисткой обкома, на имя Алемасова.

Известно, что почти весь 1938 год прошел под знаком усиления репрессий, разгула «троек», которые даже без формальных следственных дел отправляли людей на расстрел.

Однако в ноябре 1938 г. в верхних эшелонах государства произошли события, приведшие к падению Ежова. Новый нарком Л. Берия получил полномочия на «чистку» органов, о которой мы уже говорили. Ей предшествовала психологическая подготовка общества, появление материалов, разоблачающих перегибы. В общественное сознание внедрялись новые стереотипы. Интересно то, что термин «ежовщина» был пущен в политический оборот по

указанию Сталина (если он сам не был его автором) еще до снятия «железного наркома» и любимца вождя.

В Казани «жертвами» ликвидации перегибов стали нарком и несколько ведущих работников НКВД, некоторые были уволены. Но об этом — в очерке «Казань, 1939-й. Разгром «ежовцев».

В ходе следствия 15 апреля 1939 г. был допрошен в качестве свидетеля и начальник топливной группы «Татспирттреста» В. Ф. Кондратюк. Он, собственно говоря, только подтвердил то, что писал два года тому назад. Не знаю его дальнейшую судьбу. Полагаю, что он все же уцелел. Но в органы ему возврата уже не было.

Такая вот странная история с человеком, усомнившимся в полезности массового отстрела граждан для дела построения светлого будущего.

Когда-то говорили, что один святой может снять грехи целого города, погрязшего в трясине беззаконий и разврата. Думаю, что лейтенант Владимир Филимонович Кондратюк святым не был. Да и грехов за его ведомством было бесчисленно, и тут целая дивизия святых не поможет. Но он был. И такие, как он, тоже остались в истории как люди, шедшие против течения и своими поступками утверждавшие простые человеческие нормы: не лги, не лжесвидетельствуй, даже если бы это грозило смертью.

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ В КАЗАНСКОЙ СПЕЦТЮРЬМЕ

Одним из важнейших событий в исторической науке в ходе подготовки к 50-летию Великой Победы стала выставка уникальных документов в Москве. Она получила название «Документы Великой Войны» и в основном состояла из материалов, извлеченных из сверхсекретных фондов. В существование некоторых из них даже не верилось, настолько они обросли мифами, легендами, и долгие годы являлись объектами прямой фальсификации с обеих сто-

рон. Это и подлинник секретных протоколов переговоров «Сталин, Молотов — Гитлер, Риббентроп», и зловещие катинские списки, из которых «сочилась» кровь тысяч расстрелянных польских офицеров, генералов и ученых, оперативные карты Ставки Верховного Главнокомандующего и многое другое. Верхний зал Третьяковской галереи на многие месяцы стал местом паломничества тысяч и тысяч наших сограждан и зарубежных гостей. Автор посетил эту выставку в числе приглашенных на нее в первый день открытия участников международной историко-архивной конференции «Итоги второй мировой войны», в программу которой был включен и доклад «Вклад Татарстана в укрепление боевой мощи армии в годы Великой Отечественной войны». Готовясь к нему, удалось познакомиться с рядом интереснейших документов в хранилищах Москвы, Казани и некоторых других городов. Особое внимание уделялось авиации, ибо, хотя промышленность республики дала фронту сотни наименований боевой техники и материалов, но наиболее весомый вклад в дело победы был сделан ее авиационной отраслью. Скажем только, что почти каждый шестой самолет военных лет «получал путевку в небо» в Казани.

На выставке впервые были представлены для широкого обозрения и некоторые документы, рассказывающие о трагических предвоенных событиях, связанных с массовыми репрессиями, в том числе и «разгроме» по указанию Сталина ряда ведущих центров авиационной науки и техники в конце 1937 года.

Мы знаем, что авиация была слабостью и любовью вождя. Говорю это безо всякой иронии. Многие великие летчики страны — Чкалов, Громов, Гризодубова — были лично известны ему и пользовались его доверием. Есть довольно убедительные сведения о том, что Валерий Чкалов даже намечался Сталиным на место наркомвнудела Ежова, чье имя стало тогда символом кровавых беззаконий...

Вместе с тем это пристальное внимание было и источником многих трагедий и «оргвыводов», стоивших жизни и свободы его объектам.

Известно, что в 1937—1938 гг. многие крупные авиаконструкторы старшего и среднего поколения были арестованы по обвинению в создании шпионских и диверсионных групп, работающих на фашистскую Германию. Не буду останавливаться на причинах этого погрома. Его история сложна и до сих пор еще таит в себе «белые пятна». Но очевидно, что одной из причин послужило обнаружившееся в ходе «испанской войны» серьезное отставание серийных образцов нашей авиационной техники от новых моделей немецкой¹. Однако несмотря на такие «расстрельные» обвинения, практически всем конструкторам была сохранена жизнь и вскоре дана возможность продолжения работы в условиях специальных ОКБ — авиационных тюрем в Москве и других городах, имеющих крупные авиационные заводы. О характере предъявленных обвинений можно судить по недавно открытому для исследователей тексту приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу А. Н. Туполева. Судил его самый «расстрельный» состав коллегии — Ульрих, Матулевич, Орлов и Батнер, — им до этого было «доверено» провести процессы Зиновьева, Каменева, Пятакова, Бухарина, Рыкова, Ягоды и других представителей высшей политической элиты страны. А. Н. Туполев был обвинен по статьям 58-6-7-9-11, что означало шпионаж, подрыв экономики, диверсии и создание контрреволюционной организации. Материалы следствия «подтверждали», что Туполев — организатор и руководитель шпионско-диверсионной организации в авиационной промышленности, работавшей на Германию. Очевидно, для разнообразия было добавлено, что с 1924 года он одновременно являлся агентом «Сюрте жене-

¹ Вскоре был снят нарком авиационной промышленности М. М. Каганович. Его назначили директором Казанского завода № 124. В 1941 году он покончил жизнь самоубийством.

раль» — французской разведки, — через ее резидента в СССР некоего Моргулиса... Приговор, объявленный 28 мая 1940 г., гласил: 15 лет тюремного заключения и 5 лет поражения в правах. Исчисление срока начиналось со дня ареста 21 октября 1937 года. Одновременно было возбуждено ходатайство перед Верховным Советом СССР о лишении Туполева орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета». Таким образом, «сидеть» Туполеву оставалось более 12 лет — до октября 1952 г.

По такой же схеме выездная сессия ВК ВС СССР осудила около 200 человек — работников авиационной промышленности, — в апреле-мае 1940 года. Трагифарс этих процессов был в том, что все они были арестованы более двух лет тому назад и уже с конца 1938 года работали как «спецконтингент» в самолетостроительных КБ, возглавляемых «врагами народа» Туполевым, Петляковым, Мяснищевым и Томашевичем, и в нескольких моторостроительных. Причем к ним постепенно присоединяли и тех из конструкторов, которые подобно С. П. Королеву «под горячую руку» были направлены в общие лагеря. В своих уникальных воспоминаниях известный моторостроитель М. М. Мордухович пишет, что хотя во время этих судилищ на территории КБ дежурила санитарная машина, приговоры были выслушаны (почти все получили, как и Туполев, 10—15 лет) спокойно, без инцидентов, и были восприняты как своеобразная «прописка». Единственный небольшой инцидент произошел с бывшим техническим директором Московского авиадвигательного завода А. М. Колосовым, награжденным буквально за несколько дней до ареста орденом Ленина. Выслушав свои 15 лет, он иронически сказал Ульриху: «Большое спасибо», за что и был водворен в карцер на двое суток¹.

¹ Мордухович М. Наказание без преступления // Наука и жизнь. 1990. — № 3. — С. 105.

В середине 1940 года была освобождена первая группа во главе с В. М. Петляковым. Так было отмечено создание им знаменитого ПЕ-2, которому предстояла славная судьба основного фронтового бомбардировщика советской авиации в годы войны. Вскоре после этого он был направлен Сталиным главным конструктором казанского завода № 124, где уже до этого строился тяжелый бомбардировщик ТБ-7, будущий ПЕ-8. Его трагическая судьба стала темой очерка «Гибель Главного...». В этом очерке мы расскажем о некоторых страницах пребывания в Казани другого «главного конструктора» — С. П. Королева. Причем, в отличие от Петлякова, хотя бы за два года до своей гибели вкусившего «воздух свободы» и даже отмеченного закрытой Сталинской премией, будущий «отец» советской космонавтики свои казанские годы провел в качестве одного из узников спецтюрьмы НКВД. И хотя условия содержания там, конечно же, как небо и земля отличались от обычных лагерей и тюрем, но, как вспоминал известный летчик-испытатель Марк Галлай, которого военная судьба забросила в 1943 году в Казань, даже на летном поле С. П. Королева постоянно сопровождал работник НКВД, имевший инструкцию не допускать общения с лицами, не имевшими прямого отношения к работе.

Некоторый свет на обстоятельства появления «моторостроительного спецконтингента» в Казани проливают воспоминания М. Мордуховича. Вот что он пишет: среди заключенных двигателестроительного КБ в Москве, куратором которого был комиссар госбезопасности М. А. Давыдов, подавляющее большинство составляли авиамоторостроители — ученые и практики. Назовем в первую очередь тех, с кем мы встретимся в Казани: выдающийся теоретик, основоположник теории воздушно-реактивного двигателя Б. С. Стечкин, большой знаток авиа- и автомобилестроения Г. Н. Лист, создатель авиационных дизелей А. Д. Чаромский, начальник летно-испытательных отделов заводов М. С. Млынарж и М. С. Владимиров, глав-

ный конструктор А. С. Назаров, известный уже читателю М. А. Колосов, чуть позднее к ним присоединились выдающиеся ученые и конструкторы В. П. Глушко и Г. С. Жирицкий, а также привезенный с Колымы К. А. Рудзский. Всего в этом КБ работало более 60 заключенных и около 200 вольнонаемных.

После начала войны осенью 1941 г. значительная часть работников КБ была отправлена в другие города. Причем наиболее крупная группа после изнурительного пятидневного пути попала в Казань. Здесь на базе моторостроительного завода было сформировано Особое конструкторское бюро, руководителем которого стал В. А. Бекетов. Официальное создание ОКБ и назначение Бекетова было оформлено приказом наркома авиационной промышленности Шахурина от 2 января 1942 г., хотя практически работа началась сразу же по прибытии в Казань. Часть конструкторов была направлена в цеха завода. В Казани Стечкин и Лист продолжили работу над созданием пульсирующего ускорителя «УС», а Чаромский — над совершенствованием новых типов дизельных двигателей для тяжелых самолетов, включая ПЕ-8.

В целом работа по созданию и проведению заводских испытаний экспериментального образца «УС» (ускорителя самолета) под руководством Стечкина проходила успешно. Приказом по ОКБ завода № 16 в начале января 1943 года Главный конструктор УС Б. Стечкин, старший инженер экспериментальной установки УС С. Млынарж, руководитель конструкторской группы Г. Лист и еще восемь инженеров, слесарей-мотористов и токарей были отмечены благодарностью и денежными премиями. Однако в марте 1943 года Стечкин и ряд его сотрудников были отозваны в Москву в распоряжение известного создателя авиационных двигателей Микулина, и дальнейшая работа по «УС» и другой разработке этой группы НО-1 проходила в его КБ. Тогда же был отозван в Москву и А. Чаромский вместе с десятью своими сотрудниками. Причем за ним

прилетел сам генерал Кравченко, ставший после ареста Давыдова руководителем всех специальных (тюремных) ОКБ—начальником 4-го специального отдела НКВД СССР.

Работы Стечкина, Чаромского и некоторых других конструкторов при всей значимости разрабатываемой тематики, не оставили столь заметного следа в истории казанского ОКБ моторостроителей, какой был оставлен «тандемом» В. Глушко и С. Королев. О нем мы и расскажем подробнее.

Судьба свела этих выдающихся конструкторов задолго до встречи в ОКБ «тюремного типа», еще в начале 30-х гг., когда Глушко был уже признанным теоретиком и практическим разработчиком реактивных двигателей, в том числе электротермических и жидкостных. Его работы заинтересовали С. Королева, также все более уверенно заявлявшего себя на новой тогда стезе авиационной техники. Для своего двухместного планера СК-9 он выбрал созданный Л. Душкиным и В. Глушко жидкостный двигатель. Эта машина получила название «Ракетоплан РП-318-1». Однако ее испытания, начавшиеся в конце 1937 года на стенде, а затем в контрольных буксировочных полетах, проходили уже без С. Королева, арестованного как враг народа. А состоявшийся 28 февраля 1940 года испытательный полет с включением двигателя проходил без участия его конструктора: Глушко разделил участь Королева.

Новый этап творческого содружества Королева и Глушко начался в Казани, где они стали «спецконтингентом» авиационной тюрьмы НКВД ТАССР. Известно, что в этот «спецконтингент» входили не только моторостроители. На базе авиационного завода № 22 работали как «спецзаключенные» многие выдающиеся самолетостроители.

После гибели В. Петлякова главным конструктором завода № 22 стал Изаксон, затем Путилов, и с июня

1943 г. В. Мясичев. Одной из главных задач этих конструкторов, наряду с повышением надежности основного выпускаемого на заводе самолета ПЕ-2, стали разработки различных модификаций, связанных как со спецприменением, так и улучшением его основных характеристик. Всего, судя по подсчетам крупнейшего историка советской авиации Б. Шаврова, ПЕ-2 за годы войны имел более 20 модификаций, практически их было больше. Одной из самых заметных работ стало применение на нем реактивных установок, обеспечивающих кратковременный прирост скорости, а также уменьшение длины разбега при взлете. Эта работа имела дальнейшее продолжение и развитие и на других типах самолетов на ряде авиационных заводов. Но самые первые, приоритетные работы связаны с Казанью.

Известно, что С. Королев еще до войны после кратковременного пребывания на «общих» работах был возвращен в ОКБ Туполева, где принимал участие в разработке и создании опытных образцов самолетов Туполева, Мясичева и Бартини. Судя по ряду документов, проблема использования созданного еще до войны реактивного двигателя Глушко — РД-1 для серийных самолетов привлекала внимание руководителей авиационной промышленности уже с начала войны. В приказе НКАП от 12 марта 1942 года решение этой задачи было возложено на заводы № 16 и № 22. Однако отсутствие четких организационных форм этой работы сдерживало ее развитие. Положение изменилось коренным образом в начале 1943 г. После совместного совещания руководства заводов, ОКБ и представителей НКАП 8 января 1943 года был подписан приказ № 2 по Особому Конструкторскому Бюро завода № 16. С него надо, очевидно, вести отсчет даты официального возвращения С. П. Королева в ряды Главных конструкторов. В целях исторической правды (есть, особенно в популярной литературе, разные версии этого события) следует привести основные положения этого до-

кумента. Параграф первый гласил: «Для разработки установки реактивных двигателей РД-О, РД-1 самолета ПЕ-2 организовать в ОКБ группу реактивных установок, именуемую в дальнейшем в несекретных приказах — группа № 5», во втором было сказано: «Гл. конструктором группы реактивных установок (гр. № 5) назначить инж. Королева С. П. с непосредственным подчинением его ОКБ». Далее подробно расписывались технические детали предстоящей работы и назывались ответственные исполнители. Сроки давались весьма жесткие. До 1 февраля Королев и Глушко обязались разработать и сдать в производство чертежи установки двигателя на самолете со всеми дополнительными устройствами и приспособлениями. Завершался приказ четким определением задачи, поставленной перед новым подразделением ОКБ: «Главному конструктору группы № 5 инж. Королеву С. П. обеспечить руководство монтажом РУ-1 на самолете ПЕ-2 с окончанием его к 14 февраля. Провести предварительные и огневые наземные испытания самолета ПЕ-2 с РУ-1 и предъявить машину для производства летных испытаний к 19 февраля». И так, чуть больше месяца давалось на воплощение РУ-1 от чертежей до испытанной на стенде установки и начала летных испытаний. Время, прямо скажем, немислимое для современности. Но шла война, которая удесятряла силы, да и понятия «Родина» и «патриотизм» были наполнены реальным содержанием. Скажем только, что на соседний завод № 22 2 февраля 1942 года пришла телеграмма Шахурина и начальника ВВС Жигарева, в которой они со ссылкой на указание Сталина потребовали проводить испытательные полеты серийных ПЕ-2 круглосуточно. Через два дня после сборки самолеты должны быть готовы к бою. И приказ этот выполнялся. Чего это стоило — помнят ветераны предприятия.

В приказе директора завода № 16 Лукина от 19 января констатировалось: «Коллектив завода и ОКБ напряженно работают над объектом 5050. Сейчас необходимо данный

объект в короткие сроки поставить на боевую машину». Однако, отмечалось в нем, цехи № 36 и 35 не выполнили приказ № 597 от 18 ноября 1942 года о срочном изготовлении турбин, фильтров, форсунок и других агрегатов и деталей. Приказ обязывал цеха и подразделения завода сдать оба двигателя и установку в целом к 20 февраля. Сама программа изготовления РУ-1 получила шифрованное наименование «заказ 5050».

Однако названные в приказах Бекетова, Лукина и директора завода № 22 Окулова сроки предъявления оснащенных РУ-1 самолетов ПЕ-2 были чрезмерно оптимистическими. Ни в феврале, ни в последующие весенние и летние месяцы 1943 года летные испытания не проводились.

Причина этого — и в сложности решаемых задач, и в проблемах субъективных. Не забудем и о том, что оба завода выполняли напряженную производственную программу по выпуску серийных самолетов и моторов.

С середины апреля 1943 года основные события по созданию первого самолета с жидкостным ускорителем перемещаются на завод № 22. Здесь производится монтаж РУ-1 на серийном самолете 15/185. В мае НКАП дает разрешение на производство летных испытаний. Материалы, представленные С. П. Королевым и В. П. Глушко и подтвержденные руководителями ОКБ и заводов, давали основания считать, что стендовые испытания и двигателя, и системы химического зажигания (ХЗ) показали их достаточную надежность. Наверное, следует привести фрагменты из приказа директора завода № 22 Окулова, знаменовавшего собой завершение весьма важного этапа совместного труда Глушко и Королева. Приказ был издан 21 июня 1943 года: «В связи с окончанием постройки самолета ПЕ-2 № 15/185 с РУ-1 ПРИКАЗЫВАЮ: № 1. Для выпуска самолета в первый полет (без включения РУ-1), а также в первый полет со включением РУ-1 назначить комиссию по первому вылету в составе: от завода

№ 22: Кобзарев А. А., Неман И. Г., Баклунов Л. Д., Васильченко А. Г., от завода № 16: Бекетов В. А., Королев С. П., Глушко В. П. ...Для проведения летных испытаний назначить экипаж самолета в составе: Васильченко А. Г.—летчик-испытатель, Баклунов Л. Д.—ведущий инженер ЛЭС. Испытания закончить в месячный срок, считая со дня первого вылета самолета». Однако приказ не фиксировал день начала летных испытаний. Предосторожность не лишняя, учитывая многочисленные накладки и другие огрехи, как правило, сопровождающие любое новое и сложное дело...

Этот приказ был продублирован начальником ОКБ Бекетовым с подробным изложением обязанностей С. Королева, В. Глушко и других работников, выполняющих «заказ 5050», в период подготовки и проведения летных испытаний. Предполагаемое время их начала — середина июля. Причем выполнению работ, связанных с испытаниями РУ-1 и РД-1, придавалась наивысшая в условиях производства степень важности: «Работы с визой Главного Конструктора РД: «На самолет» выполнять как аварийные, вне всякой очереди», — гласил этот приказ.

Принципиально новый двигатель требовал тщательной доводки. На серийных самолетах, с экипажем, выучка которого не могла сравниться с выучкой испытателей, требовалась особая надежность двигателя. В ходе стендовых наземных испытаний, а затем и в воздухе была испытана новая система зажигания. Предусмотренное ранее зажигание с помощью электрической свечи накаливания оказалось неустойчивым и могло привести к неприятным сюрпризам на больших высотах. В. П. Глушко предложил и разработал метод химического зажигания (ХЗ), оказавшийся намного более надежным и применявшийся и в дальнейших модификациях двигателей РД-1. Стендовые испытания основного двигателя и его нескольких «дублеров» в боксе № 10, который охранялся с особой тщательностью,

в целом дали положительные результаты. Четко сработала система повторных запусков в пределах ресурса. Но окончательный ответ должны были дать летные испытания¹. Первый полет с включенной реактивной установкой (ему предшествовали полеты с установленной РУ-1, но без ее включения, для проверки аэродинамики) состоялся 1 октября 1943 года. В полете РД-1 включался на 2 минуты, был получен прирост скорости почти в 100 км. Пилотируемый самолет А. Г. Васильченко доложил, что машина вела себя устойчиво. Полет 2 октября сопровождался включением РУ-1 на три минуты, а 4-го октября ПЕ-2 15/185 вылетал 6 раз. Замеры показали, что включение установки сокращает длину разбега более чем на 70 метров, величина весьма ощутимая на полевых аэродромах. В полетах принимал участие в качестве инженера-испытателя, включавшего и выключавшего установку, С. П. Королев.

Успешные полеты начала октября давали уверенность в том, что ПЕ-2 РД вскоре можно будет предъявить представителям ВВС и пустить в серию. В приказе по ОКБ от 8 октября отмечалось, что успешная отработка в наземных условиях и проведение первых полетов самолета ПЕ-2 с установкой РД-1 позволяют ввести испытания в обычное русло. Выпуск самолета в полет со включением РД-1 было разрешено производить на основании «полетного задания» ЛЭС завода № 22 с визой заместителя КБ-2 Севрука и утверждением задания С. П. Королевым. В ходе испытаний пилотов и инженеров встречали неожиданности, но сколько-нибудь серьезных аварий не было. Правда, 17 ноября в боксе № 10, отведенном для испытаний РД-1, произошла серьезная авария мотора МБ-102 004.

¹ Летные испытания проводились по расширенной программе. Предусматривалось около 110 полетов, из них 29 — с включением РУ-1, 67 — для отработки системы ХЗ. См.: Пономарев А. Н. Советские авиационные конструкторы. М., 1977. С. 191—193.

Но, к счастью, человеческих жертв не было. Во время одного из наземных испытаний получил ранение и С. П. Королев. Но судьба уберегла гениального конструктора, которому предстояло еще свершить главное в жизни страны и в своей — прорыв в космос.

Серия испытаний РУ-1 и отчеты по ним были одобрены в НКАП. Мог быть доволен и 4-й отдел НКВД СССР. Конструкторы в телогрейках не зря ели хлеб. Дальнейшая судьба героев нашего очерка С. П. Королева и В. П. Глушко выходит за его рамки. Их работа в Казани стала важным этапом на пути создания реактивной авиации и ступенькой на пути в космос. РУ-1 и ее модификации на основе РД-1 ХЗ испытывались в 1944—1945 гг. на истребителях Яковлева и Сухого. На четырех РД-1 предполагал создать гениальный Бартини свои перехватчики, опережавшие время. Но уже наступала эра реактивной авиации. Реактивные двигатели из подспорья и вспомогательного агрегата все увереннее становились основной силовой установкой. А С. Королеву и В. Глушко предстояло стать лидерами освоения космического пространства, живыми легендами, академиками, кавалерами многих наград, в том числе и двух Золотых Звезд. Не были обделены наградами и их коллеги по казанскому ОКБ.

Размер очерка не позволяет отметить многих из тех, кто в качестве «спецконтингента» казанской авиационной тюрьмы внес заметный вклад в создание новой техники, обеспечившей впоследствии приоритет СССР в ряде важных областей техники. Но в заключение хотелось назвать хотя бы некоторые фамилии через документ, в котором преломляются и горечь, и небольшие радости этого незабываемого времени.

Незадолго до нового 1944 года был объявлен приказ по ОКБ завода № 16. Он гласил: «За успешное окончание стендовых заводских испытаний объекта 5050 премировать группу нижеследующих специалистов КБ-2:

1. Глушко	— 1000 руб.	8. Рудзский	— 500 руб.
2. Севрук	— 1000 руб.	9. Сапаров	— 500 руб.
3. Жирицкий	— 1000 »	10. Лужин	— 350 »
3. Шнякин	— 500 »	11. Беленький	— 350 »
5. Витка	— 500 »	12. Воронцов	— 350 руб.
6. Уманский	— 500 »	13. Королев	— 1000 »
7. Назаров	— 500 »		

Бухгалтерии ОКБ выплатить сумму Спецтюрьме НКВД ТАССР для перечисления на личные счета премируемых специалистов».

Главному бухгалтеру было приказано отнести премии за счет экономии фонда зарплаты в декабре 1943 года. На приказе — надпись Бекетова о том, что гл. бухгалтер Горский с приказом ознакомлен, но расписываться об исполнении не желает. То ли экономии не было, то ли другие причины. Эти главбухи искони упрямый народ. Такая уж у них служба. Хочу думать, что «спецконтингент» все же получил свое заработанное... А свобода, как главная награда, и другие государственные отличия и звания, в том числе и самые громкие, были еще впереди...

До конца войны оставалось полтора года, до полета Гагарина — почти восемнадцать. Мир еще не догадывался о том, что за решетками спецтюрьмы в Казани два будущих первопроходца космоса готовят одно из самых главных событий XX века.

В. ПЕТЛЯКОВ — ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Самолет ПЕ-2 — заводской номер 14-11 — врезался в землю и взорвался в 3-х км от станции Камкино Казанской железной дороги и 1 км от деревни Мамешево. Это произошло 12 января 1942 года приблизительно в 14 часов 30 минут. Командиром корабля был ст. лейтенант Овечкин. Шедший с ним в паре самолет того же типа, заводской номер 12-11, командир экипажа лейтенант Остапенко,

продолжил полет в сторону Москвы. Свидетели катастрофы показали, что на высоте приблизительно 100 метров охваченная пламенем машина спикировала. После взрыва обломки были разбросаны на площади 50—150 метров. На месте катастрофы были обнаружены сильно обгоревшие и деформированные тела летчика, штурмана, радиста... и четвертого члена экипажа¹.

Обычная катастрофа, которая не редкость, к сожалению, и для наших дней. Вряд ли она привлекла бы и тогда особое внимание, если бы не четвертый пассажир. Им был Владимир Михайлович Петляков — создатель ПЕ-2, знаменитый авиаконструктор, ученик Туполева, разделивший в октябре 1937 года с ним и другими авиаконструкторами трагическую судьбу «врага народа». Но затем первым из конструкторов выпущенный на свободу, успешный получить после этого закрытую Сталинскую премию и даже вставить металлические зубы, необходимость которых появилась после пребывания на Лубянке. Гибель Петлякова вызвала много разговоров, было даже предположение о диверсии. Тем более, что в теле пилота нашли автоматную пулю. Петляков стал единственным главным конструктором, погибшим в годы войны. Обстоятельства его смерти тщательно расследовались и были доложены Сталину. Только сейчас мы имеем возможность познакомиться с этими документами, хранившимися с наиболее секретным грифом в архивах партии и НКВД.

Немного о том, что предшествовало трагедии. Самолет ПЕ-2, равно как и созданный ранее ТБ-7 (после смерти конструктора получивший наименование ПЕ-8 — он был нашим первым стратегическим бомбардировщиком нового поколения), строился в сложнейшей предвоенной обстановке. Сложнейшей не только потому, что политическая атмосфера пахла пороховой гарью. Пик репрессий в разгаре

¹ Уникальные документы и фотографии из материалов расследования катастрофы опубликованы в первом номере журнала «Эхо веков».

поиска «врагов народа» — ответчиков за неудачи государства в ряде стратегических направлений, захватил и авиационные круги. Были арестованы многие ведущие авиаконструкторы во главе с их старейшиной Туполевым¹. Застрелился нарком М. Каганович, недолгое время бывший директором казанского авиазавода № 124, первенца второй пятилетки. Одной из причин опалы конструкторов стало, очевидно, обозначившееся в конце испанской войны отставание нашей авиационной техники от немецкой. Появившиеся в небе Испании истребитель и бомбардировщики МЕ-109 и Ю-88 по ряду важных параметров превосходили наши И-16 и «СБ». Правда, ликвидировать авиаконструкторов, равно как и других видных создателей оборонной техники, оказавшихся за решеткой, не собирались. Они обрели работу в специальной конструкторской тюрьме, названной СТО — специальный технический отдел, а в просторечии — «шарашкой». Вначале все они находились в ее основном здании на берегу Яузы, неподалеку от Лефортова, а затем понемногу направлялись на заводы и КБ. Впрочем, и там условия были режимными, хотя все условия для творческой работы создавались. Причем их ряды пополнялись и теми, кто под «горячую руку» попал вначале в лагерь общего и строгого режима. По этому поводу был издан специальный приказ нового наркома НКВД Л. Берии. Так был, например, возвращен в ряды

¹ Туполев был арестован 21 октября 1937 г. До конца года были арестованы почти все конструкторы его КБ. Очевидно, вокруг решения его судьбы были разногласия. Судили его только 28 мая 1940 г. Председатель военной коллегии ВС В. Ульрих заявил, что Туполев не только организатор шпионской диверсионной группы, но и старый агент французской разведки. Приговор гласил: 15 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. Хотя любым из 4-х пунктов статьи 58 УК, по которым обвиняли, был предусмотрен расстрел. Добавим к этому, что уже в 1939 г. в «режимных» условиях Туполев работал над проектом самолетов: пикирующего и 4-моторного высотного бомбардировщика. Первый из них был знаменитый ТУ-2, с 1944 года ставший лучшим фронтовым бомбардировщиком ВВС.

режимных конструкторов С. П. Королев, оказавшийся вместе с Туполевым, Глушко и др. выдающимися конструкторами в Казани.

Как уже было сказано, Петляков одним из первых обрел свободу, а созданный им двухмоторный высотный истребитель-перехватчик «СТО» был срочно переделан в пикирующий бомбардировщик. Именно этот класс самолетов показал себя наилучшим образом в войне, начавшейся в Европе. Машина получилась удачной, а по скорости, особенно на высотах свыше 5 километров, не уступала истребителям воюющих стран. Первые экземпляры ПЕ-2 были построены на московском заводе № 22 имени Горбунова и даже участвовали в последнем предвоенном параде¹. Большая часть этих машин была уничтожена во время катастрофического начала войны. В осенние дни тяжелейших боев под Москвой завод № 22 был эвакуирован в Казань и начал работать там параллельно с заводом № 124, но вскоре был слит с ним. Практическое слияние, начавшееся глубокой осенью, было затем юридически оформлено постановлением ГКО от 23 декабря 1941 года. Объединенный завод получил номер и название московского. Предстояло решить сложнейшие технические и психологические задачи создания единого коллектива. До войны завод № 124 имени Орджоникидзе строил четырехмоторные гиганты Туполева, а затем Петлякова. Теперь же главной задачей стал выпуск ПЕ-2, а создание ТБ-7 как бы отошло на второй план, хотя практически не прекращалось, исключая небольшой период с декабря 1941 года по апрель 1942 года.

В Казани обосновалось и ОКБ Петлякова, работавшее над дальнейшей модернизацией серийных ПЕ-2 и созданием их новых модификаций. Большое место в работе ОКБ занимали проблемы повышения надежности и живучести

¹ Начиная с 1941 г. ПЕ-2 должен был выпускаться и на казанском заводе № 124.

машин, укрепления технологической дисциплины. В условиях спешки военного времени, когда фронт после катастрофических потерь в авиационной технике лета 1941 года требовал немедленного увеличения выпуска самолетов, участились случаи некачественной сборки машин. Это было связано и с тем, что значительная часть квалифицированных рабочих была мобилизована в армию, а система «бронирования» только отрабатывалась. Отсутствие четкой системы закрепления контрольных мастеров нередко приводило к обезличке и затрудняло выявление виновников брака. Эти же «болезни» продолжались и в Казани, ставшей поставщиком ПЕ-2 во всех его модификациях. Особенно обострилось положение в декабре 1941 года. На все это накладывала свой отпечаток и вполне естественная конкуренция создателей различных моделей машин, особенно работавших над одними и теми же типами. Вот и в декабре Главного конструктора взволновали дошедшие из Москвы слухи о том, что возможна переориентация завода № 22 имени Горбунова на выпуск новой машины, созданной Туполевым, знаменитого впоследствии ТУ—2¹. У Петлякова тоже созрели новые предположения по дальнейшему совершенствованию ПЕ-2, включая замену двигателя, что позволило бы получить серьезную прибавку скорости и бомбовой нагрузки. По всем этим вопросам он посылает шифровку наркому авиационной промышленности Шахурину с просьбой разрешить выезд в Москву для личного доклада. Ответ был положительен, но о дате встречи нарком обещал сообщить дополнительно. Именно в эти дни начинаются и злосчастия самолета с заводским номером 14-11, завершившиеся «огненным пиком» неподалеку от Арзамаса. Во время испытания системы питания 30

¹ Они не были лишены оснований. По приказу НКАП предполагалось к концу 1942 г. полностью перевести завод № 22 на выпуск машины «103» (ТУ-2). В Казань был переведен и сам Туполев. Однако по целому ряду причин этот приказ был отменен.

декабря были разорваны все пять бензобаков. Они подлежали немедленной замене, что и было спешно сделано. Через день 14-11 представили к приемке военпреду цеха № 8, но проверка выявила 13 дефектов по группе электро- и навигационного оборудования. Правда, через несколько часов 12 из них были устранены. Наконец за несколько часов до нового 1942 года была принята винтомоторная группа и самолет был засчитан в план 1941 года. Мы уже знаем по прошлому, какая лихорадочная деятельность развивалась на всех предприятиях в конце месяца, а тем более месяца, завершающего год. Один из опытных директоров с сарказмом говорил: хоть 33-го, хоть 35-го числа, но месячный план выполним, не можем не выполнить. Итак, ПЕ-2 с заводским номером 14-11 был готов к боевой службе. Однако до первого вылета оставалось еще более недели. Машины 14-11 и 12-11 несколько отличались от серийных в связи с тем, что предназначались для дальней разведки, имели увеличенный запас горючего и мощное фотооборудование. В Казань 9 января прибывают за ними два экипажа 2-го Дальнеразведывательного полка. Старшим группы был заместитель командира эскадрильи полка старший лейтенант Ф. Овечкин. Очевидно, надо упомянуть и остальных членов его экипажа, жить которому оставалось менее трех суток. Это штурман — младший лейтенант М. Гундоров, стрелок-радист сержант В. Скрбнев, а также прикомандированный к ним воентехник 2-го ранга И. Орехов, обязанный помочь экипажу принять эти две машины.

Вечером этого же дня Петляков в своем рабочем кабинете вместе с заместителем А. Изаксоном и начальником опытно-конструкторского отдела завода обсуждают окончательные варианты модификации ПЕ-2, с которыми главный конструктор должен был выехать к наркому. Разговор был прерван вызовом к аппарату правительственной связи «ВЧ», находившемуся в кабинете директора завода. Вернувшись, он сообщил, что Шахурин решил вызвать его

в Москву для решения вопросов о судьбе машины и, в первую очередь, о замене типа двигателей. Удовлетворение возможностью лично доложить наркому свои соображения омрачалось тем, что натурные испытания еще не были проведены, а теоретические выкладки могли вызвать сомнения. Оставалась надежда на то, что за несколько дней, возможно, удастся кое-что прояснить и подкрепить теоретическую часть доклада наркому. Однако этого времени Петлякову судьба уже не отвела. Утром его снова вызывают в «ВЧ» и секретарь наркома сообщает, что Шахурин требует срочного приезда. В таких случаях Петлякову обычно предоставляли заводской самолет. Однако в этот день он был уже подготовлен для полета в Сталинград и мог быть направлен в Москву только после возвращения, не ранее чем через сутки, а то и более. В этой сложной ситуации Петляков заявляет: «Полечу на боевом самолете». В тот же день вопросы, связанные с предстоящей встречей у наркома, он обсуждает с главным инженером завода С. Лещенко в присутствии Изакона и главного военпреда Кутузова. Лещенко предлагает использовать для перелета в Москву принятую, по его словам, без единого замечания машину № 905. Однако директор завода Карпов, с которым Петляков уже поздним вечером обсуждал детали поездки, отказался предоставить ее, заявив, что она еще не принята военпредом, что впоследствии было осуждено общественным мнением завода как решение, обрекшее конструктора на гибель. Сейчас, по прошествии пятидесяти с лишним лет, трудно, конечно, судить об обоснованности этого отказа, но один из ветеранов, работавших в то время, рассказывал мне, что директор потом раскаивался в своем поступке. Учитывая, что поезда до Москвы в то время ходили более двух суток, причем в случае налетов на столицу вынуждены были простаивать на подмосковных станциях, Петляков начинает искать другие возможности. Военпред Кутузов сообщил, что есть две готовые машины для Дальнеразведывательного полка с

укомплектованными экипажами. Они должны 11-го вылететь на подмосковный военный аэродром Монино, откуда несколько раз в день летают У-2 на Центральный аэродром столицы. Однако ввиду обнаружения новых дефектов вылет 11-го задерживался. Да и сам Петляков в этот воскресный день вылететь из Казани не смог бы — по существующим правилам он должен был получить письменное разрешение местного НКВД. Шанс на спасение, данный ему жесткой бюрократической системой оформления, однако, остался не использованным. Самолеты 11-го не вылетели. Тем временем, учитывая будущую эксплуатацию машины Овечкина на полевом аэродроме, в ночь на 12 января, устанавливают ее на усиленные лыжи. Очевидно, злключения этих машин стали уже известны. По настоянию Изакосона, летевшего вместе с Петляковым, тот выясняет у старшего военпреда данные о командирах экипажей. Информация была обнадеживающей — пилоты опытные, не раз выполняли боевые задания, а Овечкин имеет более 500 часов налета на ПЕ-2. Для этого типа самолетов в боевых условиях это были показатели аса. Петлякову снова предлагают выехать поездом. Он отвечает категорическим отказом. Однако судьба снова, казалось, предоставила шанс на спасение — с утра 12-го оформление документов еще не было закончено, и по указанию Петлякова его секретарь позвонила военпреду с просьбой задержать намеченный на 11 часов вылет двух экипажей. Ответ был отрицателен. Они и так опаздывают на два дня, из Москвы уже было сделано строгое внушение, вылетят в 11, как и намечалось. Но из-за нашей привычной бюрократической путаницы, прибывшие к 8 часам для предполетного осмотра экипажи не были пропущены на летное поле — не успели оформить пропуска. К самолетам экипажи попали только в 12-м часу. К этому времени Петляков уже получил разрешение НКВД. На осмотр машины 12-11, у воентехника Орехова ушло на это около двух часов. На 14-11 времени уже не было. Зимний день

короток, машины для ночного полета не оборудованы, и надо было спешить. Правда, самолет 14-11 утром проверял один из работников летно-испытательной станции, но осмотр был поверхностен, двигатели не запускались, тем более что ему было заявлено, что самолет перегоняют на гражданский аэродром Казани, а это со взлетом и посадкой занимает около 5 минут.

Дальше отсчет времени пойдет по минутам. В 13.20 у самолетов находятся экипажи, Петляков, Изаксон, военпреды Шестаков и Кабакчиев. На вопрос о погоде по маршруту Овечкин доложил, что синоптики обещали низкую облачность в районе Арзамаса, где придется лететь на бреющем, ориентируясь по железной дороге. В 13.45 машины взлетели. Ведущим был экипаж Овечкина, в задней кабине находился Петляков, а Орехова обещали доставить в Момино на другой день с заводским перегонным экипажем. До катастрофы злосчастного 14-11 оставалось около сорока минут. Их хватило для того, чтобы в районе Арзамаса, как и обещали синоптики, встретить облачность, нижняя кромка которой была 180—200 метров от земли, и перейти на бреющий полет... Остальное читатель уже знает. Летевший в машине 12-11 Изаксон потом вспоминал, что его внимание привлекла бурная жестикуляция стрелка-радиста, но слов он не понял. Только на земле узнал, что тот показывал, что машина Овечкина отвернула от курса и, объятая пламенем, ушла налево от курса. Поиски через несколько дней привели к месту катастрофы. Обгоревшее тело Петлякова лежало около обломков центроплана, невдалеке тела штурмана и стрелка-радиста, дальше всех выбросило взрывом Овечкина... Через несколько дней в Казани состоялись похороны экипажа... Был на них и прилетевший из Сибири наставник и друг А. Н. Туполев. В ушах участников траурной церемонии долго еще звучал его рыдающий возглас над могилой — «Что же ты наделал, Володя!». Как сложилась дальше судьба детища Петлякова — фронтового бомбардировщика

ПЕ-2? Конструкция оказалась весьма технологична и легко воспринимала различные модификации в зависимости от требований заказчиков. Его модернизацией занимались такие выдающиеся конструкторы, как А. Изаксон, А. Путилов, В. Мясищев и др. Всего, по подсчетам известного историка авиации Б. Шаврова, до 1945 года на базе ПЕ-2 было создано 22 различные модификации, включая скоростные истребители, дальние бомбардировщики, штурмовики, торпедоносцы и даже такой экзотический самолет, как «Параван», предназначенный для разрезания тросов аэростатов заграждения. На ПЕ-2 опробывались и другие опережавшие время изобретения, как, например, «взлет на воздушной подушке» или система сбрасывания гранат на парашютах для защиты от истребителей и др. Всего со времени запуска в серию было изготовлено 11427 машин марки ПЕ-2, более десяти тысяч из них на казанском заводе имени Горбунова. Боевое применение ПЕ-2 породило ряд тактических приемов, позволяющих всесторонне использовать возможности этой выдающейся машины. Самая известная — «вертушка» Полбина. Названная в честь ее автора, генерал-майора Ивана Полбина, ставшего дважды Героем Советского Союза, командуя бомбардировочными соединениями, укомплектованными ПЕ-2, и погибшего в небе над Будапештом.

Особое место в истории нашей авиации занимают успешные попытки использовать на поршневых самолетах дополнительные реактивные ускорители, созданные Глушко для получения кратковременного прироста скорости. Они впервые были начаты на ПЕ-2 в Казани. Руководителем этих экспериментов стал переведенный сюда С. П. Королев. Он принимал и личное участие в полетах с включенными реактивными установками, а во время одного из наземных испытаний чудом остался жив после взрыва... Казань чуть было не стала местом последнего упокоения еще одного выдающегося конструктора. В начале своего «казанского периода» Королев находился на

положении «спецконтингента» и, как рассказывает знаменитый летчик-испытатель Марк Галлай, встречавшийся с ним в 1943 году на летном поле завода имени Горбунова, за будущим «отцом космических программ» постоянно ходил конвоир, впрочем, не вмешивавшийся в деловые разговоры. Первый полет с включенной ракетной установкой на ПЕ-2 совершил 1 октября 1943 года заводской летчик-испытатель, впоследствии Герой Советского Союза Г. Васильченко. В последующих полетах участвовал и С. П. Королев. Всего было осуществлено несколько десятков таких полетов. Старожилы Казани, очевидно, еще помнят, как на ПЕ-2, уходящих за Волгу, вдруг вспыхивал огонь в хвостовой части. А огонь на летящем самолете — это страшно. Но самолет не падал, а потом рождались слухи о падении и взрыве за горизонтом. Впрочем, тогда на глазах тысяч людей произошла и настоящая катастрофа в центре города. Самолет упал на одно из производственных зданий комбината «Спартак». Но это не имело отношения к испытанию ракетных ускорителей.

Еще одно детище Петлякова получило путевку на казанском авиационном заводе. Бомбардировщик со сложной судьбой, сменивший за свою «биографию» несколько имен — АНТ-42, ТБ-7, ПЕ-8. Он был спроектирован и совершил первый полет еще в 1936 году, создавался в стенах КБ Туполева, но бригада, которая выполнила все основные работы, — от проектирования до воплощения в натуре, — возглавлялась Петляковым и Архангельским. Он конструировался как машина, предназначенная для выполнения стратегических задач. Был в какой-то мере преемником знаменитых «большегрузов» Туполева, самый знаменитый из которых восьмимоторный «Максим Горький» постигла трагическая судьба. Осталось невыполненным и решение Политбюро о создании серии из 16 машин такого типа. Новая машина Петлякова ТБ-7 в опытном варианте имела пять моторов. Затем их число было сокращено до четырех. Конструкция оказалась удачной, но по ряду при-

чин в большую серию не пошла. Ее также строили на заводе № 124, а затем № 22 г. Казани. Темпы выпуска то форсировались, то снижались до минимума. Всего было выпущено около 80 машин. На них ставили различные типы двигателей, опробовали новые системы вооружения и навигации. Из наиболее известных операций с участием петляковского гиганта можно назвать налеты на Берлин в начале войны, имевшие большой пропагандистский эффект. На них также впервые использовались самые большие в то время 5-тонные бомбы, сброшенные под Орлом и на Кенигсберг. На самолете ПЕ-8, получившем это название после гибели конструктора, командир экипажа Пуссеп совершил знаменитый полет через океан с Молотовым на борту во время дипломатической миссии в США. После войны эти машины еще долго летали в Арктике, совершали посадки в высоких широтах, поблизости от полюса.

В 1944 году на базе ПЕ-8 был построен правительственный спецсамолет с салоном на 12 человек и даже 3-местным спальным отсеком. Очевидно, он предназначался для Сталина. Однако насколько можно судить по документам, в этом качестве он ни разу не использовался. Но вернемся к последним штрихам судьбы конструктора. Гибель главного конструктора вызвала — и не могла не вызвать, — повышенное внимание технических и специальных служб. Кроме местных чекистов, расследованием занимались контрразведчики из Москвы. Гипотеза о злом умысле или диверсии отпала. А смутившая вначале следователей пуля, извлеченная из тела командира экипажа, не имела следов нарезки от ствола и была, очевидно, последствием взрыва патронов личного оружия пилота. Было допрошено более 30 человек. Поступила также разнообразная информация от негласных агентов госбезопасности. Один из них сообщил представителю НКВД на заводе подробности обстоятельств злосчастного вылета. Судя по всему, этот человек был близок к руководству завода. Так, например, он был свидетелем отказа Петлякова подождать до следу-

ющего дня и полететь с надежной перегонной бригадой завода в качестве третьего члена экипажа. Причем было обещано рассмотреть вопрос о посадке прямо в Москве на Центральном аэродроме, где поджидавшая машина могла через полчаса доставить его к Шахурину. Запомнил он и иронический отказ Петлякова взять парашют и переодеться в летный костюм — «парашют на своей машине мне не нужен». При расследовании выяснилось, что за последнее время участились случаи небрежной сборки всасывающих патрубков, отсутствия хомутов и даже гаек. Это уже приводило к попаданию горючего на клапаны и возгоранию двигателя. Правда, это пока случилось во время опробования мотора. Рассматривалась и версия отказа электрооборудования. Но она не подтвердилась. Заключение, подписанное комиссией, состоявшей из летчиков и инженеров, гласило: «Очаг пожара на самолете 14-11 находился на внутренней поверхности правого крыла в правой части центроплана... Возможная причина — подтекание бензина в зоне правой мотогондолы». Были названы и фамилии контрольных мастеров, принимавших винтомоторную группу за несколько часов до нового года. Были изданы строгие приказы о недопустимости нарушения технологической дисциплины, усилены личная ответственность за приемку и фиксирование обязанностей мастеров. В общем, все, что бывает после ЧП, — во все времена.

Насколько мне известно, арестов кого-либо не последовало, ограничились административными мерами. Почему же погиб блестящий конструктор, безусловно, обогативший бы еще нашу авиацию новыми образцами самолетов? Наверное, главная причина — это привычная наша расхлябанность и принцип «авось пронесет». С ним боролись драконовскими мерами, но порок этот живуч и до сих пор. Ну и, конечно же, извечное стремление многих неординарных и талантливых личностей пренебречь рядом условностей и правил, когда речь идет о личной безопа-

ности. Это было и на фронте. Да и надо ли сейчас все это взвешивать по принципу «что было бы... если бы...».

В текущем году Василию Михайловичу Петлякову исполнилось бы 105 лет. Сомнительно, что он дожил бы до этого преклонного возраста. Но природа отмерила ему, конечно, больше 51 года, закончившегося «огненным пике» у захолустной станции неподалеку от Арзамаса. Однако случилось то, что случилось. А над прошлым «не властны даже боги», как считали еще древние греки.

Из архивов партии

СПЕЦСЛУЖБЫ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ И МУСА ДЖАЛИЛЬ

Начало 50-х было для спецслужб страны весьма тревожным. Стареющий диктатор, не желавший уходить с политической арены, лихорадочно искал более эффективные варианты укрепления своей власти, вносил новые детали в сценарии, отработанные еще в 30-е годы.

Как во многих победивших странах политическое руководство стремилось ограничить влияние силовых структур и, в первую очередь, милитаристских кругов, находившихся в состоянии эйфории от выигранной войны и стремившихся, по его мнению, распространить свою власть и на дела, им «ненадлежащие». Отсюда новые аресты военных, успешные попытки столкнуть между собой бывших командующих фронтами и организовать кампанию против Жукова, с которым у некоторых из них были свои, и небезосновательные, счеты. Не обошла новая сталинская «санация» и органы госбезопасности, возглавляемые до лета 1951 года его выдвинутым и любимцем Виктором Абакумовым. Судя по ряду воспоминаний (Питовранов, Ю. Маленков, С. Берия и др.) и документов «особых папок» ЦК КПСС и личного архива Сталина, бывший

руководитель СМЕРШа, а с 1946 года министр ГБ генерал-полковник Абакумов, сменивший на этом посту В. Меркулова, был обвинен в ряде упущений в служебной деятельности. В частности, попустительстве врагам народа, врачам-убийцам, а также излишнем увлечении трофеями и другими мирскими благами¹. Впрочем, в совершенно секретном письме ЦК ВКП(б) от 13 июля 1951 года «О неблагополучном положении в МГБ СССР», разосланном вскоре после ареста Абакумова, внимание, в основном, акцентировалось на политических мотивах.

Министром ГБ СССР был назначен в августе 1951 года заведующий отделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов ЦК ВКП(б) С. Д. Игнатьев. До этого он многие годы находился на партийной работе в национальных республиках, в молодости занимал незначительные должности в чекистских органах. Став в январе 1951 года заведующим ключевым отделом ЦК, он по поручению Маленкова активно «изучал» деятельность органов и, в первую очередь, самого Абакумова. Разумеется, это могло произойти только по личному разрешению Сталина.

После назначения министром ГБ Игнатьев вплоть до февраля 1952 года оставался заведующим отделом ЦК. Находясь на посту министра ГБ, Игнатьев активно участвовал в создании «дела врачей». После смерти Сталина был освобожден от должности министра и утвержден на Пленуме Секретарем ЦК, однако уже в апреле 1953 года был снят с этой должности и до конца года находился в

¹ Сохранилось трагическое письмо Абакумова членам Политбюро Маленкову и Берии. Он пишет, что был после ареста избит до полусмерти и загнан в специальную камеру-холодильник, о существовании которой ранее не подозревал. Впрочем, в последнее верится с трудом, ибо Абакумов властвовал на Лубянке более пяти лет. Кстати, дело шведского дипломата Валленберга, столь серьезно повредившее престижу страны, начинал именно Абакумов как руководитель СМЕРШа в 1944 г. и он же, очевидно, «закончил» его в конце сороковых, уже будучи министром ГБ.

опале. Однако все окончилось сравнительно благополучно. Попытки сделать его ответственным за «дело врачей» по целому ряду причин не удались, и все беззакония начала 50-х были «списаны» на Берию, Абакумова и Меркулова. Хотя ничего особенного придумывать в их отношении было не надо. Беззаконий за свою длительную политическую жизнь эта «троица» совершила предостаточно. С. Д. Игнатъев был направлен в Башкирию первым секретарем обкома, где он работал в той же должности в годы войны. Таким образом, он сохранил место в руководящем слое партноменклатуры. Но на прежние высоты его уже не возвращали. Тень процессов начала 50-х висела над ним до конца жизни.

Но вернемся к началу 50-х. Борьба в высших эшелонах власти, приведшая к гибели Л. Берии и реформированию ряда государственных и партийных структур, не обошла стороной и спецслужбы, которые были преобразованы из министерства в комитет при СМ СССР. Как всегда бывает в смутное политическое время, все эти кадровые перетряски спускались по «вертикали», ослабляли дисциплину и вызывали конфликтные ситуации на местах как внутри самих «органов», так и в их взаимоотношениях с партийной властью.

Не была исключением и Татария, где в 51—53 гг. был принят ряд партийных постановлений по различным сторонам деятельности местного МГБ, разбору взаимных жалоб его руководителей, некоторые из которых носили явно кляузный характер. Отдельные персональные дела носили трагикомический отпечаток. Так, один из оперативных работников на политзанятиях, которые всем уже изрядно поднадоели, допустил, как было сказано в документе, «неправильное высказывание в виде мата», при этом махнул левой рукой в сторону стенда, где были цитаты из трудов т. Сталина и материалы его биографии. Инцидент был немедленно доведен одним из «коллег» до начальства. Бедолагу вскоре выгнали с работы, исключили

из партии, а заодно дали выговор и чуть позднее сняли с должности и секретаря парткома МГБ. Писали друг на друга министр и замы, начальники отделов и отделений, рядовые оперативные работники... То начальник отдела доведет до слез подчиненного капитана. То его самого обвинят в недостатке бдительности, заключавшегося в том, что не придавал значения сообщенному осведомителем факту хранения одним из подозреваемых книги врага народа — экономиста Чаянова и не дал завести на того «дело». Да еще заметил на служебном совещании, что не всегда Чаянов считался врагом..., а вот «бдительный» подчиненный, по его мнению, сам распустил секретную агента, и те несут разную чушь вместо того, чтобы заниматься делом. В общем, нормальная учрежденческая склока и борьба за выживание в смутное время. Очевидно, такая бурная «принципиальность» инспирировалась сверху и была нужна для предстоящих кадровых перемен в «постабакумовский» период. В конце концов Татарский крайком ВКП(б) разразился в декабре 1952 года (это могло произойти только по прямой рекомендации ЦК) грозным постановлением «О серьезных недостатках в работе МГБ Тат. АССР». Подобные же партийные решения были приняты и в ряде других регионов страны. Новый министр госбезопасности С. Д. Игнатъев — бывший зав. отделом ЦК ВКП(б), — проводил тогда очередную чистку кадров, отражавшую скрытую борьбу в высших эшелонах власти.

Оценивая кадры МГБ, крайком отметил, что отдельные работники допускали неправильные методы ведения следствия, а некоторые (дан список) замечены даже в антисоветских высказываниях. В список последних попал и злополучный Филатов, допустивший взмах рукой «и цензурное высказывание в сторону стенда» на политзанятиях. После столь жесткой оценки деятельности последовали оргвыводы, заранее предreshенные Игнатъевым — министр Д. Токарев был снят за «слабое руководство», а его соперник в борьбе за власть — начальник Казанского областно-

го управления Галиуллин,— за «потерю политического чутья».

Вскоре после этого к руководству МГБ, а затем с 1954 года — в КГБ Татарии пришли новые лица. В МГБ недолгое время работал Запевалин¹, а комитет возглавил бывший заведующий отделом крайкома П. П. Семенов. В этот период происходит некоторая стабилизация деятельности органов, сокращение раздутых штатов и агентурной сети, особенно той ее части, которая «освещала» националистические элементы. Ряд руководящих работников был представлен к увольнению и переводу на меньшие должности, в связи с чем в середине 1954 г. обкому пришлось снова заниматься разбором жалоб и заявлений «обиженных». По привычке каждый снимаемый с должности объяснял это политическими мотивами и клеймил начальство за упущения в деятельности по разоблачению «врагов народа». И вот в связи с делом одного из таких жалобщиков, ранее занимавшего должность начальника Мензелинского районного отдела и попавшего под сокращение, в делах остались любопытные документы, имеющие самое прямое отношение к заголовку. Итак, какое же отношение имеет Муса Джалиль к делу снятого с работы районного начальника?

После увольнения со службы майор, скажем так — «Х», фамилию не привожу, ибо дело не в старых кляузах и сведении счетов между собой в те давние дни, а в полезной и сейчас фактической информации, обвинил Татарский КГБ и его руководителей в попустительстве буржуазным националистам и скрытии их вредоносных дел. Кроме того, судя по деталям жалобы, он прихватил из служебных оперативных архивов некоторые документы или рабочие записи и аргументировал обвинения «фактами» и фамили-

¹ Генерал Запевалин был из пожарников. Человек простоватый, он на совещаниях говорил, что его мало интересует, есть ли американские шпионы где-нибудь в Сарманово... Главное, чтобы не было пожаров.

ями. Письмо, направленное в ЦК КПСС, а в копии КГБ СССР, было весьма объемистым и могло повлечь самые серьезные последствия, ибо национализм издавна был жупелом для государства и борьба с ним, особенно в республиках, находилась под сугубым контролем. Правда, времена настали другие, и фабрикация дел типа «Идель — Урал» в 1936 г., когда татарский народ в целом был обвинен в пронизанности враждебной агентурой, а престарелый московский мулла «сознался», например, в том, что собирался взорвать 4 завода, три моста и вокзал, были уже невозможны, но борьба с «национализмом» продолжала оставаться в центре внимания. Особенно, когда речь шла о татарах, по разным причинам оказавшихся за рубежом. И вот после многомесячного разбирательства в недрах Татарского КГБ был рожден в 1955 г. подробный документ, направленный в ОК КПСС. В нем скрупулезно опровергается утверждение жалобщика о пассивности местных чекистов по отношению к буржуазному национализму, в том числе и зарубежному. Тон документа оптимистичный и сводится он к тому, что, несмотря на отдельные недостатки, чекисты неослабно держат под контролем опасные татарские элементы как в стране, так и за ее рубежами¹. Одним из пунктов обвинения, предъявленного уволенным майором, было утверждение и о том, что в Казани не придали должного значения материалам о Джалиле, поступившим в Татарию в 1947 г. В подробной справке Заместитель Председателя КГБ ТАССР Кузнецов дотошно анализирует историю и этого вопроса, и перед нами раскрываются весьма любопытные детали, проливающие свет на причины затянувшейся реабилитации поэта. Оказывается, еще в феврале 1946 года некий Шамбазов дал показание о том, что М. Джалиль жив и находится

¹ Правда, чекисты самокритично отметили, что за рубежом удалось не все. Так, например, провалилась попытка ввести в 1953 году своего агента в окружение Заки Валидова.

на нелегальном положении в Западной Германии, а возможно, даже скрывается в одной из европейских стран. Делу был дан официальный ход и 18 ноября 1946 года 4-й отдел МГБ СССР завел на поэта розыскное дело и подключил к нему агентурную сеть за рубежом. Хотя буквально через несколько дней после этого арестованный Надеев, а затем бывшие военнопленные Фатыхов и Гилязов подтвердили факт гибели Мусы Джалиля в Моабите, дело не закрывалось и продолжало свое медленное и немолчаливое течение. Кроме версии об «уходе» Джалиля на запад, прорабатывалась и версия о том, что он, изменив фамилию, может скрываться в самой стране. Время было послевоенное, и мы знаем, что немало военных преступников действительно скрывались от правосудия. А по законам того времени сам факт пребывания в плену, а тем более нахождение в формированиях, созданных немцами, был, конечно, преступлением. Поэтому 5 апреля 1947 года Джалиль и Алишев были включены 4-м управлением в документы всесоюзного розыска. Заметим, что 2 апреля 1947 года первая записная книжка поэта была передана в ССП Татарии.

Итак, хотя уже в 1946 году были получены данные о гибели Джалиля и ряда его соратников, поиск «скрывшихся» был усилен. Очевидно, руководители Татарского МГБ продолжали периодически запрашивать центр о состоянии поисков. И вот 7 сентября 1948 года в Казань пришло сообщение о том, что, по данным заместителя уполномоченного МГБ по Германии, «Залилов в 1945 году ушел в Западную зону Германии». Эти данные регулярно сообщались в Татарский обком партии. Теперь становятся понятнее необъяснимые на первый взгляд колебания в общественной оценке Джалиля и отношения к его твор-

честву — в тот период. Их первопричина в такой противоречивой информации. Это отразилось и на сложной судьбе оперы Н. Жиганова «Поэт», прототипом главного героя которой был Джалиль. Накапливающаяся информация о гибели Джалиля, в том числе и полученная агентурным путем и просачивающаяся через показания и воспоминания людей, побывавших в плену, и хотя бы косвенно влияющая на позицию обкома, и, в первую очередь его первого секретаря З. Муратова, заставляла работников местной госбезопасности периодически напоминать центру о затянувшемся деле. Однако утешительного было мало. Клеймо предателя оставалось прочно приросшим к репутации узника Моабита. В мае 1949 следует новый запрос Токарева о необходимости уточнить конкретные данные резидента МГБ в Германии в связи с накапливавшимся в Казани противоречивым материалом допросов бывших военнопленных. Начальник 4-го отдела местного МГБ подполковник Качалов в разговоре по «ВЧ» с Москвой просит ускорить расследование, и в тот же день оттуда приходит ответ, как будто окончательно ставивший точку в деле: «Да! Уход на запад подтвержден и розыскное дело остается в работе». Мы уже знаем, что вплоть до начала 1952 года имя Джалиля будет окружено густым туманом оскорбительных предположений. И это связано не только с позицией некоторых «инженеров человеческих душ», хотя у отдельных личное недоброжелательство к памяти поэта проскальзывало... Люди, хорошо помнящие те времена, понимают, что означало тогда, да и многие годы спустя, сакраментальная формулировка «органы сообщили то-то» — такая информация имела высшую степень легитимности. Прошло еще три года, насыщенных многими судьбоносными событиями, но в деле «моабитской группы»

изменений не было. Хотя в недрах спецслужб продолжали накапливаться материалы. Очевидно, где-то в первой половине 1952 г. наконец-то произошел качественный сдвиг по отношению к судьбе Джалиля. Агентурные поиски и в стране, и за ее рубежами не подтверждали версии о «бежавшем на запад» и притаившемся на время, а, может быть, завербованном американцами легионере Залилове-Гумерове. Сведения же другого рода составляли к тому времени солидное досье, которое подтверждало показания 1946 года о гибели поэта и его соратников летом 1944 г. По просьбе обкома 23 июня 1952 года тот же Качалов снова просит Москву уточнить «факт гибели Залилова». Ответ не заставил себя ждать. 21 июля 1952 года 4-е Управление МГБ СССР официально сообщило, что в связи с гибелью разыскиваемого в 1944 году оперативное розыскное дело на него прекращено. После некоторых необходимых формальностей дело было сдано в архив МГБ ТАССР. Еще до этого в начале августа 1952 года Токарев доложил Муратову о практической реабилитации Мусы Джалиля и вернул переданные ему секретарем обкома Батыевым переводы стихов поэта...

Но это было только начало возвращения поэта в историческую память народа. Необходимо было общее изменение общественно-политической атмосферы. Предстояли еще многие годы скрупулезной работы сотрудников госбезопасности, партийных работников, писателей и ученых для того, чтобы мы в полном объеме узнали о масштабах всего того, что сделал поэт, того, что сделало его бессмертным символом героизма и преданности своему народу... Именно своему народу, как бы ни пытались набросить на него тень разного рода проходимцы, всплывшие на гребне безнаказанной демагогии и зоологического

шовинизма и национализма нашего смутного времени. Заметными вехами на этом пути к истине стали яркие документированные книги и статьи Р. Мустафина, Ш. Хамматова и др.

Мы остановились только на одном из сюжетов о деятельности КГБ в переходный период 1953—1956 гг. О другом интересном сюжете, связанном с татарской эмиграцией и нашими спецслужбами, мы расскажем в следующих наших книгах и публикациях.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Мальшева Светлана Юрьевна.

Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры историографии и источниковедения КГУ. Имеет ряд публикаций по истории гражданской войны и эмиграции.

Султанбеков Булат Файзрахманович.

Заслуженный деятель науки РТ, зав. кафедрой ИПКРО РТ. Автор многих публикаций по истории советского периода, проблемам национальной политики и тоталитаризма. Данная работа является продолжением вышедших ранее книг «Первая жертва генсека», «Страницы секретных архивов», «Сталин и татарский «след»».

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов	3
Казанский друг Вольтера	4
Аскар Алиевич Шейх-Али	17
Фуад Туктаров («Усал»)	34
Казанцы с «философских пароходов»	48
Наш человек из Парижа: судьба с казанским эпилогом	70
Хади Атласов предупреждает	84
«Письма из Стамбула» и расплата за них	102
Последний бой Галимджана Ибрагимова	113
Загадка поэта — священника Якова Турхана	137
Голгофа казанского митрополита	142
Сирин: прерванный взлет	154
Роковая ошибка переводчика	163
Исповедь секретаря Сталина	171
Этот «странный» Кондратюк	241
Сергей Королев в Казанской спецтюрьме	248
В. Петляков — последний полет	261
Спецслужбы в смутное время и Муса Джалиль	274

Султанбеков Б. Ф., Малышева С. Ю.

С 89 Трагические судьбы. Научно-популярные очерки.—
Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.—285 с.
ISBN—5—298—00653—1

В данной книге, являющейся третьей частью своеобразной трилогии из серии «История Татарстана в архивных документах», помещены историко-публицистические и научно-популярные очерки о трагической судьбе известных и неизвестных широкой публике личностей, оставивших заметный след в истории Татарстана.

Ряд событий, фактов освещается впервые, порою в совсем ином ракурсе, вопреки сложившимся легендам, оценкам и созданным стереотипам. Много неожиданных открытий.

Очерки написаны живым, богатым, образным языком, полностью основаны на документальном, преимущественно архивном, материале, динамичны, что свойственно всем публикациям авторов этой книги.

Книга иллюстрирована и рассчитана на самый широкий круг читателей.

С $\frac{5030209000-020}{M132(03)-96}$ 96—96

ББК 63.3(2Тат)

*Султанбеков Булат Файзрахманович
Мальшица Светлана Юрьевна*

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

Редактор *Р. У. Амирханов*
Художественный редактор *Д. И. Залялетдинов*
Художник *Б. А. Чукомин*
Технический редактор *Ф. Р. Гисматуллина*
Корректоры *Н. И. Максимова, А. Г. Хамитова*

ИБ № 6662

Сдано в набор 20.12.95. Подписано в печать 28.02.96. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ. л. 12,6 + вкл. 1,05 + форз. 0,18. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 13,58 + вкл. 0,83 + форз. 0,16. Тираж 3000 экз. Заказ Д-667.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул. Баумана, 19.

Набрано и отпечатано в типографии Татарского газетно-журнального издательства. 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.